



Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО И И. К. ЛУППОЛА



Том V



А С А Д Е М И А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

НОВЕЛЛЫ СТАТЬИ

ПЕРЕВОД ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Я. М. МЕТАЛЛОВА

КОММЕНТАРИИ

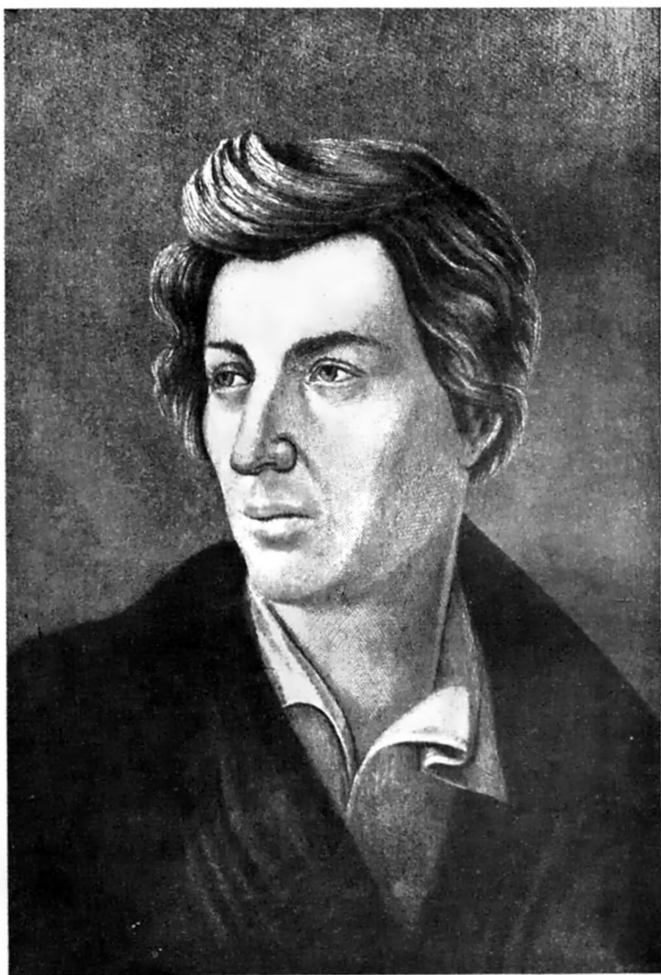
А. А. МОРОЗОВА



А С А Д Е М И А

1937

*Виньетки на титульных страницах
и заставки С. М. Мочалова
Суперобложка и переплет
Л. С. Хижинского*



Г. ГЕЙНЕ

С портрета Людвиг Гассена 1828 г.

Н О В Е Л Л Ы



БАХЕРАХСКИЙ РАВВИН

(ФРАГМЕНТ)

Своему любимому
другу, Генриху Лаубе,
посвящает легенду о ба-
херахском раввине, с ра-
достным приветом

автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Нижнем Рейне, где берега реки теряют смеющийся свой облик, где горы и утесы с затаенными руинами замков насупились еще упрямей и дикое, суровое величие вздымается еще выше, там, словно ужасающая старинная легенда, стоит мрачный, незапамятно-древний город Бахерах.

Эти стены с беззубыми амбразурами и слепыми дзорными башенками, в чьих расщелинах свищет ветер и гнездятся воробьи, не всегда были такими замшелыми и разрушенными; в этих убого-безобразных глинистых улочках, что виднеются сквозь развалившиеся ворота, не всегда владычествовала эта пустынная тишина, лишь по временам нарушаемая криками детей, перебранкой женщин и ревом коров. Эти стены некогда были горды и крепки, а в этих улочках кипела свежая, свободная жизнь, мощь и блеск, смех и скорбь, много любви и много ненависти.

Бахерах принадлежал некогда к тем муниципиям, что были заложены римлянами в пору их владычества над Рейном, и хотя последующие времена были весьма бурными и хотя впоследствии жители его попали под

власть Гогенштауфенов, а под конец — Виттельсбахов, — однакож, по примеру других прирейнских городов, они сумели сохранить довольно свободное общинное устройство. Оно состояло в соединении отдельных корпораций, из коих патрицианские роды и цехи, в свою очередь делившиеся по ремеслам, взаимно помогались единовластия: так что вовне, для защиты и отпора окрестному разбойничьему дворянству, они держались сплоченно, а внутри, из-за несогласия в интересах, закоснели в беспрестанных раздорах; а посему между ними было мало общения, много подозрительности, и часто всерьез разгорались страсти.

Фогт сеньера обитал в высоком замке Зарек и, подобно своему соколу, стремительно бросался вниз по первому зову, а порой и без зова. Духовенство господствовало во мраке посредством помрачения духа.

Наиболее отчужденной, немощной, постепенно лишавшейся гражданских прав корпорацией была маленькая еврейская община, осевшая в Бахерахе еще при римлянах и впоследствии, во время великих гонений на евреев, принявшая к себе целые толпы беглых единоверцев.

Великое гонение на евреев началось с крестовых походов и неистовствовало всего яростней в середине четырнадцатого века, на исходе великой чумы, причину коей, как и всякого другого общественного бедствия, приписывали евреям, утверждая, что они навлекли на себя гнев божий и с помощью прокаженных отравляли колодцы. Вабудораженная чернь, в особенности орды флягеллянтов, полунагие мужчины и женщины, которые, каясь, бичевали себя и, распевая безумные гимны в честь богоматери, прошли Рейнскую область и всю остальную Южную Германию, — умертвили тогда многие тысячи евреев или подвергли их пыткам или насильственно крестили. Другое обвинение, которое с давних времен, на протяжении всего средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям много крови и страха, была затасканная, до тошноты повторявшаяся в хрониках и легендах басня: что евреи

похищают освященные гостии и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечет кровь, а на Пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении. Евреи, достаточно ненавидимые за свою веру, свое богатство и свои долговые книги, в этот праздник были всецело в руках своих врагов, которые слишком легко могли погубить их, распустив слух о таком детоубийстве, быть может, даже тайно подбросив кровавый детский труп в опальный дом еврея, а ночью напав на молящееся еврейское семейство; и вот тогда убивали, грабили и крестили, и совершались великие чудеса от найденного мертвого младенца, которого, наконец, церковь сопричисляла к лику святых. Святой Вернер — как раз такой святой, и в его честь в Обервезеле было основано то великолепное аббатство, развалины которого принадлежат сейчас к самым живописным на Рейне и так восхищают нас готическим великолепием своих длинных острокопечных окон, гордо устремленных ввысь пилястров и каменной резьбы, когда в летний весело зеленеющий день мы плывем мимо, ничего не зная об его возникновении. В честь этого святого воздвигнуты на Рейне еще три больших церкви и умерщвлено или замучено бесчисленное множество евреев. Это случилось в 1287 году также и в Бахерахе, где построили одну из церквей святого Вернера; евреи тогда испытали много бед и напастей. Однакож с тех пор прожили они два столетия, не подпадая подобным взрывам народной ярости, хотя угроз и гонений было еще немало.

Но чем сильнее ненависть притесняла их извне, тем искренней и сердечней становилась домашняя жизнь, тем глубже в бахерахских евреях укоренялись благочестие и страх божий. Примером богоугодного жития был тамошний раввин, по имени реб Авраам, человек еще не старый, однакож повсеместно прославившийся своей ученостью. Он тут родился, и отец его, также бывший раввином в этом городе, перед смертью велел ему посвятить себя тому же служению и никогда не покидать Бахераха, даже в случае смертельной опасности.

Этот наказ и шкаф с редкостными книгами было всё, что оставил ему его отец, живший в бедности и книжной учености. Но реб Авраам был весьма богат, ибо, женившись на единственной дочери покойного брата своего отца, торговца драгоценностями, он унаследовал его богатства. Некоторые злоязычники намекали даже, что рабби женился как раз ради денег.

Но все женщины оспаривали это и принимались рассказывать старые истории: как рабби еще до своей поездки в Испанию был влюблен в Сарру — ее, собственно, прозывали прекрасной Саррой — и как Сарра семь лет принуждена была ждать, пока рабби не воротился из Испании, после чего он против воли ее отца и даже вопреки ее собственному желанию женился на ней с помощью обручального кольца. Так именно каждый еврей может сделать еврейскую девушку законной своей женой, коли ему удастся надеть ей на палец кольцо и притом сказать: «Я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву». При упоминании Испании злоязычники имели обыкновение улыбаться совсем особенным образом, что происходило по причине темной молвы, будто реб Авраам, хотя и довольно ревностно, занимался изучением божественного закона в высшей школе Толедо, однакож, вместе с тем, перенял христианские обычаи и усвоил вольнодумный образ мыслей, подобно тем испанским евреям, которые в то время достигли чрезвычайных высот образованности. Но в глубине души эти злоязычники весьма мало верили в справедливость молвы, на которую намекали, ибо безгранично чист, благочестив и серьезен был уклад жизни рабби по возвращении из Испании; самые мало-важные обряды выполнял он с боязливой добросовестностью, постился все четверги и понедельники, только по субботам или в другие праздники вкушал он мясо и вино. Дни его протекали в молитве и ученых занятиях: днем толковал он божественный закон в кругу учеников, которых слава его имени привлекла в Бахерах, а ночью созерцал звезды на небе или очи прекрасной Сарры. Бездетным оставался брак рабби. Однакож

вокруг него не было недостатка в жизни и движении. Большая зала в его доме, расположенном возле синагоги, всегда была открыта для всей общины: сюда приходили и отсюда уходили, не спросясь, отправляли наскоро молитвы или набирались новостей или держали совет в случае общей нужды; здесь дети играли по субботам утром, в то время как в синагоге читали недельную главу писания, здесь собирались на свадебные и погребальные процессии, здесь ссорились и мирились, здесь зябнувший находил теплую печь, а голодный — накрытый стол. Помимо того, вокруг рабби копошилось множество родичей, сестер и братьев, с их женами и детьми, а также все дядюшки и тетушки как с его стороны, так и со стороны жены, просторная родня, считавшая рабби главой семейства и наполнявшая его дом спозаранок до поздней ночи; по большим же праздникам имели обыкновение обедать все вместе. С особой торжественностью эти общесемейные трапезы в раввинском доме устраивались каждый год на Пасху, этот древний дивный праздник, который и поныне, в канун четырнадцатого дня месяца Ниссен, евреи, в память своего избавления от египетского рабства, справляют по всему свету следующим образом: как только наступит ночь, хозяйка дома зажигает светильники, покрывает скатертью стол, кладет посредине три плоских опреснока, прикрывает их салфеткой и на это возвышение ставит шесть маленьких блюд, содержащих символические кушанья, именно — яйца, латук, хрен, кости ягненка и коричневую смесь из корицы, изюма и орехов. За этот стол садится отец семейства со всеми родичами и друзьями и читает им вслух затейливую книгу, что зовется Агада, содержание которой представляет собой диковинную смесь из сказаний праотцев, рассказов о чудесах в Египте, любопытных историй, вопрошаний, молитв и праздничных песнопений. В разгар праздника открывается большая трапеза, и даже во время чтения, в назначенное к тому время, отведывают символические кушанья, а потом съедают по куску опресноков и осушают четыре кубка

вина. Скорбно-весел, серьезно-театрален, сказочно-таинственен нрав этого вечернего праздника, и традиционный певучий тон, с каким отец семейства читает Агаду, а слушатели время от времени повторяют за ним хором, — звучит так жутко-сердечно, так по-матерински убаюкивает и тут же торопливо будит, что даже евреи, давно отпавшие от веры отцов своих и прельщенные чужими радостями и почестями, бывают потрясены до глубины сердца, когда случайно их слуха коснутся старые, хорошо знакомые пасхальные звуки.

Однажды в большой зале своего дома восседал рабби Авраам и вместе со своими родичами, учениками и остальными гостями приступил к вечернему празднованию Пасхи. Зала больше чем обыкновенно сверкала чистотой, стол был накрыт пестро вышитой шелковой скатертью, золотая ее бахрома свисала до земли, мирно мерцали тарелочки с символическими кушаньями, так же, как и высокие, наполненные вином кубки искусной чеканки, украшенные сценами из священной истории; мужчины сидели в черных плащах, в черных плоских шляпах и белых брызжах, женщины — в причудливо сверкающих платьях из ломбардского штофа, с жемчужными и золотыми уборами на голове и ожерельями на шее; а серебряная субботняя святильница лила праздничный свой свет на благоговейно увеселенные старческие и молодые лица. На пурпурной бархатной подушке несколько выше, чем остальные, поставленного кресла, откинувшись к спинке, как того требовал обычай, восседал рабби Авраам и читал и пел Агаду, и пестрый хор вторил или отвечал в установленных местах. На рабби также было надето черное праздничное платье; черты его благородного, несколько строгого лица были мягче обыкновенного; губы улыбались из каштановой бороды, словно собирались вымолвить много отрадного, а на глазах навернулись слезы как бы блаженного воспоминания и предчувствия. Прекрасная Сарра, которая сидела подле него на таком же высоком бархатном кресле как хозяйка, не надела на себя ни одной драгоценности,

только белое полотно облекало ее стройное тело и обрамляло кроткое лицо. Это лицо было трогательно-прекрасно, как, впрочем, своеобразно-трогательно красота евреек; сознание тяжкого злополучия, горького позора и печальных превратностей, среди которых живут их родные и друзья, разливает по их прелестным чертам выражение страдающей искренности и наблюдательной, любящей пугливости, что так странно очаровывает наши сердца.

Так сидела сегодня прекрасная Сарра, не сводя глаз со своего мужа; время от времени она поглядывала на Агаду, красивую, в золото и бархат переплетенную пергаментную книгу, издревле переходившую из рода в род, со стародавними, еще дедами оставленными пятнами вина на страницах, где было так много пестро и живо написанных картинок, которые она еще маленькой девочкой так любила рассматривать пасхальным вечером и где изображались различные библейские события, а именно: как Авраам молотком разбивает каменных кумиров отца своего, как приходят к нему ангелы, как Моисей убил Мицри, как величественно восседает фараон на троне, как жабы не дают ему покоя даже за трапезой, как он — благодарение богу — тонет, а сыны Израиля осторожно переходят Черное море, как они, разинув рты, стоят вкупе со своими овцами, коровами и быками у горы Синая и потом как благочестивый царь Давид играет на лютне и, наконец, как Иерусалим, с башнями и зубцами своего храма, стоит, озаренный солнечным светом!

Уже налили второй кубок, лица и голоса просветлели, и рабби, взяв один из опресноков и подняв его и радостно приветствуя им, прочитал следующие слова Агады: «Смотри! Вот пища, что отцы наши вкушали в Египте! Всякий алчущий да придет и вкусит от нее! Всякий, кто печалится, да придет и возрадуется с нами о Пасхе! Нынешний год празднуем мы Пасху здесь, но в грядущем году будем праздновать ее в земле Израиля! Нынешний год празднуем мы, как рабы, но в грядущем году будем праздновать, как сыны свободы!»

Тут отворилась дверь, и в залу вошло двое высоких бледных мужчин, укутанных в широкие плащи, и один из них сказал: «Мир вам! Мы — путешествующие единоверцы и хотим праздновать с вами Пасху». И рабби ответил им поспешно и радостно: «Мир и вам, садитесь подле меня!» Оба чужестранца тотчас присели к столу, и рабби продолжал читать. По временам, когда собравшиеся еще повторяли за ним, он бросал ласковые слова своей жене и, намекая на шуточный обычай, по которому еврейский отец семейства считает себя в этот вечер царем, сказал ей: «Радуйся, моя царица!» Она же с грустной улыбкой ответила: «Однако недостает нам царевича!», подразумевая под тем сына, коему, как предписывает в одном месте Агада, надлежит установленными словами спросить отца о значении этого праздника. Рабби ничего не ответил и лишь указал пальцем на только что открывшуюся картину в Агаде, где с необычайной приятностью было изображено: как три ангела приходят к Аврааму, чтобы возвестить ему, что жена его Сарра родит ему сына, она же, по женской хитрости, стоит у входа в шатер, подслушивая их беседу. Этот легкий намек разлил густой румянец по щекам красивой женщины. Она спустила глаза, а потом снова приветливо взглянула на мужа, продолжавшего напевное чтение диковинного сказания, как рабби Иошуа, рабби Элиазар, рабби Азария, рабби Акиба и рабби Тарфен, прислонившись, сидели в Бона Браке и всю ночь совещались об исходе детей Израиля из Египта, пока не пришли к ним их ученики и не крикнули им, что наступил день и в синагоге уже читают большую утреннюю молитву.

Меж тем как прекрасная Сарра благоговейно слушала, не сводя глаз со своего мужа, вдруг заметила она, как внезапно исказилось и оцепенело от ужаса его лицо, кровь отхлынула от щек и губ, глаза застеклели, словно ледяные сосульки; но почти в то же мгновение увидела она, что черты его стали попрежнему спокойными и веселыми, на губы и щеки вернулась краска, глаза весело смотрели по сторонам, да и на

него даже напало какое-то совсем несвойственное ему буйное веселье. Прекрасная Сарра испугалась, как никогда в жизни, и внутреннее содрогание пронизало ее холодом не столько от того, что на лице мужа на мгновение увидела она признаки цепящего ужаса, сколько от теперешней его веселости, постепенно переходившей в ликующую несдержанность. Рабби, играючи, передвигал берет с уха на ухо, забавно подергивал и закручивал свою бороду, цел Агаду на манер уличных певцов, а при перечислении казней египетских, когда надлежит многократно погрузить в кубок указательный палец и повиснувшую на нем каплю стряхнуть на землю, — рабби красным вином обрызгал молодых девушек, вызвав тем большие сетования об испорченных брыжжах и громкий смех. Все тревожной чувствовала себя прекрасная Сарра при виде судорожно-бурлящей веселости мужа, и, скованная невыразимой боязнью, она смотрела в жужжащую суету пестро освещенных, с удовольствием покачивающихся людей, грызущих тонкие пасхальные хлебцы, или потягивающих вино, или болтающих друг с другом, или громко поющих, в чрезвычайном веселье.

Настал час вечерней трапезы, все поднялись, чтоб совершить омовение, и прекрасная Сарра принесла большую серебряную, украшенную златочеканными фигурами, умывальную лохань, которую она подносила каждому из гостей, в то время как ему поливали руки водой. Когда она оказала эту услугу рабби, он многозначительно подмигнул ей и проскользнул за дверь. Прекрасная Сарра последовала за ним, рабби торопливо схватил ее за руку и скорей повел прочь, по темным улочкам Бахераха, скорей за городские ворота на большую дорогу, что шла вдоль Рейна на Бинген.

То была одна из тех весенних ночей, хотя довольно теплых и звездных, однакож наполняющих душу странным трепетом. Запах тления источали цветы; злорадно и в то же время перепуганно щебетали птицы; месяц отбрасывал коварные желтые полосы света на невнятно бормочущий поток; высокие массивы скал на берегу

казались угрожающе покачивающимися головами исполинов; дозорный на башне замка Штралек меланхолично трубил в трубу, и среди всего этого торопливо, пронзительно звенел колокольчик церкви святого Вернера, возвещающий о чьей-то смерти. Прекрасная Сарра в правой руке несла серебряную лохань, а левой все еще сжимала руку рабби, и она чувствовала, как ледянисто-холодны были его пальцы, как дрожала его рука; но она безмолвно следовала за ним, быть может, оттого, что издавна привыкла слепо и беспрекословно повиноваться мужу, быть может, и оттого, что губы ее были сомкнуты внутренним страхом.

Ниже замка Зоннек, против Лорха, примерно там, где теперь расположена деревушка Нидеррейнбах, возвышается скалистая площадка, дугообразно нависшая над берегом Рейна. На нее взошел с женою рабби Авраам, осмотрелся по сторонам и устремил неподвижный взор на звезды. Дрожа и холодея, в смертельном страхе стояла подле него прекрасная Сарра и смотрела на его бледное, призрачно освещенное луной лицо, на котором судорожно сменялись скорбь, страх, благоговение и ярость. Но когда рабби внезапно выхватил из ее рук серебряную лохань и с глухим шумом бросил в Рейн, она уже не могла дальше сдерживать томительное чувство страха и с криком «Шадаи всеблагий!» рухнула к ногам мужа и заклинала его пояснить, наконец, ей эту темную загадку.

Рабби, утративший дар речи, долго беззвучно шевелил губами и наконец воскликнул: «Видишь ли ты ангела смерти? Там, внизу, парит он над Бахерахом! Но мы избежали его меча! Хвала вышнему!» И голосом, все еще дрожащим от внутреннего ужаса, поведал ей: как он в добром расположении духа сидел, прислонясь к креслу, и читал нараспев Агаду и, случайно глянув под стол, узрел там, у своих ног, окровавленный детский труп. «Тогда приметил я, — прибавил рабби, — что двое поздних наших гостей — не от сынов Израиля, а от собрания безбожников, которые согласились тайно подбросить в дом наш труп, чтобы обви-

нить нас в детоубийстве и возбудить народ грабить и убивать нас. Я не смел показать виду, что проник в козни тьмы, ибо навлек бы тем на себя погибель, и лишь хитростью спасены мы. Хвала вышнему! Не страшись, прекрасная Сарра, наши друзья и родичи также будут спасены. Лишь моей крови жаждали нечестивцы; я убежал от них, и они удовольствуются моим серебром и злотом. Пойдем со мною, прекрасная Сарра, в другую землю, оставим позади себя несчастье, а чтоб оно нас не преследовало, я бросил ему, чтоб утолить его, мое последнее имение, серебряную лохань. Бог отцов наших не оставит нас. Сойди вниз, ты устала. Там, внизу, ждет у лодки тихий Вильгельм; он повезет нас вверх по Рейну».

Беззвучно, словно подкошенная, опустилась прекрасная Сарра на руки рабби, и он медленно понес ее вниз, к берегу. Там стоял тихий Вильгельм, глухонемой мальчик, однакож писанный красавец; он для пропитания своей приемной матери, соседки раввина, промышлял рыбной ловлей и всегда причаливал сюда свой челнок. Но он как будто сразу угадал намерение рабби да, казалось, он тоже ожидал его, и на его сомкнутых устах мелькнуло кроткое сострадание. Его большие голубые глаза проникновенно глядели на прекрасную Сарру, и он бережно снес ее в лодку.

Взгляд немого мальчика пробудил прекрасную Сарру от ее беспамятства. Она внезапно почувствовала, что все, о чем рассказал ей ее муж, было не только сном, и потоки горьких слез полились по ее щекам, теперь столь же белым, как и ее платье. И так сидела она посреди челнока, подобно плачущему изваянию; подле нее сидели ее муж и тихий Вильгельм, которые усердно гребли.

То ли от однообразных ударов весел, или от покачиваний лодки, или от аромата тех горных берегов, на которых произрастает радость, но только всегда бывает, что даже самый печальный человек странным образом успокаивается, когда он весенней ночью, в углу челнока, легко скользит по милому, чистому Рейну. Поистине, старый добросердечный батюшка-

Рейн не переносит, когда плачут его дети; утешая слезы, баюкает он их на своих верных руках и рассказывает им самые прекрасные свои сказки и сулит им самые золотые свои сокровища, быть может, даже незапамятно давно утонувшее сокровище Нибелунгов. Так и слезы прекрасной Сарры струились все тише и тише, ее мучительную боль унесли журчащие волны, ночь утратила мрачный свой ужас, и родные горы приветствовали ее, словно посылая нежнейшее прощанье! Но всех приветливей просталась с ней любимая ее гора Кедрих, и в странном сиянии месяца чудилось, что вновь стоит на вершине девушка, испуганно протирая руки, что проворные карлики в бесчисленном множестве выползают из расщелины скалы и какой-то всадник въезжает на гору на всем скаку; и прекрасной Сарре казалось, что она вновь стала маленькой девочкой и сидит на коленях тетки из Лорха и эта тетка рассказывает ей прелестную историю о смелом всаднике, освободившем бедную, похищенную карликами девушку, и другие правдивые истории о диковинной долине Шопота, где птицы ведут разумные речи, о прачичной стране, куда попадают послушные дети, о заколдованных принцессах, поющих деревьях, стеклянных замках, золотых мостах, смеющихся русалках... Но среди всех прелестных этих сказок, что начали оживать перед ней, сверкая и звеня, послышался прекрасной Сарре голос ее отца, сердито бранившего бедную тетку, что напичкала ребенка таким множеством нелепиц! Тотчас представилось ей, будто посадили ее на маленькую скамеечку перед бархатным креслом ее отца, который мягкой рукой гладит ее длинные волосы; его глаза смеются от удовольствия, а он покойно покачивается в своем широком шелковом синем субботнем плаф-роке... Это наверно была суббота, ибо на столе была разостлана расшитая цветами скатерть, вся утварь в комнате сверкала, начищенная до зеркального блеска, седобородый общинный служка сидел подле отца и жевал изюм и говорил по-древнееврейски, маленький Авраам тоже вошел в комнату с необъятно большой

книгой и учтиво попросил у своего дяди позволения истолковать одну из глав священного писания, дабы дядя сам удостоверился, что прошедшую неделю он много учился и заслуживает похвалы и пирожного... И вот мальчуган кладет книгу на широкую ручку кресла и толкует историю Иакова и Рахили: как Иаков возвысил голос свой и громко восплакал, когда впервые увидел двоюродную сестрицу свою Рахиль, как он мирно беседовал с ней у колодца, как пришлось ему семь лет служить за Рахиль и как быстро они протекли для него и как он женился на Рахили и всегда, всегда непрестанно любил ее... Также вспомнила вдруг Сарра, что отец ее тогда весело воскликнул: «А не хочешь ли и ты также вот жениться на двоюродной сестре твоей Сарре?», на что маленький Авраам серьезно ответил: «Да, хочу, и она должна будет ждать семь лет». Смутно проносились эти картины в душе прекрасной женщины; она видела, как она и двоюродный ее брат, который стал теперь таким большим и ее мужем, ребячески играли друг с другом в куще, как они забавлялись пестрыми коврами, цветами, зеркалами и золочеными яблоками, как маленький Авраам все нежнее болтал с нею, пока мало-по-малу не становился все взрослей и угрюмей и наконец совсем вырос и стал совсем угрюмым... И, наконец, в субботний вечер сидит она дома одна в своей комнате, месяц ярко светит в окно, дверь распахивается, и в комнату, как буря, врывается ее кузен Авраам, в дорожном платье и бледный, как смерть, и он хватает ее руку, надевает на палец золотое кольцо и торжественно произносит: «Этим я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву! А теперь, — добавляет он с дрожью, — теперь принужден я отправиться в Испанию. Прощай. Семь лет должна ты будешь ждать меня!» И он бросается прочь, а прекрасная Сарра, плача, рассказывает обо всем своему отцу... Тот разгневан и беснуется: «Остриги волосы, ибо теперь ты замужняя!» — и он скачет в погоню за Авраамом, чтобы вынудить у него разводную; но тот уже за тридцать земель; отец молча

возвращается домой, и когда прекрасная Сарра помогла ему снять дорожные сапоги и, умятчая его, проронила, что Авраам возвратится через семь лет, отец раздражается проклятьем: «Семь лет будете вы нищенствовать!» И вскоре после того умирает.

Так пробегали в мыслях прекрасной Сарры былые истории, словно торопливая игра теней; картины причудливо перемешивались, и сквозь них проглядывали полузнакомые, получужие бородатые лица и большие цветы со сказочно широкими листьями. И чудилось ей также, будто Рейн журчал мелодии Агады и картинки этой книги поднимаются из него в человеческий рост, искаженные, безумные картины: праотец Авраам боязливо разбивает идолов, которые поспешно вновь срываются сами собой; Мицри жестоко отбивается от разгневанного Моисея; гора Синай сверкает молниями и извергает пламя; фараон плывет по Чермному морю, крепко держа в зубах золотую зубчатую корону; лягушки с человеческими лицами плывут за ним следом, и волны пенятся и кипят, и темная исполинская рука угрожающе высовывается из воды.

То была мышиная башня Гатто, и челнок как раз проскочил бингерский водоворот. Прекрасная Сарра была слегка пробуждена этим от своих грез и взглянула на прибрежные горы, на вершинах которых мерцали замковые огни, а у их основания стлался озаренный месяцем ночной туман. Но вдруг показалось ей, что она видит там своих родичей и друзей, бегущих вдоль Рейна в развевающихся белых саванах с лицами мертвецов... У нее потемнело в глазах; ледяной поток захлестнул ее душу, и, словно во сне, слышала она еще только, что раввин читал ей вечернюю молитву, медленно-тоскливо, как над умирающими, и в забытии она еще бормотала слова: «Десять тысяч одесную, десять тысяч ошую, царю защиты от ужасов ночи».

Тут внезапно отступили вся нахлынувшая тьма и ужас; мрачная завеса сорвана была с неба, и вверху явился священный град Иерусалим со своими башнями и воротами; в золотом великолепии сверкал храм;

в притворе увидела прекрасная Сарра своего отца в желтом субботнем шлафроке и со смеющимися от удовольствия глазами; из круглых окон храма радостно приветствовали ее все родичи и друзья; в святая святых стоял на коленях благочестивый царь Давид в пурпурном облачении и сверкающей короне, и сладостно звучали его пение и струны арфы, — и, блаженно улыбаясь, заснула прекрасная Сарра.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда прекрасная Сарра раскрыла глаза, ее едва не ослепили лучи солнца. Высокие башни большого города вздымались перед ней, и немой Вильгельм с багром стоял в челноке и проводил его через веселую сутолоку множества пестрящих вымпелами кораблей, матросы которых или праздно созерцали проезжающих или были заняты выгрузкой ящиков, тюков и бочек, что отвозили потом на маленьких суденышках на берег; тут стоял оглушительный шум — непрерывные возгласы лоцманов, крики купцов с берега и визг таможенных досмотрщиков, прыгавших с корабля на корабль в красных кафтанах с белыми палочками и белыми лицами.

— Да, прекрасная Сарра, — сказал рабби своей жене, весело улыбаясь, — вот и прославленный во всем мире вольный имперский и торговый город Франкфурт на Майне, — и это вот Майн, по которому мы теперь плывем. Там, наверху, смеющиеся дома, окруженные зелеными холмами, — это Саксенгаузен, откуда хромой Гумперти привозит нам на праздник кущей прекрасную мирру. А здесь видишь ты надежный Майнский мост с тринадцатью арками, и множество народа, повозок и лошадей без опасения проходит по нему, а посреди них стоит домик, где, как рассказывала тетушка Тейбхен, живет крещеный еврей, который каждому, кто принесет мертвую крысу, выплачивает шесть геллеров за счет еврейской общины, обязанной каждый год доставлять магистрату пять тысяч крысиных хвостов.

Над этой войной, которую франкфуртские евреи вели с крысами, прекрасная Сарра принуждена была громко рассмеяться; ясный солнечный свет и новый пестрый мир, раскрывшийся перед ней, изгнали из ее души все страхи и ужасы прошедшей ночи, и когда муж и немой Вильгельм вынесли ее из причалившего челнока на берег, она почувствовала себя словно проникнутой ощущением радостной безопасности. Но немой Вильгельм пристально посмотрел ей в лицо своими прекрасными темноголубыми глазами, полускорбно, полувесело, потом, бросив еще многозначительный взгляд на рабби, прыгнул обратно в челнок и скоро исчез вместе с ним.

— Однако, как похож немой Вильгельм на моего покойного брата, — заметила прекрасная Сарра. — Ангелы все похожи друг на друга, — проронил рабби и, взяв под руку жену, повел ее через толпу, кишевшую на берегу, где теперь по случаю пасхальной ярмарки было разбито множество деревянных лавчонок. Когда они через темные Майнские ворота попали в город, то и там увидели они не менее шумную торговлю. Здесь, на узких улицах, высились лавки купцов, одна подле другой, и дома, как всюду во Франкфурте, были особо приспособлены для торговли: в первом этаже не было окон, а только открытые сводчатые двери, так что можно было заглянуть далеко вглубь, и каждый, проходивший мимо, мог подробно осмотреть выставленные товары. Как изумлялась прекрасная Сарра множеству драгоценных вещей, невиданному их великолепию! Там стояли венецианцы, выставившие на продажу всю роскошь Востока и Италии, и прекрасную Сарру словно заворожил вид разложенных уборов и драгоценностей, пестрых шапок и корсетов, золотых браслетов и ожерелий, всей той мишуры, которой так охотно восхищаются и еще охотнее украшают себя женщины. Богато вышитые бархатные и шелковые ткани, казалось, хотели заговорить с прекрасной Саррой, пробудив в ее памяти всяческие диковины; и в самом деле, ей уже казалось, что она вновь стала ма-

ленькой девочкой и тетушка Тейбхен исполнила свое обещание и свезла ее на франкфуртскую ярмарку, и вот теперь она смотрит на прелестные платья, про которые ей так много всего рассказали. С тайной радостью обдумывала она уже, что бы ей привезти в Бахерах, какой из ее кузиночек больше понравится синий шелковый пояс, маленькой Блюмхен или маленькой Фёгельхен, и в пору ли будут также зеленые штанишки малышу Готшалку. — Но вдруг сказала она себе самой: «Ах, боже мой!.. Да ведь они меж тем выросли, а вчера их умертвили!» Она сильно вздрогнула, и образы ночи со всеми ее ужасами едва не ожили в ней, но золототканые платья подмигивали ей как бы тысячами плутовских глаз и отговаривали ее от всего мрачного, что возникло у нее на уме, и когда она взглянула на лицо мужа, оно было совсем безоблачно и приобрело свою обычную серьезную кротость. — Закрой глаза, прекрасная Сарра, — сказал рабби и повел свою жену дальше по людскому потоку.

Какая пестрая суета! По большей части тут были купцы, которые громко торговались между собой или, бормоча про себя, рассчитывали что-то по пальцам, или отсылали тяжело нагруженных рыночных носильщиков, бежавших за ними мелкой рысью, отнести покупки на постоянный двор. По другим лицам было видно, что их привлекло сюда простое любопытство. Красный плащ и золотая цепь выдавали широкоплечего ратмана. Черный добротный камзол изобличал почтенного гордого патриция. Железный шишак, камзол из желтой кожи и тяжелые железные шпоры возвещали о грузном конюхе. Под черным бархатным чепчиком, который острием заходил на лоб, пряталось розовое девичье лицо, и молодые парни, бежавшие следом, подобно рысущим гончим псам, являли себя совершенными щеголями: в беретах с заorno посаженными перьями, в остроносых башмаках с бубенчиками, в шелковых раздельноцветных плащах, где правая сторона — зеленая, левая — красная, или одна — радужными полосами, а другая — пестрыми шашками,

так что дурашливые парни казались рассеченными пополам. Увлеченный людским потоком, рабби со своей женой достиг Римской площади. Это — большая, окруженная домами с остроконечными крышами рыночная площадь, получившая свое имя от огромной гостиницы, которая называлась «У римлян», куплена была магистратом и обращена в ратушу. В этом здании избирали германских императоров, и перед ним часто происходили благородные рыцарские игры. Король Максимилиан, страстно любивший такие потехи, пребывал тогда во Франкфурте, и в его честь на Римской площади был устроен большой турнир. У деревянной ограды, которую в то время сносили плотники, все еще стояло множество зевак, рассказывавших друг другу, как вчера при звуках литавр и труб сшиблись герцог Брауншвейгский и маркграф Бранденбургский, как господин Вальтер, по прозвищу Голыш, с такой силой вышиб Медвежьего рыцаря из седла, что копые разлетелось в щепки, и как высокий белокурый король Макс стоял на балконе в кругу придворных и от радости потирал руки. Перила балконов и остроконечные окна ратуши были увешаны золотой парчой. Также и прочие дома на рыночной площади стояли еще празднично украшенные и убранные гербами, в особенности дом Лимбурга, на флаге которого была изображена девушка с ястребом на руке, а перед ней — обезьяна, подставляющая ей зеркало. Рыцари и дамы в большом числе стояли на балконе этого дома и, веселясь беседой, смотрели на волнующиеся и беспорядочно движущиеся толпы и вереницы народа. Какое множество зевак всякого звания и возраста теснилось здесь, чтобы утолить свою страсть к зрелищам. Здесь смеялись, хныкали, воровали, щипали за ляжки, потешались, а среди всего этого визгливо дребезжала труба медикуса, который стоял в красном плаще со своим паяцем и обезьяной на высоком помосте и весьма усердно расхваливал свое собственное искусство, прославляя свои микстуры и чудодейственные мази, или серьезно разглядывал склянку с мочей, что держала перед ним

какая-нибудь старуха, или брался вырвать коренной зуб у бедного мужика. Два фехтовальщика в пестрых развевающихся лентах, размахивая рапирами, сошлись здесь словно ненароком и с притворной яростью кололи друг друга: после долгой схватки они обоюдно объявили себя непобедимыми и собрали несколько пфеннигов. Вот с флейтистами и барабанщиками промаршировала мимо вновь утвержденная гильдия стрелков. За ними, предводительствуемая тюремщиком, несшим красное знамя, проследовала ватага гулящих девок, перебивавшихся из вюрцбургского непотребного дома «У осла» в Розенталь, где достохвальный магистрат назначил им местопребывание на время ярмарки. — Закрой глаза, прекрасная Сарра, — сказал рабби. Ибо эти фантастически и слишком скудно одетые женщины — среди них некоторые были весьма красивы — кобенились непотребнейшим образом, обнажали свои белые дерзкие груди, дразнили прохожих бесстыжими словами, махали длинными дорожными палками и, сев на них верхом, как на детских лошадок, скакали к воротам св. Екатерины и визгливыми головами пели песню ведм:

Козла! Козла! как быть с козлом?
Куда девался бородач?
Коль нет козла, так мы верхом
На палочке — и вскачь! *

Это неумолчное пенье, все еще слышавшееся вдали, наконец растворилось в протяжных церковных напевах приближающейся процессии. То было печальное шествие плешивых и босых монахов, несших горящие восковые свечи или хоругви с изображением святых или же большие серебряные распятия. Впереди шли мальчики в красных и белых стихарях, несшие дымящиеся кадильницы. Посреди шествия под великолепным балдахином шли священники в белых стихарях

* Все стихи в томе переведены В. А. Зоргенфреем.

из драгоценных кружев или в пестрых шелковых облачениях, и один из них нес в руках золотой, подобный солнцу, сосуд, который он, поравнявшись на углу рыночной площади с нишей, где помещалось изображение святого, высоко поднял, наполовину провозгласив, наполовину пропев латинские слова... Тут же зазвенел маленький колокольчик, и весь народ вокруг замолк, пал на колени и закрестился. Рабби же сказал своей жене: — Закрой глаза, прекрасная Сарра! — и поспешно повлек ее отсюда в узенький переулок через лабиринт тесных и кривых улиц и, наконец, через необитаемую, пустынную площадь, отделявшую новое гетто от остального города.

До того времени евреи жили между собором и берегом Майна, именно, от моста до «Колодца бродяг» и от «Мучных весов» до церкви св. Варфоломея. Но католические священнослужители выхлопотали папскую буллу, запрещавшую евреям жить в такой близости к главной церкви, и магистрат отвел им место на Вольграбене, где они построили теперешнее гетто. Оно было обнесено надежной стеной, а ворота снабжены железными цепями, дабы запира́ть их от нападения черни. Ибо и здесь жили евреи в притеснении и страхе и больше, чем в наши дни, вспоминали прежние бедствия. В год 1240 необузданный народ учинил среди них великое кровопролитие, которое прозвали первым избиением евреев, а в год 1349, когда бичующиеся, проходя через город, подожгли его и обвинили в том евреев, возбужденный народ умертвил большую часть из них или они обрели смерть в пламени собственных своих домов, что было прозвано вторым избиением евреев. Впоследствии евреям еще часто грозили подобными избиениями; а при внутренних волнениях во Франкфурте, особенно во время распри магистрата с цехами, христианская чернь намеревалась взять приступом гетто. Оно обладало двумя воротами, которые по католическим праздникам запирались снаружи, по иудейским праздникам — изнутри, и перед каждым воротами стояла караульня с городскими солдатами.



Г. ГЕЙНЕ

Бюст работы Эрнста Гертера

Когда рабби со своей женой подошел к воротам гетто, ландскнехты, как можно было видеть через раскрытые окна, валялись в караульне на нарах, а на дворе, перед дверьми, на самом солнцепеке сидел барабанщик и фантазировал на своем большом барабане. Это был грузный толстяк; камзол и штаны — огненнорыжего сукна, сильно вздутые в рукавах и на бедрах и сверху донизу усаженные маленькими вшитыми в них красными валиками, высовывающимися, словно бесчисленные человеческие языки; грудь и спина защищены черными суконными подушечками, на которых висит барабан; на голове — плоский круглый черный берет; лицо такое же плоское и круглое, оранжево-желтое и усеянное красными болячками, искаженное зевотной улыбкой. Так сидел этот детина и выбивал на барабане ту песню, что некогда пели бичующиеся во время избиения евреев, и ворчал грубым пивным голосом слова:

Ступала мать божья
По росам у подножья —
Господи помилуй!

— Ганс, это дурной напев, — прокричал голос за воротами гетто. — Ганс, и песня худая, нейдет к барабану, совсем нейдет, ну вот, ей-ей, ни на ярмарку, ни на Пасху, худая песня, опасная песня. Ганс, Гансик, маленький барабанщик Гансик, я один-одинешенек, и коли ты меня любишь, коли тылюбишь Штерна, долговязого Штерна, долговязого Назенштерна, так перестань! — Эти слова были произнесены невидимым говоруном то боязливо-поспешно, то вздыхаючи-медленно, тоном, в котором вязкая мягкость резко сменяется хриплой сухостью, как это бывает у чахоточных. Барабанщик остался непоколебим и, продолжая выбивать прежний мотив, запел:

Тут выбежал мальчонка, —
Бородка у ребенка —
Аллилуйя!

— Ганс, — раздался опять голос упомянутого говоруна, — Ганс, я один-одинешенек, а это — опасная песня, и я не охотник ее слушать, и у меня есть на то своя причина, и коли ты меня любишь, ты споешь что-нибудь другое, а завтра мы выпьем...

При слове «выпьем» Ганс перестал барабанить и напевать и добродушно сказал: — Чорт побери евреев; но ты, любезный Назенштерн, мне друг, я тебя защищаю, и когда мы будем с тобой почаще пить, так я еще тебя обращаю в истинную веру. Я буду твоим крестным отцом, когда ты окрестишься, ты станешь праведным, а коли у тебя есть смекалка и ты будешь прилежно у меня учиться, так сможешь даже стать барабанщиком. Да, Назенштерн, ты еще сможешь далеко пойти; я тебе завтра, когда мы будем пить, пробарабаню весь катехизис, — а пока что открой-ка ворота, тут стоят двое чужестранцев и просят впустить.

— Открыть ворота! — возопил Назенштерн, и голос у него едва не пресекся. — Не так скоро, любезный Ганс, нельзя знать, никак нельзя знать, а я ведь один-одинешенек. Ключ-то у Файтеля Риндскопфа, а он притулился в уголку и бормочет «Восемнадцать благословений», а их прерывать никак нельзя. Шут Екель-то как раз здесь, но он стоит и молится. Я один-одинешенек!

— Чорт побери жидов! — закричал барабанщик и, громко засмеявшись собственной своей остроте, полпелся к караульне и разлегся там на нарах.

Меж тем как рабби и его жена остались совсем одни перед большими закрытыми воротами, послышался из-за них картавый, гнусавый, немного насмешливо-протяжный голос: — Штернчик, не копайся так долго, вытани ключ из кармашка у Риндскопфа или возьми да и отопри ворота своим носом. Люди уже давно стоят и ждут.

— Люди? — испуганно вскричал тот, кого называли Назенштерном. — Я полагаю, тут всего один человек, и я прошу тебя, шут, любезный шут Екель, глянь-ка, кто там?

Тут открылось в воротах маленькое решетчатое оконце, и в нем показалась двурогая желтая шапка, а под нею уморительно скорченное лицо потешника Екеля, шута. В то же мгновение глазок в воротах закрылся и послышалось сердитое картавление:

— Открывай, открывай, там всего один мужчина и одна женщина.

— Один мужчина и одна женщина? — закричал Назенштерн. — А когда отворишь ворота, так женщина скинет юбку, и выйдет, что это мужчина, и будет тогда двое мужчин, а нас всего трое!

— Не будь зайцем! — ответил Екель, шут. — Будь смелей, покажи отвагу!

— Отвагу? — вскричал Назенштерн и засмеялся с досадливой горечью. — Заяц! Заяц — худое сравнение: заяц — животное нечистое. Отвагу! Меня тут поставили не для отваги, а для осторожности. Когда придет слишком много людей, мне надлежит кричать. Сам я их не могу удержать. Руки у меня слабые, мне учинили фонтанель, и я один-одинешенек. Когда в меня выстрелят, я умру! Тогда богач Мендель Рейс, сидя в субботу за столом, вытрет с губ изюмный соус, похлопает себя по брюшку и, быть может, скажет: «Долговязый Назенштерн как-никак — славный малый, не будь его, они бы разнесли ворота, он все-таки дал себя застрелить ради нас; славный был малый, жаль, что помер!» — Тут голос стал мало-по-малу смягчаться и делаться плаксивым, но вдруг переломился в торопливый, почти озлобленный. — Отвагу! И для того, чтобы богач Мендель Рейс утирал с губ изюмный соус и похлопывал себя по брюшку и называл меня славным парнем, должен я позволить себя пристрелить? Отвагу! Смелый! Малыш Штраус был храбрым и вчера на Римской площади глазел на турнир и полагал, что его не опознают, ибо он напялил кафтан фиолетового бархата по три гульдена за локоть, с лисьими хвостиками, весь расшитый золотом — полное великолепие! — а они так долго дубасили по фиолетовому кафтану, пока он весь не слинял, а у него

самого спина стала фиолетовой и не схожей больше с человеческой. Отвага! Кривоногий Лезер был храбрым, обозвал нашего подлого фогта подлецом, и они повесили его за ноги посреди двух собак, и барабанщик Ганс бил в барабан. Отвага! Не будь зайцем! Где много собак, там зайцу гибель; я один-одинешенек, и мне взаправду страшно!..

— Поклянись! — крикнул Екель, шут.

— Мне взаправду страшно! — повторил, вздыхая, Назенштерн. — Я знаю, страх заключен в крови, и я воспринял его от покойной матушки.

— Да, да! — перебил его Екель, шут, — а твоя матушка — от своего отца, а тот — опять от своего, и так все твои предки — один от одного, вплоть до твоего родоначальника, который при царе Сауле отправился в поход на филистимлян и первый дал тягу... Однакож, погляди, Риндскопфхен сейчас будет готов, он уже сделал четыре поклона, он уже скачет, как блоха, трижды сказав слово «свят», а теперь осторожно запускает руку в карман...

И в самом деле, загромыхали ключи, скрипя, распахнулись створки ворот, и раббы и его жена вошли в совершенно безлюдную еврейскую улицу. Привратник, маленький мужчина с добродушно-кислым лицом, рассеянно кивнул головой, как человек, который не любит, чтобы ему мешали размышлять, и, старательно заперев ворота, поплелся, не сказав ни слова, в свой угол за воротами, беспрерывно бормоча про себя молитвы. Менее молчалив был Екель, шут, приземистый, несколько кривоногий малый со смеющимся багровым лицом и нечеловечески огромной мясистой рукой, приветливо протянутой им из широкого рукава его пестрой куртки. Позади его выглядывала, или, скорее, пряталась, длинная, тощая фигура, узкая шея в белом оперении тонкого батистового воротника и худое бледное лицо, диковинно украшенное почти невероятно длинным носом, любопытно-боязливо двигавшимся то туда, то сюда.

— Добро пожаловать! Со счастливым праздником! —

вскричал шут Екель. — Не дивитесь, что на улице так тихо и пусто. Весь наш народ теперь в синагоге, и вы пришли как раз в пору, чтобы услышать, как читают историю о жертвоприношении Исаака. Я ее знаю, это занимательная история, и когда бы мне уже не довелось ее слышать тридцать и три раза, я бы охотно послушал ее и в этом году. А это — важная история, ибо если бы Авраам на самом деле заклал Исаака, а не козла, то теперь на свете было бы больше козлов и меньше евреев. — И с веселой, безумной гримасой принялся Екель петь следующую песнь из Агады:

Козлик, козлик, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла кошечка да съела козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла собачечка да укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла дубинка да побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел огонек да сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла водица да залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел бычок да выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел мясничок да заколол бычка, что выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел ангельчик смерти да умертвил мясничка, что заколол бычка, что выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

— Да, прекрасная госпожа! — присовокупил певец. — Придет день, когда ангел смерти умертвит мясника и вся наша кровь падет на Эдом, ибо бог есть бог мстящий!..

Но вдруг, резко отбросив невольно завладевшую им серьезность, шут Екель снова ударился в балагурство и продолжал картавящим скоморошным тоном:

— Не страшитесь, прекрасная госпожа, Назенштерн не причинит вам ничего дурного. Он опасен только для старой Шнаппер-Элле. Она влюбилась в его нос, но ведь он это вполне заслужил. Он прекрасен, как башня, обращенная к Дамаску, и возвышен, как кедр Ливана. Снаружи сверкает, как сусальное золото и сироп, а внутри — чистая музыка и приятность. Летом цветет, зимой замерзает, и летом и зимою лелеют его белые ручки Шнаппер-Элле. Да, Шнаппер-Элле влюблена в него, совсем рехнулась. Она холит его; она кормит его, и как только он нагуляет достаточно жира, она женит его на себе, а для своих лет она еще довольно моложава, и ежели кто через триста лет прибудет во Франкфурт, — неба не будет видно от сплошных Назенштернов.

— Вы — шут Екель, — вскричал, смеясь, рабби, — я признал это по вашим словам. Я много о вас слышался!

— Да, да, — отвечал тот с забавной скромностью. — Да, да, вот что делает слава! Часто повсеместно слышь за такого дурня, каким и сам себя не считаешь. Однакож, я прилагаю великое старание, чтобы быть шутом, и скачу, и трясую головою, чтоб звенели бубенцы. Другим это достается легче... Но скажите мне, рабби, чего ради путешествуете вы в праздник?

— Мое оправдание, — возразил раввин, — приведено в Талмуде и гласит: «Опасность прогоняет субботу».

— Опасность? — внезапно вскричал долговязый Назенштерн и задержался словно в смертельном страхе. — Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик, барабань, барабань! Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик...

А барабанщик за воротами кричал густым пивным голосом:

— Тысяча громов! Чорт побори жидов! Вот уж третий раз ты меня будишь сегодня, Назенштерн! Не беси меня! Когда я взбешусь, то стану сущим сатаной, и уж будь я нехристь, если не пальну через решетку ворот, и тогда пусть каждый бережет свой нос!

— Не стреляй! Не стреляй! Я один-одинешенек, — испуганно заскулил Назенштерн и плотно прижал лицо к ближайшей стене и остался в таком положении, дрожа и тихо молясь.

— Скажите, скажите, что случилось? — закричал теперь и шут Екель с тем торопливым любопытством, которым уже в ту пору отличались франкфуртские евреи.

Но рабби вырвался от него и пошел со своей женой дальше по еврейской улице. — Видишь, прекрасная Сарра! — сказал он со вздохом, — как плохо защищен Израиль. Ложные друзья стерегут его ворота снаружи; а стража внутри — дурачество и трусость!

Медленно брели они по длинной пустынной улице, где то здесь, то там высовывались из окон цветущие девические лица, меж тем как солнце празднично весело отражалось в сверкающих оконных стеклах. Тогда дома гетто были еще новы и опрятны, а также ниже, чем теперь, ибо только впоследствии, когда евреи во Франкфурте весьма умножились в числе, но не смели расширить гетто, они стали взгромождать этаж над этажом, сдвигать их, как сардины, калеча себе тело и душу. Часть гетто, сохранившаяся после большого пожара, которую называют Старой улицей, — те высокие черные дома, где, скаля зубы, барышничают

взмокшие люди, — ужасающий памятник средневековья. Старая синагога не существует больше; она была менее просторна, чем нынешняя, построенная позднее, после того как в общину были приняты нюрнбергские изгнанники. Она была расположена севернее. Рабби не надо было допытываться о ее местонахождении. Уже издали слышал он множество сбивчивых и чрезмерно громких голосов. В синагогальном дворе он расстался с женой. Совершив омовение рук у находившегося там колодца, он прошел в нижнюю часть синагоги, где молятся мужчины, а прекрасная Сарра поднялась по лестнице и вошла в помещение для женщин.

Это верхнее помещение было особого рода галереей с тремя рядами деревянных выкрашенных в коричнево-красный цвет сидений, чьи спинки были снабжены висячими дощечками, которые весьма удобно откидывались, чтобы класть на них молитвенники. Женщины сидели здесь, болтая друг с другом, или стояли, усердно молясь; иногда они с любопытством подходили к тянувшейся вдоль восточной стороны большой решетке, сквозь тонкие зеленые планки которой была видна нижняя часть синагоги. Там, за высокими молитвенными пультами, в черных плащах стояли мужчины с остроконечными бородами, спадавшими на белые воротники, в плоских шапочках, более или менее окутанных четырехугольными платками из белой шерсти или шелка, с предписанными законом стежками, а иногда украшенными золотыми позументами. Стены синагоги были однообразно выбелены, и в ней не было видно никаких украшений, кроме золоченой железной решетки вокруг четырехугольного помоста, на котором читались главы писания, и священного ковчега — драгоценной работы ларца, как будто несомого мраморными колоннами с роскошными капителями, листва и цветы которых изящно вились кверху, и прикрытого занавесом лазурно-голубого бархата, расшитого золотыми блестками, жемчугом и цветными камнями, образующими благочестивую надпись. Здесь висела

серебряная поминальная лампада и возвышался помост, также обнесенный решеткой, на перилах которой находились различные священные сосуды, в том числе храмовый семисвещник, а перед ним лицом к кивоту стоял кантор, чье пение сопровождалось голосами его обоих помощников — баса и дисканта, как бы аккомпанирующих на инструментах. Евреи изгнали из своих храмов всю настоящую инструментальную музыку, полагая, что хвала богу благоговейней возносится из теплой человеческой груди, нежели из холодных труб органа. Совсем как дитя радовалась прекрасная Сарра, когда кантор, превосходный тенор, возвысил голос и древние серьезные мелодии, так хорошо знакомые ей, разлились с неопишуемой юной прелестью, между тем как бас для контраста ворчал низкие и глухие звуки, а в промежутках дискант пускал тонкие и сладостные трели. Такого пения прекрасной Сарре еще никогда не доводилось слышать в бахерахской синагоге, ибо должность кантора исправлял там общинный староста Давид Леви, и когда этот, уже престарелый, трясущийся человек пытался своим разбитым бляющим голосом пускать трели, словно молоденькая девушка, и в страшном напряжении судорожно тряс своими вялыми руками, то возбуждал этим скорее смех, чем набожное чувство.

Благочестивое удовольствие, смешанное с женским любопытством, привлекло прекрасную Сарру к решетке, откуда она могла заглянуть в нижнее отделение, так называемую мужскую школу. Она еще никогда не видела столь большого числа единоверцев, как там, внизу, и ей втайне стало отрадней на сердце в кругу такого множества людей, так близко родственных ей общностью происхождения, образа мыслей и страдания. Но еще глубже взволновалась душа женщины, когда трое стариков благоговейно подошли к священному кивоту, отодвинули блестящий занавес, отомкнули ларец и заботливо вынули ту книгу, которую бог начертал собственной рукой и ради сохранения которой евреи претерпели столько бед и нена-

висти, позора и смерти, тысячелетнее мученичество. Эта книга — большой пергаментный свиток — была укутана, словно княжеское дитя, в пестро расшитый плащ красного бархата; наверху на обоих деревянных валиках помещались два серебряных ящичка, где пересыпались и звенели гранаты и колокольчики, а впереди на серебряных цепочках висели золотые щитки с пестрыми драгоценными камнями. Кантор взял книгу и, словно это было настоящее дитя, дитя, ради которого перенесли большие страдания и оттого еще более любимое, качал ее на руках, приплясывал с нею взад и вперед, прижимал к своей груди и, придя в трепет от этого прикосновения, вознес голос до такой ликующе-благодетельной благодарственной песни, что прекрасной Сарре почудилось, будто колонны священного ковчега стали расцветать и диковинные цветы и листья капителей росли все выше и выше, и звуки дисканта превратились в соловьиные трели, и свод синагоги раздался от могучего баса, и божественная радость полилась вниз с голубого неба. Это был прекрасный псалом. Община вторила припев, и к возвышенному помосту посреди синагоги медленно шел кантор со священной книгой, в то время как мужчины и мальчики торопливо теснились вокруг, чтобы поцеловать бархатный плащ или хотя бы прикоснуться к нему. На помянутом помосте сняли со священной книги бархатный плащ, равно как и покрытую пестрыми письменами ленту, которой она была обвязана, и кантор тем певучим голосом, который совсем особенно модулирует в праздник Пасхи, начал читать из развернутого пергаментного свитка назидательную историю об искушении Авраама.

Прекрасная Сарра скромно отошла от решетки, и широкая, обремененная нарядами женщина средних лет, с чванливо-благосклонным лицом, безмолвным наклоном головы позволила смотреть в ее молитвенник. Видимому, эта женщина была не особенно большим знатоком писания, ибо когда бормотала про себя молитвы, как имеют обыкновение делать все женщины,

так как им не разрешается громко петь в хоре, то прекрасная Сарра заметила, что чересчур много слов она наговаривала от себя, а через некоторые хорошие строки и вовсе перескакивала. Спустя несколько времени светлые, как вода, глаза доброй женщины томно-медленно поднялись кверху, плоская улыбка скользнула по фарфорово-румяному и белому лицу, и тоном, которому надлежало струиться наивозможно аристократичней, она произнесла, обращаясь к Сарре: — Он поет очень хорошо. Но в Голландии я слышала пение, так еще гораздо лучше. Вы нездешняя и, пожалуй, не знаете, что этот кантор из Вормса и что его хотели здесь удержать, ежели он удовольствуется четырьмястами гульденов в год. Он приятный мужчина, и руки у него, как алебастр. Я дорого ценю красивые руки. Красивая рука придает красоту всему человеку! — При этих словах добрая женщина самодовольно положила руку, которая на самом деле была еще красива, на спинку молитвенного пульта и, грациозно склонив голову, намекая этим, что недолгобывает, когда ее перебивают в разговоре, добавила: — Певунчик еще дитя и выглядит совсем чахлым. Бас уж очень мерзок, и наш Штерн сказал о нем весьма остроумно: «Бас большой дурак, чем это от баса требуется!» Все трое обедают у меня в харчевне, а вы, пожалуй, не знаете, что я — Элле-Шнаппер!

Прекрасная Сарра поблагодарила за это сообщение; в ответ на это Шнаппер-Элле снова подробно рассказала, как прежде она жила в Амстердаме, где по причине ее красоты ей ставили множество сетей, и как она за три дня до пятидесятницы прибыла во Франкфурт и вышла замуж за Шнаппера, как тот в конце концов умер, как он трогательно говорил на смертном одре и как ей тяжело содержать харчевню и сохранять при этом свои руки. По временам она бросала в сторону пренебрежительные взоры, вероятно, относившиеся к насмешливым молодым женщинам, осматривавшим ее наряд. Он был довольно примечателен: пышно взбитая юбка белого атласа, на которой были пестро вы-

шиты все звери Ноева ковчега, кацавейка золотой парчи, подобная латам, рукава красного бархата с желтыми прорезами, на голове нечеловечески высокая шапка, вокруг шеи всемогущественный воротник белого накрахмаленного полотна, а также серебряная цепь, на которой, спускаясь на грудь, висели различные монеты, камни и редкости и между прочим большое изображение города Амстердама. Однакож наряды остальных женщин были не менее примечательны и состояли из смешения мод различных времен; а иные женщины, усыпанные золотом и алмазами, уподоблялись ходячим ювелирным лавкам. Правда, в то время франкфуртским евреям законом была предписана определенная одежда, и для отличия от христиан должны были мужчины носить на плащах желтые кольца, а женщины — высоко насаженную на шпалочку фату с синими полосами. Но в гетто мало соблюдали это установление властей, и, особенно на праздниках, и наипаче того в синагоге, женщины всячески тщились перещеголять друг друга великолепием своих нарядов, частью для того, чтобы возбудить зависть, частью для того, чтобы выказать благосостояние и кредитоспособность своих супругов.

В то время как в нижнем отделении синагоги читают главы из «пятикнижия» Моисеева, обыкновенно допускается послабление набожности. Многие устраиваются поудобнее и присаживаются, перешептываются с соседом о мирских делах или выходят на двор подышать свежим воздухом. Маленькие мальчики позволяют себе, между прочим, вольность навестить своих матерей в женском отделении, где набожность ослабевает куда больше: здесь болтают, судачат, смеются и, как это везде случается, молодые женщины подшучивают над более старыми, а те в свой черед сетуют на ветрениность молодежи и испорченность времени. Подобно тому как в нижнем отделении франкфуртской синагоги был зашевало, так и на хорах была своя заводчица сплетен. Это была Гюндхен Рейс, плоская, зеленолицая женщина, которая чуяла всякое несчастье и постоянно



Погром «Иудейской улицы» во Франкфурте на Майне в 1614 г.

С гравюры Мериана, из «Хроники» Готфрида

держала на конце языка какую-нибудь скандальную историю. Обычной мишенью для ее колкостей служила бедная Шнаппер-Элле: она презабавно умела передразнивать ее вымученно-благородные манеры, а также ту томную осанку, которую та принимала в ответ на лувкавые любезности молодежи.

— А знаете, — выкрикнула Гюндхен Рейс, — вчера Шнаппер-Элле сказала: «Когда бы я не была красива, умна и любима, то не пожелала бы жить на свете!»

Послышалось довольно громкое хихиканье, а стоявшая вблизи Шнаппер-Элле, заметив, что это на ее счет, презрительно закатила глаза и, подобно гордому великолепному корвету, поплыла на более отдаленное место. Фёгеле Окс, круглая, несколько мешковатая женщина, заметила с состраданием, что Шнаппер-Элле, по правде говоря, тщеславна и ограничена, но зато она славная женщина и делает весьма много добра людям, которые в том нуждаются.

— В особенности Назенштерну, — прошипела Гюндхен Рейс. И все, знавшие об их нежной связи, рассмеялись еще громче.

— А знаете, — язвительно добавила Гюндхен, — Назенштерн теперь и ночует в доме Шнаппер-Элле... Однакож, поглядите, там внизу на Зюсхен Флёрсхейм надета шапочка, что Даниель Флеш заложил у ее мужа. Флеш бесится... Сейчас вот она говорит с Флёрсхейм... Как дружелюбно они пожимают руки! А ведь ненавидят друг друга, как Мидиан и Моаб. Как любезно они обмениваются улыбками! Не слопайте только одна другую от чистой чувствительности! Желала бы я послушать их разговор!

И вот, подобно подстерегающему зверю, подкралась Гюндхен Рейс и услышала, что обе женщины участливо обменивались жалобами на то, как много пришлось им работать на прошлой неделе, чтобы прибрать в доме и вычистить кухонную посуду, что надлежит сделать перед праздником Пасхи, дабы нигде не осталось ни одной прилипшей крошки кислого хлеба. Обе женщины также заговорили о хлопотности при выпечке пресных

хлебов. У Флеш была еще своя жалоба: в общинной пекарне ей пришлось перенести много неприятностей — по жеребьевке ей выпало печь в конце праздника, да и то поздно вечером, старая Ганне плохо замесила тесто, служанки раскатали его скалками слишком тонко, половина хлебов сгорела в печи, и, кроме того, шел такой сильный дождь, что деревянная крыша пекарни все время протекала, и они принуждены были, мокрые и усталые, работать там до глубокой ночи...

— А в этом, милая Флёрсхейм, — прибавила Флеш с деликатной любезностью, в которой не было ни капли искренности, — и вы чуточку виноваты, потому что не прислали мне в помощь своих людей.

— Ах, простите, — отвечала другая, — мои люди были слишком заняты: надо было укладывать товары на ярмарку; у нас теперь столько дел, мой муж...

— Я знаю, — перебила ее Флеш резко-торопливым тоном, — я знаю, у вас много дела, много залогов и отличных сделок и ожерелий...

Ядовитое слово уже готово было соскользнуть с уст говорившей, и Флёрсхейм уже покраснела, как рак, как вдруг Гюндхен Рейс пронзительно вскрикнула:

— Бога ради, приезжая женщина упала и умирает... Воды! Воды!

Прекрасная Сарра лежала в беспамятстве, бледная, как смерть, а вокруг нее хлопотливо и участливо теснились толпой женщины. Одни держали ей голову, другие — руку; старухи spryskivali ее водой из склянок, висевших за их молитвенными пультами на случай омовения рук, когда женщины случайно касались ими своего тела; другие давали нюхать упавшей в обморок старый лимон, утыканный гвоздикой, сбереженный еще с прошлого поста, когда его нюхали для подкрепления нервов. В изнеможении, с глубоким вздохом открыла наконец глаза прекрасная Сарра и немymi взорами благодарила за добрую заботливость. Но тут внизу торжественно запели «Восемнадцать благословений», молитву, которую никто не смеет пропускать, и хлопотливые женщины поспешили на свои места.

и творили эту молитву, как надлежит, стоя и обратив лицо к востоку — стороне, где находится Иерусалим. Фёгеле Окс, Шнаппер-Элле и Гюндхен Рейс всех дольше задержались возле прекрасной Сарры; две первые настойчиво предлагали ей свои услуги, последняя осведомлялась: чего ради она так внезапно впала в беспамятство?

Однако обморок прекрасной Сарры имел свою особенную причину. В синагоге существует обычай, что тот, кто избавился от большой опасности, после, при чтении глав священного писания, выходит вперед и благодарит божественный промысел за свое спасение. И вот, когда рабби Авраам поднялся с своего места для такого возблагодарения и прекрасная Сарра узнала голос своего мужа, заметила она, что его тон переходил постепенно в печальное бормотанье молитвы о мертвых; она услышала милые и родные имена, и притом в сопровождении тех благословляющих слов, которыми наделяют умерших; и последняя надежда покинула душу прекрасной Сарры, и ее душа была растерзана уверенностью, что ее милые и родные действительно умерщвлены, что ее маленькая племянница убита, что и ее кузиночки Блюмхен и Фёгельхен убиты и маленький Готшалк тоже убит, — все убиты и мертвы. От горечи этого сознания она и сама едва бы не умерла, если бы благодетельный обморок не затуманил ее чувств.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда по окончании богослужения прекрасная Сарра сошла на синагогальный двор, рабби уже стоял там, ожидая свою жену. Он с веселым видом кивнул ей и вывел на улицу, где прежняя тишина совсем исчезла и сменилась шумным многолюдьем. Бородачи в черных кафтанах, словно скопища муравьев; порхающие и блестящие, подобно золотым жукам, женщины; одетые во все новое мальчики, несшие за стариками их молитвенники; молодые девушки, которые не имели права ходить в синагогу, теперь выскакивали из домов

навстречу родителям, склоняя кудрявые головы, чтобы получить благословение: все радостные, веселые, прогуливающиеся взад и вперед по улице, в блаженном предвкушении отличного обеда, чей милый запах заранее вызывал у всех слюнки, подымаясь от черных меченных мелом горшков, которые только что были вынуты смеющимися служанками из большой общинной печи.

В этой толчее особенно выделялась фигура испанского рыцаря, чье юношеское лицо покрывала та пленительная бледность, которую женщины обыкновенно приписывают несчастной любви, а мужчины, напротив, счастливой. Его походка, хотя и равнодушно-небрежная, однакож скрывала в себе некоторое изысканное жеманство; перья его берета колыхались скорее от гордого покачивания головы, нежели от веяния ветра; громче, чем надобно, звенели его золотые шпоры и португезя меча, который, казалось, он нес в руках; сверкающая драгоценная рукоятка выглядывала из-под рыцарского плаща, накинутого на его стройный стан мнимо-небрежно, но все же изобличая заботливейшую драпировку. Изредка, отчасти с любопытством, отчасти с миной знатока, приближался он к проходившим женщинам, со спокойной твердостью смотрел им в лицо, задерживался, разглядывая, когда они этого стоили, ронял несколько беглых льстивых слов иному прелестному созданию и беспечно шагал дальше, не дожидаясь, пока это возымеет действие. Он уже много раз появлялся вблизи прекрасной Сарры, но его всегда отпугивал ее властный взгляд или загадочно улыбающееся лицо ее мужа, но, наконец, гордо отбросив робкое смущение, он дерзко загородил им дорогу и с щегольской уверенностью сладко-галантным тоном произнес следующую речь:

— Сеньора, клянусь! Слушайте, сеньора, клянусь! Розами обеих Кастилий, аррагонскими гиацинтами и цветами андалузского граната! Солнцем, что освещает всю Испанию, все ее цветы, луковицы, гороховые похлебки, леса, лошаков, козлов и старокатоликов!

Небесным балдахином, на коем это солнце всего только золотая кисть! И богом, что восседает на этом балдахине, размышляя дено и ношно о новом сотворении прелестных женских обликов... Клянусь, сеньора, вы — прекраснейшая женщина, какую я только видел в немецкой земле, и коль скоро вы соблаговолите принять мои услуги, то я прошу вас о милости, благосклонности и позволении осмелиться назвать себя вашим рыцарем и носить ваши цвета в забавах и битвах!

Скорбь залила краской лицо прекрасной Сарры, и взглядом, разящим тем более жестоко, чем нежнее посылающие его глаза, и тоном, уничтожающим тем сильнее, чем мягче дрожащий голос, ответила глубоко оскорбленная женщина:

— Благородный господин! Когда хотите вы стать моим рыцарем, то принуждены будете сразиться с целым народом и в этой борьбе сыщете мало благодарности и еще меньше чести! И когда вы хотите носить мои цвета, то принуждены будете нашить на свой плащ желтые кольца или повязать фату с синими полосами, ибо это мои цвета, цвета моего дома, дома, что зовется Израиль и весьма страждет, и над ним глумятся на улице сыны счастья!

Внезапная краска залила пурпурные щеки испанца, бесконечное замешательство отразилось во всех чертах его лица, и, почти запинаясь, сказал он:

— Сеньора... вы превратно меня поняли... невинная шутка... Однакож, клянусь богом, не глумление, не глумление над Израилем... я сам происхожу из дома Израиля... дед мой был евреем, — быть может, даже мой отец...

— И, наверное, сеньор, дядя ваш еврей? — внезапно перебил его рабби, спокойно наблюдавший эту сцену, и с веселым дразнящим взором прибавил: — И я готов поручиться, что дон Исаак Абарбанель, племянник великого раввина, происходит от лучшей крови Израиля, если даже не от рода царя Давида!

Португеза зазвенела под плащом испанца, его щеки вновь потускнели до землистой бледности; на верхней

губе подергивалась как бы насмешка, борющаяся со страданием, а в глазах окалила зубы сама гневная смерть, и совершенно изменившимся, ледяным, отрывисто-резким тоном он сказал:

— Сеньор раввин! Вы меня знаете. Ну, ладно, значит, ведомо вам, кто я. А когда лис знает, что я из рода льва, то поостережется и не станет рисковать своей лисьей бородой и распалить мой гнев! Как смеет лис судить льва? Конечно, тот, кто чувствует, как лев, может понять его слабости...

— О, я прекрасно понимаю, — отвечал рабби, и печальная серьезность омрачила его лицо. — Я прекрасно понимаю, что гордый лев из гордости сбрасывает свою княжескую шкуру и наряжается в пестрый чешуйчатый панцырь крокодила, ибо стало модой быть слезливым, коварным, прожорливым крокодилom! Как надлежит поступать более ничтожным зверям, когда лев отрекается от самого себя? Однакож, остерегись, дон Исаак, ты не создан для стихии крокодила. Вода (ты отлично знаешь, о чем я говорю) — твое несчастье, и ты в ней погибнешь. Не в воде твоя держава: слабейшей форели живет в воде лучше, чем царю лесов. Ведь ты помнишь, тебя едва не затянуло в пучину Тахо...

Громко рассмеявшись, дон Исаак внезапно бросился на шею раввина, замкнул ему рот поцелуями и, гремя шпорами, подпрыгнул от радости так высоко, что проходившие мимо евреи испуганно шархнули в сторону, — и естественным, сердечно-веселым тоном сказал:

— Взаправду, ты Авраам из Бахераха! И то была неплохая выдумка и, кроме того, еще дружеская услуга, когда ты в Толедо спрыгнул с Алькантарского моста в воду, схватил друга, умевшего лучше пить, чем плавать, за вихор и вытащил на берег! Я было намеревался основательно изучить, в самом ли деле золотой песок лежит на дне Тахо и справедливо ли прозвали его римляне золотой рекой. Уверяю тебя, я еще до сих пор простужаюсь при одном воспоминании об этой речной прогулке...

При этих словах испанец повел плечами, словно отряхиваясь от приставших капель воды. Лицо рабби теперь совсем просветлело. Он несколько раз пожал руку своему другу, говоря при этом: «Весьма рад!»

— И я тоже рад! — сказал тот. — Мы семь лет не виделись, и при нашем расставании я был совсем еще желторотый птенец, а ты, ты был уже такой степенный и серьезный... А что стало с той прекрасной донной, которая стоила тебе иногда столько вздохов, отлично рифмованных вздохов, сопровождавшихся игрой на лютне?..

— Тише, тише! Донна нас слышит, она — моя жена, и ты сам предложил ей сегодня образец твоего вкуса и поэтического таланта.

Не без следа прежнего замешательства поклонился испанец прекрасной женщине, которая с очаровательной добротой теперь высказала сожаление, что, изъяснив неудовольствие, она огорчила друга своего мужа.

— Ах, сеньора, — отвечал дон Исаак, — кто неловкой рукой прикоснется к розе, тот не должен сетовать, что его укололи шипы! Когда вечерняя звезда, сверкая золотом, отражается в голубом потоке...

— Прошу тебя, бога ради, — перебил его рабби, — умоляю... Когда нам придется ждать до тех пор, пока вечерняя звезда, сверкая золотом, отразится в голубом потоке, то моя жена умрет с голоду; она со вчерашнего дня ничего не ела и перенесла за это время много беспокойства и горя.

— Ну, так я сведу вас в лучшую харчевню Израиля, — вскричал дон Исаак, — в дом моей приятельницы Шнаппер-Элле, здесь поблизости. Я уже обоняю ее предестный запах (я разумею — харчевни). О, когда бы ты знал, Авраам, как приятен мне этот запах! Это он, с тех пор, как я гощу в этом городе, так часто привлекает меня к шатрам Иакова! Ибо вообще-то я не охотник общаться с народом, избран-

ным богом, — и, поистине, я посещаю эти еврейские улицы не для того, чтобы помолиться, а затем, чтобы покушать...

— Ты никогда не любил нас, дон Исаак...

— Да, — продолжал испанец, — вашу страпню я люблю гораздо больше, чем вашу веру; вашей вере недостает надлежащего соуса. Вас самих я никогда не мог хорошенько переварить. Даже в лучшие ваши времена, даже под управлением предка моего Давида, который царствовал над Израилем и Иудой, я бы не ужился с вами и уж наверно в одно прекрасное утро спрыгнул бы со стен Сиона и эмигрировал в Финикию или Вавилон, где в храме богов пенится веселие жизни...

— Ты, Исаак, хулишь единого бога, — угрюмо пробормотал рабби, — ты куда хуже, чем христианин, ты — язычник, идолопоклонник...

— Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безрадостные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назарейне... Да простит мне наша богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колени и молюсь перед многострадальной матерью распятого... Только колени мои и язык мой славят смерть, сердце мое хранит верность жизни!..

— Однакож, не принимай кислого вида, — продолжал испанец, заметив, как мало радовала раввина его речь, — не смотри на меня с отвращением. Мой нос не стал отступником. Когда случай завел меня однажды в обеденное время на эту улицу и хорошо знакомые запахи еврейских кухонь защекотали мои ноздри, тогда овладела мною та самая тоска, которую ощутили наши отцы, когда вспоминали о горшках с мясом в Египте; вкусные воспоминания юности зашевелились во мне; мысленно я вновь увидел карпов с коричневой изюмной подливкой, которых столь назидательно умела готовить моя тетка к пятничному вечеру; я вновь увидел тушеную баранину с чесноком и хреном, каким можно пробудить и мертвых, и похлебку с мечтательно плавающими клецками... и моя душа растаяла,

как пение влюбленного соловья, и с тех пор я обедаю в харчевне моей приятельницы донны Шнаппер-Элле!

Между тем, они подошли к харчевне; сама Шнаппер-Элле стояла у дверей своего дома, дружелюбно приветствуя проголодавшихся ярмарочных гостей, устремившихся к ее столу. За нею, высунув голову из-за ее плеча, стоял Назенштерн и любопытно-боязливо осматривал пришельцев. С преувеличенной важностью приблизился дон Исаак к трактирнице, которая ответила на его лукаво-почтительные поклоны нескончаемыми книксенами, после чего он стянул с правой руки перчатку, обернул эту руку полой плаща и, ухватив руку Шнаппер-Элле, медленно провел ею по своим усам, сказав:

— Сеньора, ваши глаза поспорят с жаром солнца. И хотя яйца, чем дольше их варить, тем тверже они станут, однакож мое сердце, чем дольше оно варится в жарких лучах ваших глаз, тем мягче оно становится! Из желтка моего сердца выпорхнул крылатый амур, и он ищет уютное гнездышко на вашей груди. Эта грудь, сеньора, чему надлежит мне ее уподобить? Во всем обширном творении не найти ни одного цветка, ни одного плода, который бы походил на нее. Это растение — единственное в своем роде. Хотя буря уносит лепестки нежнейшей розы, однакож ваша грудь — зимняя роза, непокорная всем ветрам! Хотя кислый лимон, чем сильнее он стареет, тем становится желтей и морщинистей, однакож ваша грудь поспорит своим цветом и нежностью с самым сладким из ананасов! О сеньора, если даже город Амстердам так прекрасен, как вы рассказывали мне о нем вчера, позавчера и всякий день, однако почва, на которой он покоится, еще в тысячу раз прекрасней...

Последние слова рыцарь проговорил с притворным замешательством, томно скосив глаза на большое изображение Амстердама, висевшее на шее Шнаппер-Элле; Назенштерн заглянул вниз ищущими глазами, и хваленная грудь заколыхалась так сильно, что

град Амстердам стал покачиваться из стороны в сторону.

— Ах! — вздохнула Шнаппер-Элле, — добродетель много дороже красоты. Что мне пользы от красоты? Молодость моя проходит, и с тех пор, как умер Шнаппер, — у него, по крайности, были красивые руки, — какая мне польза от красоты?

И тут она снова вздохнула, и, словно эхо, почти неслышно вздохнул за ней Назенштерн.

— Какая вам польза от красоты? — вскричал дон Исаак. — О, донна Шнаппер-Элле, не грешите против благодати создающей природы! Не поносите ее прелестнейших даров! Она жестоко может отомстить вам. Эти упоительные глаза тупо остеклянеют, эти приятные губы сплюснутся до отвратительности, это целомудренное, томящееся по любви тело превратится в неуклюжую бочку сала, град Амстердам будет покоиться на затхлом болоте...

И вот, предмет за предметом описывал он теперешнюю наружность Шнаппер-Элле, так что бедная женщина ощутила странное стеснение и пыталась избавиться от зловещих речей рыцаря. Тут она вдвойне обрадовалась, заметив прекрасную Сарру, и могла настойчиво осведомиться, вполне ли та поправилась после обморока. Она пустилась в оживленную беседу, где раскрылись вся ее притворная чванливость и природная доброта, — и скорее пространно, чем умно, рассказала фатальную историю, как она сама чуть не впала в беспамятство, когда совсем чужая прибыла на трексхейте в Амстердам и продувной носильщик доставил ее не в честную гостиницу, а в бесстыжий непотребный дом, как она скоро заметила по обильному потреблению водки и бесчестным домогательствам... И она, как сказано, уж наверное бы впала в беспамятство, когда бы в течение шести недель, что провела в этом доме соблазна, отважилась хоть на мгновение смежить очи...

— Ради моей добродетели, — прибавила она; — я не могла на это отважиться. И это все приключи-

лось со мной по причине моей красоты! Однакож красота проходит, а добродетель пребывает неизменной.

Дон Исаак собрался было критически осветить подробности этой истории, как на счастье из дома вышел косой Арон Гишку из Гомбурга, что на Лане. Белая салфетка торчала у него под носом, и он сердито пожаловался, что суп давно подан, гости сели за стол, а хозяйки нет.

(Окончание и следующие главы пропали не по вине автора.)



ИЗ МЕМУАРОВ ГОСПОДИНА ФОН-ШНАБЕЛЕВОПСКОГО

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моего отца звали Шнабелевопски; мою мать звали Шнабелевопска; законный сын обоих, я родился первого апреля 1795 года в Шнабелевопсе. Моя двоюродная бабушка, старая госпожа фон-Пипицка, ходила за мною в раннем детстве и рассказывала мне много прекрасных сказок и не раз убаюкивала песней, слова и мелодия которой исчезли из моей памяти. Однако я никогда не забуду, с каким таинственным видом она склоняла трясущуюся голову, когда пела ее, и того, как горестно показывался при этом ее большой единственный зуб, отшельник в пустыне ее рта. Я вспоминаю еще иногда попугая, о смерти которого она так горько плакала. Старая бабушка теперь тоже умерла, и во всем широком мире я, пожалуй, единственный человек, который еще поминает ее милого попугая. Нашу кошку звали Мими, а нашего пса звали Жоли. Он хорошо изучил людей и всегда норовил улизнуть, когда я хватался за плетку. Однажды утром наш слуга сказал, что собака немного поджала хвост и больше обычного высунула язык; и бедного Жоли бросили в воду, привязав ему на шею несколько камней. При этой оказии он утонул. Слугу звали Пррштцтвитш. Чтобы произнести эту фамилию вполне правильно, необходимо чихнуть. Служанку

нашу звали Свуртсца, что по-немецки звучит несколько грубо, но по-польски весьма мелодично. Это была толстая приземистая особа с белыми волосами и белокурыми зубами. Кроме того, по дому носились еще два прекрасных черных глаза, которые назывались Серафима. Это была моя красивая нежнолюбимая двоюродная сестричка, мы с нею вместе играли в саду и подглядывали, как хозяйничают у себя дома муравьи, и ловили бабочек, и сажали цветы. Однажды она безумно хохотала, когда я посадил в землю мои маленькие чулочки, убежденный, что из них вырастут большие штаны для моего отца.

Мой отец был добрейшей в мире душой и долгое время оставался удивительно красивым мужчиной; голова напудрена, сзади мило сплетенная косичка, которая не свешивалась, а прикреплялась черепаховым гребнем к макушке. У него были ослепительно белые руки, я часто целовал их. Кажется, я и сейчас вдыхаю их сладкий запах, и он, пощипывая, забирается мне в глаз. Я очень любил отца, потому что никогда не думал, что он может умереть.

Моим дедушкой с отцовской стороны был старый господин фон-Шнабелевски; я не знаю о нем ничего, кроме того, что он был человек и что мой отец был его сыном. Моим дедушкой с материнской стороны был старый господин фон-Влрсерски (чтобы правильно произнести его фамилию, необходимо тоже чихнуть), и он изображен в шарлаховом бархатном сюртуке, с длинной шпагой, и мать рассказывала мне часто, что у него был друг, который носил зеленый шелковый сюртук, розовые шелковые панталоны, белые шелковые чулки и, говоря о прусском короле, яростно размахивал маленьким шапокляком.

Моя матушка, госпожа фон-Шнабелевска, дала мне, когда я вырос, хорошее воспитание. Она много читала; будучи беременной мною, она читала почти исключительно Плутарха и, должно быть, увлеклась одним из его великих людей, вероятнее всего, одним из Гракхов. Отсюда — моя мистическая страсть к осуще-

ствлению аграрного закона в модернизированном виде. Мое чувство свободы и равенства является, вероятно, следствием такого предродового материнского чтения. Если бы моя матушка читала тогда жизнеописание Картуша, я стал бы, пожалуй, крупным банкиром. Как часто ребенком пропускал я уроки, чтобы на прекрасных лугах Шнабелевопса размышлять в одиночестве о том, как осчастливить все человечество! Меня поэтому часто бранили лентяем и наказывали, как такового; я уже тогда перенес много страданий и горя, за то что думал о том, как осчастливить мир. Окрестности Шнабелевопса, впрочем, очень красивы; там протекает речонка, в которой летом приятно купаться и в прибрежных зарослях которой водятся прехорошенькие птичьи гнезда. Старый Гнезен, прежняя столица Польши, находится всего лишь в трех милях. Там, в соборе, погребен святой Адальберт. Там стоит его серебряный саркофаг, и на нем покоится собственное изображение святого в натуральную величину, в епископской митре, с посохом, с благочестиво сложенными руками, — все из литого серебра. Как часто мне приходится вспоминать тебя, ты, серебряный святой! Ах, как часто мои мысли пробираются назад в Польшу, и я снова стою в гнезенском соборе, прислонившись к пилястре, у надгробного памятника Адальберту. И снова, как бывало, гудит орган, и кажется, будто органист наигрывает отрывок из «Miserere» Аллегри; в отдаленной капелле бормочут мессу; последние лучи солнца падают сквозь разноцветные оконные стекла; церковь пуста; лишь перед серебряным надгробием святого лежит молящаяся фигура, несказанно прелестный женский образ; она искоса бросает на меня быстрый взгляд, но так же быстро обращается снова к святому и шепчет страстными лукавыми устами: «Поклоняюсь тебе!»

В ту самую минуту, когда я услышал эти слова, вдали зазвонил пономарь; орган загудел с нарастающим неистовством; прелестная женская фигура поднялась со ступенек надгробия, прикрыла раскрасневшееся лицо белой вуалью и покинула собор.

«Поклоняюсь тебе!» К кому относились эти слова: ко мне или к серебряному Адальберту? Она обернулась к нему, но только лицом. Что означал косой взгляд, брошенный мне ранее и озаривший лучами мою душу, точно длинная сверкающая полоса, которую проливает луна над ночным морем, появляясь из мрака облаков и потом снова торопливо скрываясь за ними? В моей душе, столь же мрачной, как море, та сверкающая полоса разбудила все чудища, спавшие глубоко на дне, и сумасброднейшие акулы и меч-рыбы страсти внезапно рванулись к поверхности, перегоняя друг друга и впиваясь от блаженства в собственные хвосты, и при этом со все возрастающей мощью гудел и ревел орган, подобно рокоту бури на Северном море.

На другой день я покинул Польшу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мать сама уложила мой чемодан; с каждой сорочкой она укладывала также хорошее поучение. Прачки впоследствии подменили мне все эти сорочки и с ними все хорошие поучения. Отец был глубоко тронут и дал мне длинную записку, в которой по параграфам было написано, как мне следует вести себя в этом мире. Первый параграф гласил, что я должен раз десять обернуть дукат, прежде чем истратить его. Вначале я этому следовал, впоследствии постоянное оборачивание показалось мне чересчур утомительным. Вместе с запиской отец передал мне также упомянутые в ней дукаты. Затем он взял ножницы, срезал косичку со своей милой головы и дал мне косичку на память. Она у меня и до сих пор, и я всегда плачу, глядя на тонкие напудренные волосики.

В ночь перед отъездом я видел следующий сон:

Я гулял одиноко по веселой красивой местности у моря. Был полдень, и солнце освещало воду так, что вся она сверкала точно в алмазах. Кое-где у взморья подымались огромные алгоэ, жадно простирая зеленые руки к солнечному небу. Тут же росла плакучая ива

с длинными ниспадающими золотистыми ветками, которые подымались каждый раз, когда с плеском подбегали волны, и она казалась тогда юной русалкой, приподымающей зеленые косы, чтобы лучше расслышать, что нашептывают ей на ухо влюбленные духи воздуха. И в самом деле, порою это звучало, как вздох и нежный шопот. Море сияло все цветистее и прекраснее, все благозвучней шумели волны, и по шумящим блистающим волнам шагал серебряный Адальберт, совершенно такой, каким я его видел в гнезенском соборе: с серебряным посохом в серебряной руке, в серебряной митре на серебряной голове, и он махал мне рукой и кивал головою и, наконец, очутившись против меня, воззвал ко мне зловещим серебряным голосом...

Да, слов мне из-за шума волн не удалось расслышать; но мне все же кажется, что мой серебряный соперник насмеялся надо мной. Ибо я еще долго стоял на берегу и плакал, пока, наконец, не наступили сумерки и небо и море стали бесконечно тусклыми, бледными и печальными. Поднимался прилив. Алоэ и ива с треском сломались; их унесли волны, которые порою поспешно отбегали назад и тем неистовее нарастали снова, грохочущие и грозные, пенясь белыми полукружиями. Вдруг я услышал размеренные звуки, точно удары весел, и, наконец, увидел челн, гонимый бурунами. Четыре белые фигуры, закутанные в саваны, с пепельно-бледными лицами мертвецов сидели в нем и гребли с напряжением. Посредине челна стояла бледная, но бесконечно прекрасная женская фигура, бесконечно нежная, точно созданная из аромата лилии, — и она спрыгнула на берег. Челн со своими призрачными гребцами унесся, точно стрела, в открытое море, а в моих объятиях лежала панна Ядвига и плакала и смеялась: «Поклоняюсь тебе».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Покинув Шнабелевопс, я раньше всего поехал в Германию, а именно в Гамбург, где пробыл шесть месяцев,

вместо того, чтобы тотчас отправиться в Лейден и там, согласно желанию родителей, отдаться изучению богословской премудрости. Должен признаться, что в течение этого семестра я занимался больше мирскими, нежели божественными делами.

Город Гамбург — хороший город: одни лишь солидные дома. Здесь господствует не низкий Макбет, здесь господствует Банко. Дух Банко — банковский дух — господствует повсюду в этом маленьком свободном государстве, видимым главой которого является высокий и премудрый сенат. И в самом деле, это — свободное государство, и здесь существует наибольшая политическая свобода. Граждане могут здесь делать, что им вздумается, а высокий и премудрый сенат может также делать, что вздумается ему; каждый здесь — вольный господин своих поступков. Это — республика. Если бы Лафайету не удалось найти Луи-Филиппа, он, конечно, рекомендовал бы своим французам гамбургских сенаторов и старейшин. Гамбург — лучшая из республик. Нравы в нем английские, а пища ангельская. Правда, между Wandrahm и Dreckwall подаются блюда, о которых не имеют понятия наши философы. Гамбуржцы — хорошие люди и едят хорошо. В вопросах религии, политики и наук их мнения очень разноречивы, но насчет еды господствует прекраснейшее единодушие. Пускай себе христианские богословы спорят между собою, сколько им вздумается, о значении тайной вечери, — насчет полднейной трапезы они вполне единодушны. Пусть среди евреев существует секта, утверждающая, что застольную молитву надо читать по-немецки, в то время как другие распевают ее по-древнееврейски; однако и те и другие питаются, и питаются хорошо и одинаково правильно судят о пище. Адвокаты, вертельщики жареного, которые вертят и переворачивают законы * до тех пор, пока на их долю не перепадает жирный кусок, они-то

* В оригинале игра слов: wenden — переворачивать, anwenden — применять.

пускай себе спорят без конца о том, должен или не должен быть гласным суд; однако они согласны в том, что все блюда должны быть хорошо приготовлены, и у каждого из них имеется свое любимое блюдо *. Военные мыслят, конечно, весьма храбро, по-спартански; но о черной похлебке они не желают и слышать. Врачи, которые весьма расходятся в лечении болезней и тамошнюю национальную болезнь (а именно: расстройство желудка) лечат обычно либо по методу броунианцев, с помощью еще больших порций копченого мяса, либо по методу гомеопатов — 1/10000 капли абсента в огромной миске черепахового супа, — врачи эти вполне солидарны, когда речь идет о вкусе этого супа и этого копченого мяса. Гамбург — родина последнего, т. е. копченого мяса, и гордится им, как Майнц гордится своим Иоганном Фаустом, а Эйслебен своим Лютером. Но что значат книгопечатание и реформация по сравнению с копченым мясом? Были ли первые полезны или вредны, об этом в Германии спорят две партии; но даже самые ревностные из наших иезуитов согласны в том, что копченое мясо является добрым, спасительным для человека изобретением.

Гамбург построен Карлом Великим, и его населяют 80 000 маленьких людей, которые отнюдь не завидуют Карлу Великому, погребенному в Аахене. Возможно даже, что население Гамбурга достигает 100 000, точно я этого не знаю, хотя целыми днями бродил по улицам Гамбурга с целью наблюдения тамошних жителей. При том же я, наверное, проглядел многих мужчин, в то время как женщины особенно привлекали мое внимание. Этих последних я нашел отнюдь не тощими, но в большинстве случаев даже полнотелыми, порою пленительно красивыми и в общем отличающимися некоею благосостоятельной чувственностью, которая, право же, не внушила мне отвращения. Если к романтической любви они относятся не слишком восторженно и имеют весьма слабые представления о великих

* В оригинале игра слов: Gericht означает и суд и блюдо.

страстях сердца, то это не их вина, а вина амура, маленького бога, который иногда закладывает в свой лук острейшую стрелу любви, но из озорства или по неловкости пускает стрелу чересчур низко, попадая гамбургским гражданкам вместо сердца в желудок. Что касается мужчин, то мне встречались всё коренастые фигуры, рассудительные, холодные глаза, низкие лбы, небрежно отвисающие красные щеки, органы еды чрезвычайно развиты; шляпа точно пригвождена к голове, и руки — в карманах брюк, как у человека, который сейчас спросит: что с меня причитается?

К достопримечательностям города относятся: 1) старая ратуша, в которой стоят изображения великих гамбургских банкиров, высеченные из камня, со скипетром и державой в руках; 2) биржа, где ежедневно собираются сыны Гаммонии, как некогда римляне на форуме, и где над их головами висит черная доска почета с именами отличнейших из сограждан; 3) прекрасная Марианна, необычайно красивая особа, которую зуб времени грызет вот уже двадцать лет, — кстати сказать, «зуб времени» — плохая метафора, ибо оно настолько старо, что, наверное уже не имеет зубов, речь идет о времени, — прекрасная же Марианна сохраняет пока еще все свои зубы и пускает их при случае в ход; 4) старинная центральная касса; 5) Алтона; 6) подлинные манускрипты трагедий Марра; 7) владелец Рединговского кабинета; 8) ресторан «Биржа»; 9) ресторан «Бахус» и, наконец, 10) городской театр. Последний заслуживает особой похвалы: его посетители — исключительно хорошие бургеры, почтенные отцы семейств, не умеющие сами притворяться и других обманывать, — мужи, которые превращают театр в дом господень, поскольку они успешнейшим образом убеждают несчастного, отчаявшегося в человечестве, что не все на свете обман и чистое лицемерие.

При перечислении достопримечательностей гамбургской республики я не могу не упомянуть, что в мое время зал Аполлона на Канатном дворе был еще весьма

блестящим. В настоящее время он очень опустился, и в нем даются филармонические концерты, демонстрируется искусство фокусников и промышляют естествоиспытатели. Когда-то было иначе! Гремели трубы, звенели литавры; развевались страусовы перья. Элоиза с Минкой носились между танцующими под полонез Огинского, и все было очень прилично. Прекрасное время, когда счастье улыбалось мне! И счастье называлось Элоизой! Это было сладкое, милое, счастьем дарящее счастье, с розовыми щеками, лилейным носиком, горячо благоуханными гвоздиками уст, с глазами, точно голубое горное озеро; но немножко глупости залегло на лбу, подобно мрачной туче над блистательным весенним ландшафтом. Она была стройна, как тополь, и резва, как птица, и ее кожа была так нежна, что если кольнуть головной шпилькой — то она двенадцать дней оставалась припухшей; когда я ее уколол, она дулась всего двенадцать секунд и затем улыбнулась, — прекрасное время, когда мне улыбалось счастье! Минка улыбалась реже, так как зубы у нее не были красивы. Но тем прекраснее были ее слезы, когда она плакала, а плакала она при каждом чужом несчастье и была благотворительна сверх всякой меры. Бедным она отдавала последний шиллинг; часто она снимала с себя даже последнюю сорочку, когда от нее требовали этого. Она была так душевно добра! Она от всего могла отказаться, кроме испускания влаги *. Ее мягкий, податливый характер очень мило контрастировал с внешним обликом. Смелая осанка Юноны; белая дерзкая шея, обрамленная неистовыми черными косами, точно сладострастными змеями; глаза, сиявшие столь победительно из-под мрачных триумфальных арок; пурпурно-гордые, высоко изогнутые губы; мраморные властные руки, к сожалению, с несколькими веснушками; и еще была у нее на левом бедре коричневая родинка в форме маленького кинжалчика.

* В тексте игра слов: «кроме исполнения своей естественной потребности»,

Если я ввел тебя, любезный читатель, в так называемое дурное общество, то утешься тем, что оно обошлось тебе по крайней мере дешевле, чем мне. Однако в дальнейшем в этой книге не будет недостатка в идеальных женских персонажах, и уже теперь я представлю тебе в виде передышки двух почтенных дам, которых я тогда же узнал и научился уважать. Это мадам Пипер и мадам Шнипер. Первая в самые зрелые годы оставалась красивой женщиной: большие темные глаза, большой белый лоб, черные фальшивые локоны, смелый древнеримский нос и рот, служивший гильотиной любой репутации. Действительно, не существовало более удобного орудия казни для репутации, чем уста мадам Пипер; она не затягивала агонии, она не делала многозначительных приготовлений; стоило самой лучшей репутации попасться ей на зубок, она только улыбалась, но эта улыбка была подобна гильотине, и честь отсекалась и скатывалась в мешок. Она всегда была образцом приличия, порядочности, благочестия и добродетели. У мадам Шнипер была такая же слава. Это была нежная женщина: маленькие робкие груди, обыкновенно прикрытые болезненно-печальным тонким флёром, светлорусые волосы, светлоголубые глаза, которые ужасно умно выделялись на белом лице. Говорили, будто она ходит неслышными шагами. И действительно, частенько бывало не успеешь оглянуться, и она уже стоит перед тобою и затем исчезает столь же бесшумно. Ее улыбка была тоже смертельна для любого доброго имени, но не как топор, а скорее как тот африканский ядовитый вихрь, от одного веяния которого увядают все цветы; любая репутация плачевно увядала, когда она тихонько улыбалась. Она была всегда образцом приличия, порядочности, благочестия и добродетели.

Я не преминул бы также воздать хвалу еще многим сынам Гаммонии и самым красноречивым образом вссхвалить некоторых особенно уважаемых мужей — именно тех, что оцениваются в несколько миллионов марок банко, но мне придется на мгновение умерить свой

энтузиазм для того, чтобы дать ему вспыхнуть позже более ярким пламенем. Я имею в виду ни более ни менее, как опубликование «Гамбургского Пантеона», точь в точь по тому же плану, который десять лет назад уже набросал знаменитый писатель, приглашавший по этому поводу каждого гамбуржца прислать ему наискорейше специфированный инвентарь своих специальных добродетелей с приложением одного специалера. Я никогда не мог узнать толком, почему этот «Пантеон» не осуществлен; ибо одни говорили, будто предприниматель, честный муж, едва добравшись от «Аарона» до «вечерней зари», или, другими словами, едва сколотив первые бревна, был совершенно раздавлен тяжестью материала; другие же говорили, будто высокий и премудрый сенат, по причине своей чрезмерной скромности, воспрепятствовал проекту, внезапно приказав строителю «Пантеона» в двадцать четыре часа покинуть гамбургскую территорию со всеми ее добродетелями. Но что бы ни было тому причиною, здание не было осуществлено, и так как я по врожденной склонности всегда хотел все же свершить в этом мире нечто великое и всегда стремился достигнуть невозможного, то я подхватил этот гигантский проект и сим предлагаю «Пантеон Гамбурга», бессмертную исполтинскую книгу, в которой описываю великолешие всех, без изъятия, его обитателей, в которой сообщаю о благородных случаях тайной благотворительности, еще не заявленных в газетах, в которой рассказываю о великих деяниях, никому не внушающих веры, и в которой в виде виньетки красуется мое собственное изображение, а именно: я сижу на Юнгферштеге перед Швейцарским павильоном и размышляю о прославлении Гамбурга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Для читателей, которые не знакомы с городом Гамбургом, — таковые, пожалуй, найдутся в Китае и в Верхней Баварии, — я должен заметить, что лучшее место прогулок сынов и дочерей Гаммонии носит пра-

вомерное наименование Юнгферштег; что оно представляется в виде липовой аллеи, ограниченной с одной стороны рядом домов, а с другой — большим Альстеровским бассейном, и что перед этим последним стоят две возведенные над водою шатрообразные забавные маленькие кофейни, именуемые павильонами. Особенно приятно посидеть перед одним из них, так называемым Швейцарским павильоном, в летнее время, когда послеобеденное солнце жарит не особенно жаростно, а только весело улыбается и чудесно, почти как в сказке, обливает своим сиянием липы, дома, людей, Альстер и колышущихся в нем лебедей. Здесь приятно посидеть, и я очень приятно сживал тут не раз в летние послеобеденные часы и думал о том, о чем обыкновенно думают молодые люди, т. е. ни о чем, и глядел на то, на что обыкновенно глядят молодые люди, т. е. на молодых девушек, проходивших мимо: тут порхали они передо мною, эти прелестные существа в крылатых чепцах и с закрытыми корзиночками, в которых ничего не содержалось, — тут, семена, проходили они в своих все еще чересчур длинных юбках, эти пестрые поселанки, снабжающие весь Гамбург земляникою и молоком, — тут горделиво красовались прекрасные купеческие дочки, в придачу к любви которых получаешь еще так много наличных денег, — тут же вприпрыжку разгуливает кормилица с розовым мальчиком на руках, которого она беспрерывно целует, думая при этом о возлюбленном, — тут прогуливаются жрицы пенно-рожденной богини, ганзейские весталки, дианы, вышедшие на охоту, наяды, дриады, гамадриады и прочие пасторские дочки... ах, тут гуляют также Минка и Элоиза! Как часто сживал я перед павильоном и смотрел, как они разгуливают в своих розовых полосатых юбках — четыре марки три шиллинга за локоть, и господин Зелигман уверял меня, что розовые полоски не полиняют от стирки. — Великолепные девчонки! — восклицали при этом добродетельные юноши, сидевшие рядом со мною. Я вспоминаю, как один страхового агент, вечно разряженный, точно бык из

процессии троицына дня, сказал однажды: — Одною из них я хотел бы как-нибудь попользоваться на завтрак, а другою — на ужин, и в такой день я бы совершенно не обедал. — Она ангел, — сказал однажды какой-то морской капитан так громко, что обе девушки одновременно оглянулись и потом ревниво поглядели друг на друга. Я же никогда ничего не говорил и предавался думам своему сладчайшему бездумью и глядел на девушек, и на радостное кроткое небо, и на долговязую башню св. Петра со стройной талией, и на тихий голубой Альстер, в котором так гордо, так грациозно и так уверенно плавали взад и вперед лебеди. Лебеди! По целым часам глядел я на них, на эти прелестные создания с мягкими длинными шеями, следил, как они сладострастно покачиваются на мягких волнах, как блаженно ныряют и снова всплывают на поверхность и величественно плещутся, пока не потемнеет небо и не взойдут золотые звезды, чего-то настойчиво желая, обещая, чудесно-нежно, светло. Звезды! Не золотые ли это цветы на девственной груди неба? Не влюбленные ли это глаза ангелов, сладострастно отражающиеся в голубых водах земли и милующиеся с лебедями?

— — — Ах! Это было уже давно. Я был тогда молод и глуп. Теперь я стар и глуп. Иные цветы за это время увяли, иные растоптаны. Иное шелковое платье за это время износилось, и полинял даже розовый в полоску ситец господина Зелигмана. Да и сам он также увял — фирма называется теперь «Вдова блаженной памяти Зелигмана» *, и Элоиза, — это кроткое существо, казалось, созданное только для того, чтобы под веянье павлиньих опахал попить мягкие индийские ковры, — погрязла среди матросского гама, пунша, табачного дыма и скверной музыки... Когда я вновь увидал Минку, — она называлась теперь Катенькой и жила между Гамбургом и Альтоной, — она походила на Соломонов храм после того, как его разрушил Наву-

* Игра слов: *selig* — блаженный.

ходоносор, причем от нее разило ассирийским кнастером; рассказывая о смерти Элоизы, она горько плакала, в отчаянии рвала на себе волосы и чуть не упала в обморок и вынуждена была выпить большой стакан водки, чтобы прийти в себя.

А сам город, как он переменялся! А Юнгферштег! Снег лежал на крышах, и казалось, даже дома состарились и поседели. Липы Юнгферштега — теперь это были только мертвые стволы с сухими ветвями — точно призраки колыхались под холодным ветром. Небо было пронзительно голубым и стремительно темнело. Было воскресенье, пять часов, время всеобщей кормежки; катились экипажи, мужчины и дамы высаживались с замороженной улыбкой на голодных устах. — Ужасно! В эту минуту я содрогнулся от страшного ощущения; мне почудилось, что на всех лицах лежит печать непостижимой тупости и что все прошедшие мимо меня люди охвачены каким-то необычайным безумием. Я их уже видел двенадцать лет тому назад, в этот же час, с тем же выражением на лицах; они были, точно куклы на часах ратуши, с теми же самыми движениями, и с тех пор они все так же и все с тем же видом подсчитывали, посещали биржу, приглашали друг друга в гости, двигали челюстями, платили чаевые и вновь считали: дважды два — четыре. — Ужасно! — вскричал я, — что если бы одному из этих сидящих за конторкой людей вдруг взбрело, что дважды два — пять и что он, в сущности, всю свою жизнь путал счета и промотал всю свою жизнь в омерзительном заблуждении! — Но вдруг и меня самого охватило нелепое безумие, и когда я повнимательнее всмотрелся в проходивших мимо людей, мне показалось, что они сами — не что иное, как числа, арабские цифры; тут шествовала кривоногая двойка рядом с противной тройкой, ее беременной и полногрудой супругой; сзади брел на костылях господин четыре; ковыляя, приближалась прегадкая пятерка с круглым брюшком и маленькой головкой; затем шла старая знакомая, маленькая шестерка, и еще более знакомая злая семерка.

Однако, когда я очень пристально разглядел проковылявшую мимо злополучную восьмерку, я узнал в ней члена страхового общества, который когда-то был наряден, как бык в процессии троицына дня, теперь же походил на самую тощую из тощих фараоновых коров: бледные запавшие щеки, точно опустошенные суповые тарелки, окоченевший до красноты нос, точно роза зимою, потертый черный сюртук, отсвечивающий жалким белесоватым блеском, шляпа, в которой Сатурн вырезал своею косою несколько отдушин; однако ботинки были попрежнему наваксены до зеркального блеска, — и, казалось, он уже не думал о том, как бы съесть за завтраком или ужином Элоизу или Минку, наоборот, казалось, что он страстно тоскует по кушаньям из самой обыкновенной говядины. Среди прокативших мимо меня нулей узнал я несколько старых знакомых. Эти и еще другие люди-цифры катили мимо, суетливые и голодные, в то время как вблизи, вдоль домов Юнгферштега, еще более зловеще-забавно подвигалось погребальное шествие. Печальный маскарад! Подобно марионеткам смерти, за дрогами шагали, как всегда, точно на ходулях, на своих тонких, в черном шелку, ножках, привилегированные служители скорби, слуги магистрата, — в пародийных старобургундских костюмах: короткие черные плащи и черные с буфами штаны, белые парики и белые жабо, из которых смешно выглядывали красные продажные физиономии, короткие стальные шпаги на бедре, подмышкой — зеленый зонтик.

Но еще более жуткими и странными, чем эти образы, молчаливо проплывавшие, точно китайские тени, были звуки, доносившиеся до моего слуха с другой стороны. Это были хриплые, шипящие, лишенные металлического оттенка звуки, какое-то бессмысленное пронзительное попискивание, боязливое поплескивание, тоскливое посапывание, храп и шипение, стенания и вздохи, какой-то неописуемо леденящий, мучительный вопль страдания. Альстерский пруд замерз, лишь возле самого берега в ледяном покрове был вырублен широкий

четырехугольник, и ужасные звуки, которые я сейчас услышал, вырывались из горла бедных белых созданий, плававших в нем и вопивших в отчаянной смертельной тоске, и, ах! это были те самые лебеди, которые когда-то так мягко и светло волновали мою душу. Ах, прекрасные белые лебеди! Им обломали крылья, чтобы они не могли улететь осенью к теплому югу, и теперь север держал их в оковах своих мрачных ледников, а маркер павильона полагал, что им здесь хорошо и что холод для них полезен. Но это неправда, не может быть хорошо тому, кто бессильно заточен в холодной луже, кто почти замерз, у кого обломаны крылья и кто не может улететь к прекрасному югу, где прекрасные цветы, где золотые лучи солнца, где голубые горные озера. Ах! И со мной случилось нечто подобное, и я понял муку бедных лебедей; а когда стало уж совсем темно и в вышине ярко засветились звезды, те самые звезды, что когда-то так страстно любили с лебедями, а теперь так по-зимнему холодно, так по-морозному светло и почти насмешливо глядели на них сверху, — тогда-то я понял, что звезды — вовсе не любящие, сочувствующие существа, а только блестящие обманы ночи, вечные марева в пригрезившемся нам небе, золотые небылицы в голубом ничто...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда я писал предыдущую главу, мне невольно душно было о совершенно другом. Старая песня, не умолкая, звенела в памяти, и образы и мысли путались самым несносным образом; волею или неволею, я вынужден говорить об этой песне. Быть может, ей здесь и место и она по праву вторгается в мою пачкотню. Да, я даже кое-что начинаю понимать в ней, и я понимаю теперь также тот мрачный тон, каким спел ее Клас Генрихсон; он был ютландец и служил у нас кономом. Он пел ее еще накануне того дня, когда повесился в нашей конюшне. Произносив припев: «Погляди, гæрр Вонвед!», он иногда очень горько смеялся; лошади

при этом очень пугливо ржали; дворовая собака была, точно по покойнику. Это — старинная датская песня о господине Вонведе, который странствует на коне по свету и сражается до тех пор, пока не получит ответа на все свои вопросы, и который, когда все его загадки разрешены, с превеликой досадой возвращается домой. От начала до конца звучит арфа. Что пел он в начале? Что пел он в конце? Я часто думал об этом. Иной раз Клас Генрихсон трогательно и мягко запевал песню, и голос его постепенно становился суровым и грозным, точно море, когда приближается буря. Песня эта начинается:

Герр Вонвед в комнате сидит,
На лютне золотой бренчит,
Под платьем держит лютню он,
А в комнату к Вонведу мать спешит.
Погляди, герр Вонвед.

То была его мать Аделин, королева; она сказала ему: — Мой юный сын, пусть другие играют на лютне; возьми свой меч, оседлай коня, поезжай испробуй твою силу, борись и бейся, повидай белый свет, погляди, герр Вонвед! — И

Герр Вонвед меч повязал боевой:
Его давно уже тянет в бой,
Но выдался путь у юноши странный:
Не встретился боец желанный.
Погляди, герр Вонвед!

А шпора его звенит,
А шлем его блестит,
А конь, как ветер, летит,
А всадник соколом глядит.
Погляди, герр Вонвед!

Он ехал день, он ехал три!
Нет ни селенья на пути.
«О, гей! — воскликнул он тогда, —
Да есть ли в этой стране города?»
Погляди, герр Вонвед!

Герр Вонвед держит путь вперед;
Навстречу Туле Ванг идет,
Сам Туле и его сыны;
Храбры эти рыцари и сильны.

Погляди, герр Вонвед!

«Послушай ты, мой сын меньшей,
Меняйся панцирем со мной.
Мы обменяемся щитами,
И враг не устоит пред нами».

Погляди, герр Вонвед!

Герр Вонвед вынул меч боевой;
Его давно уже тянет в бой.
Сперва он Туле побил самого,
Потом двенадцать сынов его.

Погляди, герр Вонвед!

Герр Вонвед меч повязал боевой, он продолжает свой путь. И тут он встречается охотника и требует у него половину добычи; тот не хочет делиться, тогда он вызывает его на бой и убивает. И

Герр Вонвед меч повязал боевой;
Дальше он путь продолжает свой;
К высокой горе подъехал герой;
Пастух скотину пас под горой.

Погляди, герр Вонвед!

«Скажи, пастух, скажи-ка мне,
Чей скот пасешь ты на этой земле?
И что круглей, чем колесо?
Где пьют веселее под рождество?»

Погляди, герр Вонвед!

«Скажи: где рыба в глуби речной?
Где красная птица в чаще лесной?
Где в мире вино веселей да пьяней?
Где Видрих пирует с дружиной своей?»

Погляди, герр Вонвед!

Но тот глядел, стал бел, как мел,
Совсем от страха онемел;

Он только щелкнул — у пастуха
Выпали печень и все потроха.
Погляди, герр Вонвед!

И он подъезжает к другому стаду; там тоже сидит пастух, которому он задает свои вопросы. Но тот на все ответил, и герр Вонвед, сняв золотое кольцо, надевает его пастуху на руку. Затем он едет дальше, встречает Тиге Нольда и убивает его вместе с его двенадцатью сыновьями. И снова

Коню дал шпоры он,
Герр Вонвед, молодой барон.
Через горы и доли он ехал снова,
Но ни от кого не добился ни слова.
Погляди, герр Вонвед.

Он видит стадо в третий раз.
Седой пастух то стадо пас.
«Эй, друг-пастух, прими привет,
Ты, верно, добрый дашь ответ!»
Погляди, герр Вонвед!

«Что круглей, чем колесо?
Где пьют веселее под рождество?
Куда нисходит солнце над нами?
Куда мертвец лежит ногами?»
Погляди, герр Вонвед!

«Что заполняет все долины?
Что почитают властелины?
Что громче крика журавлей?
Что белого лебедя белей?»
Погляди, герр Вонвед!

«Кто носит бороду над спиной?
Кто держит нос под бородой?
Что всех замков на свете черней?
Что легконогой серны быстрее?»
Погляди, герр Вонвед!

«Где самый широкий мост над водой?
Чего не выносит взор людской?

Куда мы высшей стезей идем?
Где самый холодный напиток пьем?
Погляди, герр Вонвед!

— «Солнце круглее, чем колесо,
На небе лучшее рождество,
На западе солнце прячет венец,
Ногами к востоку лежит мертвец».
Погляди, герр Вонвед!

«Снег заполняет все долины,
Храбрость и силу чтут властелины,
Гром заглушает крик журавлей;
Белого лебедя — ангел белей».
Погляди, герр Вонвед!

«У чибиса борода над спиной,
Нос у медведя под бородой,
Грех черней, чем замки на дверях,
Мысль быстрее, чем серна в горах».
Погляди, герр Вонвед!

«Лед — широчайший мост над водой,
Жабу взор не выносит людской,
Высшей стезею в рай мы идем,
В смерти предельный холод найдем».
Погляди, герр Вонвед!

«Таков наш мудрый совет и сказ,
И ты его получил от нас».
— «Старик, я верю тебе, но скажи:
Где ждут меня храбрые мужи?»
Погляди, герр Вонвед!

— «Твой путь на Зондербург ведет,
Там пьют герои веселый мед,
Немало бойцов и челяди там,
Послушен меч их сильным рукам».
Погляди, герр Вонвед!

Он снял с руки золотое кольцо,
Пятнадцать фунтов весит оно.

Он дал пастуху кольцо золотое,
Чтоб тот указал дорогу к героям.
Погляди, герр Вонвед!

И он въезжает в замок, убивает сначала Рандульфа,
потом Штрандульфа.

Прошиб он Эге Ундеру латы,
Побил и Эге Карла — брата,
Рубил и вдоль и поперек,
Врагам на славу дал урок.
Погляди, герр Вонвед!

Герр Вонвед спрятал меч боевой,
Он дальше путь продолжает свой.
И в дикой чаще встречается он
Бойца, что был и храбр и силен.
Погляди, герр Вонвед!

— «Скажи мне, благородный герой:
Где рыба живет в глубине речной?
Где вина пьяней да веселей?
Где Видрих стоит с дружиной своей?»
Погляди, герр Вонвед!

— «На востоке рыба в речной глубине.
На севере черпают радость в вине.
В Галланде злобный Видрих твой
С бойцами и челядью удалой».
Погляди, герр Вонвед!

Снял Вонвед с груди золотое кольцо,
Герою на руку надел он его:
— «Запомни, ты последним был,
Кто золото Вонведа получил!»
Погляди, герр Вонвед!

Подъехал он к замку, где башням нет счета,
Он кликнул стражу — раскрыть ворота,
Когда ж никто не ответил на зов,
Он перепрыгнул стену и ров.
Погляди, герр Вонвед!

Коня на веревку он привязал,
Поднялся в королевский зал
И там угрюмо сел за стол,
Ни слова не сказав притом.

Погляди, герр Вонвед!

Он ел и пил и яства брал
И спрашивать короля не стал; —
«Я ездил, но не видал ни разу
Столько проклятых бестий сразу!»

Погляди, герр Вонвед!

Король сказал своим бойцам:
— «Связать немедленно наглеца!
Вяжите незванного гостя туго,
Не то плохие будете слуги».

Погляди, герр Вонвед!

— «Хоть пять, хоть двадцать пять поставь,
Хоть самого себя прибавь.
Сыном шлюхи зову тебя,
Можешь вязать меня».

Погляди, герр Вонвед!

«Король Эсмер, любезный отец мой,
Гордая Аделин, мать моя,
Дали мне строгий-престрогий наказ —
Золото с плутом не расточать».

Погляди, герр Вонвед!

— «Если Эсмер король — родитель твой,
Если милая Аделин — мать твоя,
Так ты ведь Вонвед, боец лихой,
Моей милой сестры сынок дорогой».

Погляди, герр Вонвед!

«Герр Вонвед, хочешь остаться при мне —
Почет и слава будут тебе.
А если хочешь ездить по свету, —
Лучших рыцарей дам тебе в свиту».

Погляди, герр Вонвед!

«Коль ты отложишь отъезд домой, —
Служить тебе буду моей казной». —
Но на чужбине ему не по нраву,
Он хочет к матери ехать обратно.

Погляди, герр Вонвед!

И Вонвед поехал в обратный путь;
Тоска ему сжимала грудь;
Когда ж он подъехал к родным стенам,
Двенадцать колдуний стояло там.

Погляди, герр Вонвед!

Веретёна и прялки они держали,
По голени белой его ударяли;
Герр Вонвед погнал коня своего;
Он сбил двенадцать колдуний в кольцо.

Погляди, герр Вонвед!

И тут задал колдуньям герой:
Им всем досталось от него!
А матери был конец таков:
Разрубил ее на пять тысяч кусков.

Погляди, герр Вонвед!

Потом он в залу прошел один,
Ел там и пил много сладких вин,
И лютью взял, и так долго играл,
Что струны все на ней порвал.

Погляди, герр Вонвед! *

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Был, однако, отличный весенний день, когда я впервые покинул город Гамбург. Я вижу еще, как золотые солнечные лучи играют в гавани на осмоленных бортах кораблей, и слышу веселое, протяжное «гойго!» матросов. Такая гавань весною имеет, впрочем, большое сходство с настроением юноши, который впервые отправляется в свет, впервые дерзает выйти в открытое

* Перевод В. Левика.

море жизни, — на всех его помыслах красуются еще пестрые флаги, вера в себя надувает паруса его желаний: гойго! — Но вот поднимаются бури; горизонт хмурится, ревет шквал, доски трещат, волны ломают руль, и бедное судно разбивается о романтические скалы или садится на прозаически-плоскую мель... — или, быть может, изношенное и изувеченное, с подрубленной мачтой, без единого якоря надежды, оно возвращается домой, в старую гавань, и истлевает там, жалкая, с ободраным такелажем, никуда не годная развалина!

Но бывают также люди, которых следует сравнивать не с обыкновенными судами, а с пароходами. Они носят мрачный огонь в груди и идут наперекор ветру и непогоде, — их дымовые флаги вьются, подобно султану ночного всадника, их зубчатые колеса — точно колоссальные шпоры, которыми они врезаются в ребра морских волн, и непокорная кипящая стихия, точно конь, подчиняется их воле, — но очень часто котел лопается, и внутренний огонь пожирает нас.

Но пора мне, наконец, выкарабкаться из метафоры и сесть на настоящий корабль, идущий из Гамбурга в Амстердам. Это было шведское судно, погрузившее, кроме героя настоящих записок, еще железные брусья и, по всем видимостям, предполагавшее обратным рейсом доставить груз трески в Гамбург или сов в Афины.

Берега Эльбы удивительно красивы, особенно за Альтоной, около Рейнвиля. Неподалеку погребен Клопшток. Я не знаю местности, где бы мертвому поэту было так хорошо лежать, как там. Жить здесь в качестве живого поэта было бы гораздо труднее. Как часто посещал я твою могилу, певец Мессии, так трогательно-правдиво воспевавший страдания Иисуса! Ты, правда, тоже достаточно долго жил на Кенигштрассе за Юнгфернштегом, чтобы знать, как распинаят пророков.

На второй день мы достигли Куксгафена, гамбургской колонии. Жители его являются подданными республики и этим очень довольны. Когда они зимой

мерзнут, им посылают из Гамбурга шерстяные одеяла, а летом в слишком жаркие дни им посылают лимонад. В качестве проконсула там имеет свою резиденцию высокий и премудрый сенатор. Его ежегодный доход равняется 20 000 марок, и под его управлением находятся 5 000 душ. Там имеются также морские купанья, которые по сравнению с другими морскими купаньями имеют то преимущество, что они одновременно и эльбские купанья. Большая плотина, по которой можно разгуливать, ведет к Ритцебюттелю, который также принадлежит Куксафену. Слово «Ритцебюттель» финикийского происхождения. Слова «Ритце» и «Бюттель» означают по-финикийски «устье Эльбы». Некоторые историки утверждают, будто Карл Великий только расширил Гамбург, основали же Гамбург и Альтону финикийцы, и притом как раз в то время, когда погибли Содом и Гоморра. Возможно, что беглецы из этих городов спаслись в устье Эльбы. Между Фуленвите и Кафамахерайе было извлечено из земли несколько древних монет, выбитых еще под владичеством Бера XVI и Бирзы X. По моему мнению, Гамбург — древний Фарсис, откуда Соломон получал корабли, набитые золотом, серебром, слоновой костью, павлинами и обезьянами. Соломон, тот самый, что был царем Иуды и Израиля, всегда проявлял особенное пристрастие к золоту и обезьянам.

Незабываемым остается для меня это первое морское путешествие. Старая двоюродная бабушка рассказывала мне так много морских сказок, и они теперь снова расцвели в моей памяти. Я по целым часам просиживал на палубе и думал о старых историях, и когда до меня доносилось бормотание волн, мне казалось, что я слышу бабушкины речи. Закрыв глаза, я видел ее, точно живую, с единственным зубом во рту; она опять сидела, быстро двигала губами и рассказывала историю о летучем голландце.

Мне очень хотелось увидеть морских русалок, сидящих на белых утесах и расчесывающих зеленые волосы; но я слышал только их пение.

Как напряженно ни всматривался я в прозрачное море, я не увидел затонувших городов, среди которых люди, обращенные колдовством во всяческих рыб, ведут свою глубинную, чудесно глубинную подводную жизнь. Рассказывают, будто лососи и старые скаты сидят там у окошка, разряженные, точно дамы, обмахиваются веерами и посматривают на улицу, где плавает треска в ратманских мундирах, где кишат крабы, омары и всякая мелкота из породы раков и откуда молодые модники-сельди лорнируют их снизу вверх. Я, однако, не мог заглянуть так глубоко, — до меня доносился снизу только звон колоколов.

Однажды ночью я увидел проходящий мимо большой корабль с распушенными кроваво-красными парусами, походивший на темного великана в широком шарлаховом плаще. Это и был летучий голландец.

Но в Амстердаме, куда я вскоре прибыл, я увидел страшного мингерра в подлинном его живом виде, правда, на сцене. При этой okazji я познакомился в амстердамском театре с одной из тех русалок, которых я тщетно искал на море. Так как она была очень мила, я посвящаю ей особую главу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Легенда о летучем голландце вам, наверно, известна. Это история о заколдованном корабле, который не может достигнуть гавани и с незапамятных времен скитается по морю. Встретится ему другое судно, и к последнему подплывают в лодке несколько человек из жуткого экипажа и просят оказать им услугу, приняв пакет писем. Их нужно прибить гвоздями к мачте, иначе корабль постигнет несчастье, в особенности, если на борту нет библии или к фокмачте не прибита подкова. Письма всегда адресованы людям, которые никому неведомы или давно умерли, так что, случается, поздний потомок получает любовное письмо, адресованное его прабабушке, сотню лет уже лежащей в могиле. Этот деревянный призрак, это страшное судно

получило название от имени своего капитана, голландца, который однажды поклялся всеми чертями, что, несмотря на налетевший в ту минуту сильный шторм, он объедет какую-то скалу, название которой я позабыл, если бы даже для этого пришлось плавать до страшного суда. Дьявол поймал его на слове, — он обречен блуждать в море до страшного суда, освободить же его в силах только верность женщины. Дьявол, как бы глуп он ни был, не верит в женскую верность и посему разрешает заколдованному капитану раз в семь лет сходить на берег и жениться, добываясь таким путем избавления. Бедный голландец! Он часенько радуется, избавившись от брака и своей избавительницы, и снова возвращается на борт корабля.

На этой сказке построена пьеса, которую я видел в амстердамском театре. Опять прошло семь лет; бедный голландец, утомившись более чем когда-либо от бесконечных блужданий, сходит на берег, заводит дружбу с одним шотландским купцом, продает ему алмазы по смехотворно низким ценам и, услышав, что у его клиента красавица-дочь, просит дать ему ее в жены. И эта сделка тоже заключена. Вот мы видим дом шотландца: девица, робея душою, ожидает жениха. Она часто с тоскою поглядывает на висящую в комнате большую темную картину, изображающую красивого человека в испано-голландском костюме; это старинная, доставшаяся по наследству картина, и, по рассказам бабушки, на ней правдиво изображен летучий голландец в том виде, в каком его видели сто лет назад в Шотландии во времена короля Вильгельма Оранского. С картиной этой связано также переходящее из рода в род предостережение, согласно которому женщины этой семьи должны опасаться оригинала. Именно поэтому девушка с детства запечатлела в сердце черты опасного человека. И когда настоящий летучий голландец в подлинном своем виде входит в комнату, девушка трепещет, но не от страха. Однако и тот поражен при виде портрета. Когда ему объясняют, кто изображен на портрете, ему все же удастся отвести

от себя всякие подозрения. Он смеется над суеверием, он издевается сам над летучим голландцем, вечным жидом океана. Однако непроизвольно впадая в печальный тон, он рассказывает, какие несказанные муки пришлось претерпеть мингерру: среди безбрежной водной пустыни, говорит он, тело его — не что иное, как гроб, в котором тоскует его душа; его гонит от себя жизнь и не принимает смерть; подобно пустой бочке, которую волны кидают друг другу и снова насмешливо отобраывают, мечется бедный голландец между жизнью и смертью, и ни та, ни другая не хотят его удержать; его скорбь глубока, как море, по которому он плавает; на корабле его нет якоря, а в сердце — надежды.

Мне думается, что приблизительно таковы были слова, которыми кончает жених. Невеста серьезно поглядывает на него изредка и бросает косые взгляды на его портрет. Она как будто разгадала его тайну, и когда он затем спрашивает: «Катарина, будешь ли ты мне верна?», она решительно отвечает: «Верна до смерти!» В этот момент, помнится, кто-то рассмеялся, и этот смех исходил не снизу, из ада, а сверху, из райка. Взглянув наверх, я увидел удивительно красивую Еву, которая соблазнительно глядела на меня своими большими голубыми глазами. Рука ее свешивалась с галереи, и в руке она держала яблоко, или, вернее, апельсин. Но вместо того, чтобы символически предложить мне половину, она лишь метафорически бросала мне на голову корки. Нарочно или случайно? Я хотел это узнать. Но когда я поднялся в раек, чтобы продолжить знакомство, то был немало удивлен, увидав белую кроткую девушку, с чрезвычайно женственной, мягкой фигуркой, никак не болезненную, но хрустально-нежную, образ домовитой скромности и сулящей счастье прелести. Только где-то слева у верхней губки залегло, или, скорее, свернулось колечком нечто вроде хвостика убегающей ящерицы. Это была таинственная черточка, которую никак нельзя встретить у невинных ангелов, но которую не встретишь и у мерзостных демонов. Эта черта не означала ни добра, ни зла, но

лишь дурное познание; это — улыбка, отравленная ядом яблока познания, от которого вкусили уста. Увидев эту черту на мягких полнокровных девичьих губах, я чувствую, как судорожно вздрагивают мои губы дрожью желания поцеловать ее губы; это — сродство душ!

Поэтому я шепнул красивой девушке на ухо:

— Юффрау! Я хочу целовать твой рот.

— Клянусь богом, мингерр, прекрасная мысль, — был ответ, стремительно, с упоительным благозвучием прозвучавший из самого сердца.

Однако, нет... мне хочется теперь умолчать обо всей этой истории, которую я хотел рассказать здесь и для которой летучий голландец должен был служить только рамой. Так я отомщу тем притворно целомудренным женщинам, которые упиваются такого рода историями, восхищаются ими до пупа, а то и глубже, а затем бранят рассказчика, морщат нос в обществе и кричат о его безнравственности. Это хорошая история, вкусная, как ананасное варенье, или как свежая икра, или как трюфели в бургундском, и она могла бы послужить приятным чтением после молитвы. Но из мстительности, в наказание за прежние несправедливости, я промолчу. Я ставлю здесь поэтому многоточие...

Это многоточие означает черный диван, и на нем-то и произошла история, которой я не рассказываю. Невинному придется пострадать вместе с виноватым, и иная чистая душа поглядывает на меня молящим взглядом. Что же, этим избранным я потихоньку признаюсь, что никто так дико не целовал меня, как та голландская блондинка, и что она победоносно разрушила предубеждение, которое я до тех пор питал против белокурых волос и голубых глаз. Только теперь понял я, почему один английский поэт сравнил таких дам с замороженным шампанским. В ледяной оболочке таится пламеннейший экстракт. Нет ничего более пикантного, чем контраст между внешней холодностью и внутренним жаром, который вакхически вспыхивает

и непреодолимо опьяняет счастливого бражника. Да, значительно сильнее, чем у брюнеток, пылает пожар чувственности в таких сошедших с иконы тихоних-святых с золотым ореолом волос и синими небесными глазами и благочестиво лилейными руками. Я знаю блондинку, дочь одного из лучших голландских семейств, которая время от времени покидала свой прекрасный замок на Зюдерзее, отправлялась в Амстердам, а там инкогнито в театр, бросала каждому, кто ей понравится, апельсинные корки на голову и — голландская Мессалина — даже проводила иногда неистовые ночи в матросских трактирах.

Придя однажды снова в театр, я поспел как раз к последней сцене пьесы, когда жена летучего голландца, госпожа летучая голландка, ломает в отчаянии руки на высоком утесе, а в море на палубе страшного корабля стоит злополучный супруг. Он любит ее и хочет ее покинуть, чтобы не вовлечь ее в гибель, и открывает ей свою ужасную судьбу и тяготеющее над ним страшное проклятие. А она кричит громким голосом: «Я была тебе верна до этого часа и знаю верное средство сохранить верность до самой смерти!»

С этими словами верная жена бросается в море, и вот наступает конец проклятью, тяготеющему над летучим голландцем: он спасен, и мы видим, как корабль-призрак погружается в пучину морскую.

Мораль пьесы для женщин заключается в том, что они должны остерегаться выходить замуж за летучих голландцев, а мы, мужчины, можем из этой пьесы усмотреть, что даже при самых благоприятных обстоятельствах погибаем из-за женщин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Но не в одном только Амстердаме боги благосклонно позаботились о том, чтобы разрушить мою предубежденность против блондинок. И в остальной Голландии имел я радость исправить свои былые заблуждения. Я ни в коем случае не хочу превозносить голландок

за счет дам других стран. Избави меня небо от такой несправедливости, которая с моей стороны явилась бы в то же время величайшей неблагодарностью! Каждая страна обладает своей особой кухней и своей особой женственностью, и здесь все зависит от вкуса. Один любит жареных кур, другой жареных уток; что касается меня, то я люблю и жареных кур, и жареных уток, и, кроме того, еще жареных гусей. Если взглянуть с высоко-идеалистической точки зрения, женщины повсюду имеют некоторое сходство с кухней данной страны. Разве британские красавицы не так же полезны, питательны, солидны, основательны, консистентны, наивны и в то же время так же превосходны, как добрые простые блюда старой Англии: ростбиф, баранина, пуддинг в пылающем коньяке, сваренные в воде овощи под двумя соусами, из которых один из топленного масла? Тут не улыбнется вам какое-нибудь фрикассе, тут вас не обманет никакая ветреная *vol au vent* *, тут не вздыхает остроумное рагу, тут не предаются всяческой ерунде на тысячу ладов начиненные, варенные, взбитые, печеные, подсахаренные, пикантные, декламационные и сентиментальные блюда, кои мы находим во французских ресторанах и кои представляют столь разительное сходство с прекрасными французенками! Разве мы не замечаем столь нередко, что у последних основная сущность воспринимается как нечто второстепенное, что само жаркое иногда имеет меньше значения, нежели соус, что здесь главное — вкус, грация и элегантность? Итальянская желто-жирная, страстно-пряная, юмористически гарнированная, но в то же время томительно-идеалистическая кухня носит полностью характер итальянских красавиц. О, как тоскую я иногда по ломбардским стоффато, по тальярини и брокколи ** блаженной Тосканы! Все плавает в масле, бездеятельно и нежно; а Россини зали-

* слоеное тесто с начинкой

** У Гейне в тексте: *Stuffedes, Tagliarinis, Broccolis*; по-итальянски: *stufato* — тушеное мясо, *tagliarini* — итальянская вермишель, *broccoli* — спаржевая капуста.

вается сладкими мелодиями и рыдает от ароматного лука и тоски! Макароны, однако, нужно есть пальцами, и тогда они называются: Беатриче!

Слишком уж часто думаю я об Италии, и чаще всего ночью. Третьего дня мне приснилось, что я в Италии, что я пестрый арлекин и лежу весьма лениво под плакучей ивой. Но нависшие ветви этой плакучей ивы оказались самыми настоящими макаронами, ниспадавшими столь длинно и приятно до самого моего рта; сквозь эту макаронную листву текли вместо солнечных лучей потоки желтого масла, и в конце концов сверху пролился белый дождь из натертого пармезана.

Ах, приснившимися макаронами сыт не будешь... Беатриче!

О немецкой кухне — ни слова. Она обладает всеми возможными добродетелями и только одним пороком, — я не скажу, однако, каким. Тут есть чувствительные, но робкие печения, влюбленные яичницы, дельная лапша, душевный ячменный суп, оладьи с яблоками и салом, добродетельные семейные клецки, кислая капуста — благо тому, кто в состоянии переваривать все это.

Что касается голландской кухни, то она отличается от последней, во-первых, чистоплотностью, а во-вторых, — своеобразным соблазнительным вкусом. Особенно неописуемо сладостна в Голландии особым способом приготовленная рыба. Трогательно-задушевный и в то же время глубокомысленный аромат сельдерея. Осознавшая себя наивность и чеснок. Достоинно порицания, однако, что они носят фланелевые панталоны, — не рыбы, а прекрасные дочери омываемой морем Голландии.

Но в Лейдене, приехав туда, я нашел кухню ужасно дурною. Гамбургская республика избаловала меня; я принужден похвалить тамошнюю кухню еще раз, и притом я воспользуюсь случаем еще раз воздать хвалу прекрасным девицам и женщинам города Гамбурга. О, вы, боги, как стремился я первые четыре недели к копченому мясу и горлицам Гаммонии! Я тосковал

сердцем и желудком. И если бы хозяйка «Рыжей коровы» наконец не влюбилась в меня, я бы умер от тоски.

Слава тебе, хозяйка «Рыжей коровы»!

Это была коренастая женщина с очень большим круглым животом и очень маленькой круглой головкой. Красные щечки, голубые глазки — розы и фиалки. Целыми часами сидели мы рядышком в саду и пили чай из подлинно китайских фарфоровых чашек. Это был прекрасный сад! — квадратные и треугольные гряды, симметрично усыпанные золотым песком, киноварью и мелкими блестящими ракушками. Стволы деревьев красиво окрашены в красный и синий цвет. Медные клетки полны канареек. Драгоценные тюльпаны в пестро разрисованных глазированных горшках. Тиссы, изумительно искусно подстриженные, в видеobelisks, пирамид, ваз и даже фигур животных. Тут стояло тиссовое дерево, подрезанное в виде зеленого быка, почти ревниво глядевшего на меня, когда я обнимал ее, милую хозяйку «Рыжей коровы».

Слава тебе, хозяйка «Рыжей коровы»!

Когда мифрау, бывало, украсит верхнюю часть головы фризскими золотыми дощечками, покроет живот, точно панцирем, юбкой из пестрого с цветочками дамá, укутает руки белой пеной драгоценнейших брабантских кружев, — она кажется сказочной китайской куклой, чем-то вроде богини фарфора. Когда я впадал от всего этого в восторг и звучно целовал ее в обе щеки, она оставалась совершенно по-фарфоровому неподвижной и совершенно по-фарфоровому вздыхала: «Мингерр». И тогда казалось, что все тюльпаны в саду тронуты и умиляются вместе с нею и вместе с нею вздыхают: «Мингерр!»

Эта деликатная связь доставила мне кое-какие деликатные куски. Ибо каждая подобная любовная сцена не оставалась без влияния на содержание корзин с едой, которые прекрасная хозяйка посылала мне каждодневно на дом. Мои сотрапезники, шестеро других студентов, питавшиеся вместе со мной в моей комнате, могли каждый раз угадать по вкусу телячьего

жаркого или говяжьего филе, как сильно любит меня госпожа хозяйка «Рыжей коровы». Если кушанье оказывалось дурным, мне приходилось смиренно сносить много насмешек, и тогда говорили: «Посмотрите, какой жалкий вид у Шнабелевского, какое у него желтое лицо и сколько морщинок, какие мутные у него глаза, точно с перепоя, кажется, будто они вылезли у него на лоб; неудивительно, что он надоел нашей хозяйке и что она стала посылать нам дурные кушанья». Или еще говорили: «Бога ради, Шнабелевски с каждым днем слабеет и худеет; в конце концов он совсем потеряет благосклонность нашей хозяйки, и тогда мы будем всегда получать такую же дурную пищу, как сегодня, — надо бы нам его хорошенько подкормить, чтобы к нему снова возвратился его пылкий вид». И затем они набивали мне рот самыми плохими кусками и заставляли есть непомерно много сельдерея. Когда же дурной стол затягивался на несколько дней подряд, меня осаждали серьезнейшими просьбами позаботиться об улучшении питания, снова воспламенить сердце нашей трактирщицы, повысить мою нежность к ней, коротко говоря, пожертвовать собою ради общего блага. В длинных речах доказывали они мне тогда, как благородно, как прекрасно героическое самоотречение во имя блага сограждан, подобно Регулу, который допустил, чтобы его сунули в старую, набитую гвоздями бочку, или подобно Тезею, который добровольно отправился в пещеру Минотавра, — затем шли цитаты из Ливия, Плутарха и т. д. Они пытались побудить меня к подобному соревнованию наглядными способами, для чего рисовали упомянутые великие деяния на стене, и, конечно, с гротескными намеками: ибо Минотавр походил на рыжую корову с хорошо всем известной трактирной вывески, а утыканная гвоздями карфагенская бочка напоминала хозяйку. Вообще же эти неблагодарные люди избрали внешность этой превосходной женщины постоянной мишенью своего остроумия. Обыкновенно они складывали ее фигуру из яблок или скатывали из хлебных

крошек. Они брали маленькое яблочко, которое должно было изображать голову, насаживали его на очень большое яблоко, представлявшее живот, и укрепляли этот живот на двух зубочистках, игравших роль ног. Они еще складывали из хлебных крошек изображение нашей хозяйки и сверх того лепили совсем тщедушную куколку, которая должна была изображать меня самого, и сажали эту куколку на большую фигуру, делая при этом самые скверные сравнения. Один, например, замечал, что маленькая фигурка представляет собою Аннибала, восходящего на Альпы. Другой, напротив, утверждал, что это Марий, сидящий на развалинах Карфагена. Как бы там ни было, но если бы я не восходил иногда на Альпы или не сидел иногда на развалинах Карфагена, то мои сотрапезники всегда питались бы очень дурной пищей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда жаркое оказывалось совершенно негодным, мы спорили о бытии бога. И господь бог получал обычно большинство голосов. Лишь трое из сотрапезников были настроены атеистически; однако и они поддавались убеждениям, когда мы получали к десерту хотя бы хороший сыр. Самым рьяным деистом был маленький Самсон, и, диспутируя о божьем бытии с долговязым Ван-Питтером, он приходил иногда в превеликий раж, бегал взад и вперед по комнате, то и дело выкликая: «Клянусь богом, это недопустимо!» Длинный Ван-Питтер, худощавый фрисланец, душа которого была спокойна, как воды голландского канала, а слова спокойно тянулись, подобно «трексхейту», черпал свои аргументы из немецкой философии, которой тогда упорно занимались в Лейдене. Он посмеивался над тупыми головами, которые приписывают господу богу личное бытие; он обвинял их даже в богохульстве, так как они наделяют бога мудростью, справедливостью, любовью и тому подобными человеческими свойствами, которые вовсе не подобают ему, ибо эти свойства

являются до известной степени негативным изображением человеческих пороков, поскольку мы их воспринимаем лишь как противоположение человеческой глупости, несправедливости и злобе. Когда же Ван-Питтер принимался развивать свои собственные пантеистические взгляды, то против него выступал толстый фихтеанец, некто Дриксен из Утрехта, умевший соответствующим образом подмарать репутацию этого смутного, разлитого в природе, стало быть, все-таки существующего в пространстве бога. Он даже признавал богохульством уже одно то, что кто-то говорил о бытии бога, поскольку «бытие» есть понятие, предполагающее определенное пространство, короче говоря, нечто субстанциональное. Да, богохульно сказать о боге «он существует»; чистейшее бытие нельзя мыслить без чувственного ограничения. Когда хочешь мыслить бога, необходимо отвлечься от всякой субстанции; нельзя мыслить его как одну из форм протяжения, а только как известный порядок событий; господь не бытие, а чистое действие, он только принцип сверхчувственного мирового порядка.

Но при этих словах маленький Самсон впадал в совершенную ярость и еще безумнее бегал по комнате и еще громче кричал: «О, господи, господи! Клянусь богом, это недопустимо, о, господи!» Думается, он мог бы поколотить толстого фихтеанца во славу божью, не обладай он столь тоненькими ручонками. Иногда он и в самом деле кидался на того, но тогда толстяк преспокойно брал маленького Самсона за обе ручонки, спокойно держал его, совершенно спокойно излагал ему свою систему, не вынимая изо рта трубки и извергая прямо в лицо ему жидкие аргументы вместе с густейшими клубами табачного дыма, так что малыш чуть не задышался от дыма и негодования и все тише бормотал, моля о помощи: «О, господи! О, господи!» Но бог никогда не приходил ему на помощь, хотя малыш боролся за его собственное дело.

Несмотря на этот божеский индифферентизм, несмотря на эту почти человеческую неблагодарность бога, ма-

ленький Самсон все же оставался верным чемпионом деизма и, думаю, мне, в силу врожденного влечения. Ибо предки его принадлежали к избранному богом народу, к народу, которому господь когда-то особо протезировал своей любовью и который поэтому до сего часа сохранил известную преданность господу богу. Евреи всегда были самыми послушными деистами, в особенности те, которые, подобно маленькому Самсону, родились в вольном городе Франкфурте. В политических вопросах они могут быть самыми крайними республиканцами и даже вполне по-санкюлотски вальтаться в дерьме, но когда в игру вступают религиозные понятия, они остаются верноподданнейшими камерлакеями Иеговы, старого фетиша, которому нет никакого дела до всего их рода и который ничего не имеет против того, чтобы его обратили в божественно чистый дух.

Я думаю, этот божественно чистый дух, этот парвеню небес, который ныне столь моралистически, столь космополитически и столь универсально образован, питает тайное недоброжелательство против бедных евреев, которые знавали его еще в первоначальном грубом его облике и которые ежедневно напоминают ему в своих синагогах о его прежних темных национальных связях. Быть может, старый господин не желает больше слышать о том, что он палестинского происхождения и что когда-то он был богом Авраама, Исаака и Якова и назывался Иеговой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С маленьким Самсоном я был в Лейдене в очень близких отношениях, и он еще часто будет упоминаться в этих записках. Кроме него я чаще всего встречался с другим моим сотрапезником, молодым ван-Мойленом; я способен был целыми часами глядеть на его красивое лицо, думая при этом о его сестре, которую я никогда не видел и о которой знал только, что она красивейшая женщина в Ватерланде. А ван-Мойлен был образцом мужской красоты, Аполлоном, но Аполлоном не из

мрамора, а скорее из сыра. Он был самым совершенным голландцем, какого я когда-либо видел. Своеобразная помесь мужества и флегмы. Когда он однажды в кофейне до того взбесил одного ирландца, что тот выстрелил в него из пистолета, но не попал, а только выбил у него изо рта глиняную трубку, лицо ван-Мойлена осталось неподвижно, как сыр, и он равнодушно-спокойнейшим тоном произнес: «Jan, e nïe Pier!» * Противна была мне его улыбка, потому что при этом он показывал ряд совсем маленьких белых зубочков, похожих скорее на рыбы кости. Еще не нравилось мне, что он носил большие золотые серьги. У него была странная привычка переставлять каждый день в своей комнате мебель, и когда бы ни прийти к нему, он бывал занят либо перестановкой комода на место кровати, либо перестановкой письменного стола на место дивана.

Маленький Самсон являлся в этом отношении печальнейшей его противоположностью. Он терпеть не мог, чтобы в его комнате передвигали хотя бы безделицу; он явно впадал в беспокойство, если кто-нибудь брал в руки хотя бы безделицу, вроде свечных щипцов. Все должно было оставаться там, где лежало. Ибо мебель и прочие предметы служили ему, согласно правилам мнемоники, подсобным средством для фиксирования в памяти всевозможных исторических дат или философских положений. Когда однажды в его отсутствие прислуга извлекла из комнаты какой-то старый ящик и вынула из комода сорочки и носки, чтобы отдать их в стирку, он, возвратившись домой, впал в полное отчаяние и утверждал, что полностью позабыл историю Ассирии и что его аргументы о бессмертии души, которые он с трудом столь систематически расположил по различным ящикам, попали в стирку.

К оригиналам, с которыми я познакомился в Лейдене, относится также мингерр ван-дер-Пиесен, кузен ван-Мойлена, который и представил меня ему. Он был профессором богословия в университете, и я слушал

* «Ян, новую трубку!»

у него «Песнь песней» Соломона и Откровение от Иоанна. Это был красивый, цветущий мужчина, лет около тридцати пяти, очень серьезный и степенный на кафедре. Когда же я однажды вздумал навестить его, в гостиной не оказалось ни души, но через полуоткрытую дверь бокового кабинета я увидел замечательнейшее зрелище. Этот кабинет был убран наполовину в китайском стиле, наполовину в стиле помпадур: на стенах сверкающая золотом шелковая обивка; на полу драгоценнейшие персидские ковры; повсюду удивительнейшие фарфоровые пагоды, перламутровые безделушки, цветы, страусовые перья и драгоценные камни, кресла красного бархата с золотыми кистями и среди них одно особенно высокое кресло, похожее на трон, на котором сидела маленькая девочка, никак не старше трех лет, одетая в платье из голубого, шитого серебром атласа, старинного франкского покроя, она держала в одной руке, высоко подняв, точно скипетр, пестрое павлинье опахало, а в другой увядший лавровый венок. Перед нею на полу кувыркались мингерр ван-дер-Писсен, его негритенок, пудель и обезьяна. Все они вчетвером таскали друг друга за волосы и кусали, в то время как ребенок и сидевший на жердочке зеленый попугай беспрерывно кричали «браво!» Наконец мингерр встал, преклонил перед ребенком колени, совершенно серьезно произнес по-латыни похвальную речь мужеству, с которым он победил своих врагов, и подставил девочке голову для возложения увядшего лаврового венка. «Браво! Браво!..» воскликнули и дитя, и попугай, и я, вошедший теперь в комнату.

Мингерр казался несколько смущенным тем, что я застал его за проявлением такого чудачества. Как мне потом рассказывали, он предавался ему ежедневно; ежедневно побеждал он негра, пуделя и обезьяну; ежедневно его венчала лавровым венком маленькая девочка, которая не была его дочерью, а подкидышем из сиротского дома в Амстердаме.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дом, в котором я квартировал в Лейдене, занимал когда-то Ян Стин, великий Ян Стин, которого я считаю столь же великим, как и Рафаэля. Как религиозный живописец, Ян был так же велик, и это все когда-нибудь ясно увидят, когда религия страдания угаснет и религия радости сорвет мрачный флёр с розовых кустов этой земли и когда соловьи, наконец, ликуя, залягут своими столь длительно затаенными песнями восторга.

Но ни одному соловью не под силу петь так светло и восторженно, как Ян Стин рисовал. Никто не воспринимал так глубоко, как он, что на сей земле должен быть вечный праздник: он понимал, что наша жизнь — это красочный поцелуй бога, и знал, что дух святой чудеснее всего открывается в свете и смехе.

Его глаз смеялся, погружаясь в свет, а свет отражался в его смеющемся глазу.

И Ян навсегда остался добрым, милым ребенком. Когда старый строгий лейденский проповедник, сидя рядом с ним у очага, читал длинное наставление по поводу его веселой жизни, его весело-нехристианского поведения, его любви к вину, его беспорядочного хозяйства и закоренелой жизнерадостности, Ян совершенно спокойно слушал битых два часа, не проявляя ни малейшего нетерпения во время длинной проповеди, и только раз прервал ее словами: «Да, домине, освещение было бы так много лучше; я прошу вас, домине, пододвиньте ваш стул чуть-чуть поближе к камину, чтобы огонь бросил свой красный отсвет на все ваше лицо и чтобы остальная часть тела осталась в тени...»

Домине в негодовании встал и удалился. Ян, однако, тотчас схватил палитру и написал старого строгого домине совершенно таким, каким тот был во время строгой проповеди — итак, не догадываясь об этом, домине послужил ему моделью. Портрет этот превосходен, он висел в моей спальне в Лейдене.

После того как я перевидал в Голландии так много картин Яна Стина, мне кажется, что я знаю всю жизнь этого человека. Да, я знаю всю его родню, его жену, его детей, его мать, всех его кузенов, его домашних врагов и прочих близких ему людей, да, я знаю их всех в лицо. Ведь эти лица приветствуют нас со всех его картин, и собрание их было бы биографией художника. Он часто одним единственным мазом кисти запечатлевал в них глубочайшие тайны своей души. Так, мне думается, его жена частенько попрекала его за обильные возлияния, потому что на картине, которая изображает «праздник бобов» и на которой Ян сидит за столом со всей своей семьей, жена его представлена с чрезмерно большою кружкою вина в руке, а глаза ее блестят, как у вакханки. Я, однако, убежден, что добрая женщина никогда не пила вина более, чем следует, и что хитрец вздумал убедить нас, будто не он, а жена любит выпить. Оттого-то и посмеивается он с картины так удовлетворенно. Он счастлив: он сидит среди своих; сынишка его — король бобов и стоит в сусальной короне на стуле; старуха мать его, с блаженнейшей улыбкой на морщинистом лице, держит на руках самого младшего внучонка; музыканты наигрывают свои самые забавные, развеселые плясовые мелодии, а бережливо-рассудительная, хозяйственно-ворчливая госпожа дома нарисована так, чтобы у всех потомков возникало подозрение, что она пьяна.

Как часто в моей квартире в Лейдене имел я возможность целыми часами представлять себе давно минувшие домашние сцены, которые пережил в ней и перенес чудесный Ян. Иногда мне казалось, что я вижу его точно живым, у станка, время от времени прикладывающимся к кувшину, чтобы «подумать и при этом выпить, а потом снова выпить, уже не думая». Это был не мрачно-католический призрак, а по-современному светлый дух радости, даже после смерти посещающий свою мастерскую, чтобы рисовать веселые картины и пить. Только такие призраки будут являться порою нашим потомкам среди бела дня, когда солнце глядит

в сияющие окна, и не черно-глухие колокола, а пурпурно-восторженные трубные звуки возвестят с башни милый обеденный час.

Воспоминание о Яне Стине было, однако, лучшим, или, точнее, единственным благом в моей лейденской квартире. Не будь этого уютного очарования, я не выдержал бы в ней и недели. Снаружи дом был и скверный, и жалкий, и унылый, совершенно не голландский. Мрачный ветхий дом стоял у самой воды, и, если проходить мимо него по ту сторону канала, казалось, что видишь старую ведьму, глядящуюся в блестящее волшебное зеркало. На крыше, как и на всех голландских крышах, стояла обычно чета аистов. Рядом со мною квартировала корова, молоко которой я пил по утрам, а под моим окном помещался курятник. Мои пернатые соседки доставляли мне хорошие яйца; но так как мне всегда приходилось, прежде чем они произведут их на свет, выслушивать продолжительное кудахтанье, нечто вроде скучного предисловия к их яйцам, то удовольствие от последних бывало в значительной степени отравлено. К неприятностям моей квартиры относились, однако, две фатальнейших неприятности: во-первых, игра на скрипке, терзавшая мой слух в течение дня, и ночные происшествия в тех случаях, когда моя хозяйка обрушивалась на своего несчастного мужа со своей странной ревностью.

Тому, кто хотел бы изучить отношения хозяина моей квартиры и моей хозяйки, вполне достаточно было бы послушать, как они совместно музицируют. Муж играл на виолончели, а жена играла на так называемой *violon d'amour* *, но она никогда не держала темпа, неизменно обгоняла мужа на один такт и ухитрялась вымучивать из своего несчастного инструмента самые уточненно-пронзительные взвизги; когда виолончель начинала бубнить, а скрипка ныть, казалось, что слышишь перебранку супружеской четы. Жена все еще продолжала играть, когда муж уже давно кончил, так

* виоле

что казалось, что ей хочется непременно, чтобы последнее слово оставалось за нею. Это была высокая, но очень худая женщина — кожа да кости, рот, в котором пощелкивало несколько фальшивых зубов, низкий лоб, почти полное отсутствие подбородка, но зато длиннейший нос, кончик которого выдавался наподобие клюва и которым она, играя на скрипке, казалась, порою смягчает звук струны.

Хозяин мой был человек лет около пятидесяти, с очень тонкими ногами, с изможденно-бледным лицом и совсем маленькими, беспрестанно мигающими зелеными глазками, точно у часового, которому солнце светит прямо в лицо. По профессии он был бандажистом, а по религии — анабаптистом. Он очень усердно читал библию. Это чтение отражалось на его ночных сновидениях, и за утренним кофе он, мигая глазками, рассказывал жене, что снова сошла на него великая благодать, что святейшие персоны удостоили его своей беседою, что он общался с самым высочайше святейшим величеством Иеговой и что все ветхозаветные женщины оказывали ему весьма дружественное и нежное внимание. Последнее обстоятельство вовсе не радовало мою хозяйку, и не раз проявляла она ревнивейшее неудовольствие по поводу ночных походов мужа с ветхозаветными женщинами. Была бы это, говорила она, хотя б пречистая мать Мария, или престарелая Марфа, или пускай даже Магдалина, которая ведь стала исправляться... но ночные связи с гулящими дочерьми старого Лота, с грязной мадам Юдифь, с истаскавшейся царицей Савской и им подобными двусмысленными бабами совершенно недопустимы. Ничто, однако, не могло сравниться с ее яростью, когда однажды утром ее муж, впад от избытка блаженства в словоблудие, набросал восторженный портрет прекрасной Эсфири, которая попросила его помочь во время туалета, так как ей хотелось всемогуществом своих прелестей обратить на путь истины царя Агасфера. Напрасно уверял бедный человек, что господин Мардохай сам представил его своей прекрасной воспи-

таннице, что она в то время была уже полуодета, что он только расчесал ее длинные черные волосы, — тщетно! Обозленная женщина избила бедного мужа его собственными бандажами, выплеснула ему в лицо горячий кофе и несомненно убила бы его, если бы он не поклялся всеми святыми прекратить всякие отношения с ветхозаветными женщинами и впредь общаться только с библейскими патриархами и пророками мужского пола.

Следствием этого избиения было то, что отныне мингерр стал трусливо утаивать свое ночное блаженство; но он теперь превратился окончательно в святейшего «гоуэ»*; он признавался мне, что у него хватило дерзости сделать безнравственные предложения даже нагой Сусанне; да, в конце концов, дерзость его дошла до того, что он догрезился до гарема царя Соломона и до чаепития с его тысячью жен.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Злополучная ревность! Из-за нее была разрушена одна из моих лучших грез и косвенно, быть может, жизнь маленького Самсона.

Что такое сон? Что такое смерть? Приостановка ли жизни или полнейшее ее прекращение? Да, для людей, которым ведомы только прошедшее и будущее и которые не в силах в каждом мгновении настоящего переживать целую вечность, да, для таких людей смерть должна быть ужасна! Потеряв оба костыля — пространство и время, — они погружаются в вечное ничто.

А сон? Почему мы не боимся отхода ко сну больше, чем погребения? Разве не страшно, что тело может быть безжизненным трупом в течение целой ночи, между тем как дух внутри нас ведет самую деятельную жизнь, — жизнь со всеми ужасами того разделения, которое мы только что установили между телом и духом? Если когда-нибудь в будущем они снова соеди-

* развратника

няться в нашем сознании, тогда, пожалуй, не станет больше снов, или грезить будут только больные люди, люди, в которых нарушена гармония. Лишь потихоньку и скупо грезили древние; яркий, потрясающий сон был для них событием, и его вносили в книги истории. Подлинное сновидчество начинается впервые у иудеев, народа духа, и достигает высшего расцвета у христиан, народа духов. Наши потомки ужаснутся, если когда-нибудь прочтут, какое призрачное существование вели мы, как был раздвоен в нас человек и как одна только половина вела подлинную жизнь. Наше время — а оно начинается у христового креста — будет восприниматься как длительный болезненный период человечества.

И все-таки, какие сладкие сны снились нам порою. Наши здоровые потомки вряд ли поймут это. Вокруг нас гибли все соблазны мира; а мы находили их вновь в недрах нашей души; в душе нашей нашли убежище аромат распотанных роз и очаровательнейшая песня испугнутых соловьев.

Я знаю все это и умираю от зловещих тревог и гнусных наслаждений нашего времени. Когда я вечером разденусь и улягусь в кровать, и вытяну ноги, и покроюсь белой простынею, меня невольно подчас охватывает трепет, и приходит на мысль, что я труп и что я сам себя хороню. Тогда я спешу закрыть глаза, чтобы ускользнуть от этой страшной мысли и спастись в страну снов.

Это был сладкий, милый, солнечный сон. Небо небесно-голубое и безоблачное, море аквамариново-зеленое и спокойное. Необозримо широкая водная равнина, а по ней плыл расцвеченный пестрыми флагами корабль, и на палубе сидел я, ласкаясь у ног Ядвиги. Те восторженные песни любви, что я сам написал на листах розовой бумаги, читал я ей, радостно вздыхая, и она слушала, недоверчиво склонившись ко мне, со страстной улыбкой, и подчас порывисто вырывала листки из моих рук и бросала их в море. Но прекрасные русалки, с их снежнобелыми грудями и плечами, тотчас же всплывали на поверхность и подхватывали раз-

летавшиеся песни любви. Перегнувшись за борт, я отчетливо видел самую глубь морскую: там сидели русалки, точно в светском кругу, и посреди них стоял юный морской бог, с чувствительно-одушевленным лицом декламировавший мои любовные песни. Бурные аплодисменты раздавались при каждой строфе; зеленокудрые красавицы аплодировали так страстно, что их грудь и шея покрылись румянцем, и они выражали свое одобрение с радостным и в то же время все-таки сострадательным одушевлением: «Какие странные существа эти люди! Как странна их жизнь! Как трагична вся их судьба! Они любят друг друга и не смеют обычно об этом сказать, а если и смеют, то редко могут понять друг друга! И при этом они не живут вечно, как мы; они смертны; им даровано лишь краткое мгновение для того, чтобы искать счастье. Они должны быстро схватить его, поспешно прижать к сердцу, пока оно не улетит, — поэтому их любовные песни так нежны, так задушевные, так сладостно-тревожны, так отчаянно-веселы, такая причудливая смесь радости и скорби. Мысль о смерти бросает меланхолическую тень на их счастливейшие часы и нежно утешает их в несчастье. Они могут плакать. Сколько поэзии в такой человеческой слезе!..»

«Слышишь, — сказал я Ядвиге, — как они там внизу судят о нас? Обнимем же друг друга, чтобы они перестали жалеть о нас, чтобы они даже нам позавидовали!» Она же, возлюбленная, взглянула на меня с бесконечной любовью и не говоря ни слова. Я молча поцеловал ее. Она побледнела, и холодный трепет пробежал по ее прелестному телу. И затем она лежала оцепенелая, точно белый мрамор, в моих руках, и я мог бы подумать, что она умерла, если бы из глаз ее не пролились неудержимо два обильных потока слез, и эти слезы затопили меня, между тем как я все сильнее и сильнее сжимал в своих руках прелестное создание.

Тут я услышал вдруг визгливый голос моей хозяйки и очнулся от сна. Она стояла перед моей кроватью с по-

тайным фонарем в руке и просила, чтобы я поскорее встал и проводил ее. Никогда не казалась она мне такой отвратительной. Она была в рубашке, и лунный блеск, проникнув через окошко, золотил ее увядшие груди; они походили на два иссохших лимона. Не зная, чего она хочет, почти в полусне, я последовал за ней в спальню ее супруга, и там лежал этот бедный человек, надвинув на глаза колпак, и, казалось, ярко грешил. Иногда тело его явно содрогалось под одеялом; его губы улыбались от непомерного блаженства, судорожно вытягивались порою, точно для поцелуя, и он хрипел и лепетал: «Фасти, царица Фасти, ваше величество! Не бойся никаких Агасферов! Возлюбленная Фасти!»

С пылающими гневом глазами наклонилась женщина над спящим супругом, приложила ухо к его голове, как будто ей дано было подслушать его мысли, и прошептала мне: «Вы теперь убедились, мингерр Шнабелевски? У него сейчас любовные дела с царицей Фасти! Презренный прелюбодей! Я еще вчера ночью открыла эту непристойную связь. Даже язычницу он предпочитает мне. Но я женщина и христианка, и вы увидите, как я отомщу за себя».

С этими словами она сорвала одеяло с тела несчастного грешника, — он лежал весь в поту, — потом схватила бандаж из оленьей кожи и стала безбожно хлестать по шуплым членам несчастного грешника. Последний, будучи столь неприятно пробужден от своего библейского сна, закричал так громко, как будто столица Суза была охвачена пламенем, а Голландия водою, и своим криком привел в замешательство соседей.

На другой день весь Лейден говорил о том, что мой хозяин поднял столь изрядный крик потому, что приметил меня ночью в обществе своей супруги. Последнюю видели полуголой у окошка, и наша горничная, которая меня терпеть не могла, рассказала хозяйке «Рыжей коровы», расспрашивавшей ее о случившемся, будто она сама видела, как мифрау нанесла мне ночной визит в моей спальне.

Я не могу без великой горести думать об этом событии! Какие страшные последствия!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Если бы хозяйка «Рыжей коровы» была итальянкой, она, быть может, отравила бы мою пищу; но, так как она была голландка, она начала посылать мне очень плохую пищу. Уже на второй день мы испытали последствия ее женского гнева. Первым блюдом было: никакого супа. Это было ужасно, в особенности для столь хорошо воспитанного человека, как я, который от юности ел суп каждый день и по сей час не может представить себе мир, где утром не всходит солнце, а к обеду не подают супа. Второе блюдо состояло из говядины, холодной, жесткой, как Миронова корова. Третьим шла треска, от головы которой пахло, как от человека. Четвертым шла большая курица; далеко не будучи склонна утолить наш голод, она была столь тощей и изможденной, как будто сама страдала от голода, так что к ней не хотелось прикоснуться почти из сострадания.

— Ну, а теперь, маленький Самсон, — вскричал толстый Дриксен, — ты все еще веришь в бога? И это справедливость? Госпожа бандажистиха посещает Шнабелевского среди темной ночи, а нам приходится из-за этого плохо есть среди бела дня.

— О, господи, господи! — вздыхал малыш, весьма раздосадованный такими атеистическими выходками, а может быть, и скверной пищей. Его досада усилилась, когда и длинный ван-Питтер стал отпускать остроты против антропоморфистов и похвалил египтян, которые когда-то поклонялись быкам и луку; ибо первые, если их зажарить, и второй, если его утешить, приобретают вполне божественный вкус.

Однако, такого рода издевательства вызывали все более горестное настроение в душе маленького Самсона, и он, наконец, следующим образом заключил свою апологию деизма:

— Что солнце для цветов, то бог для людей. Когда лучи этого небесного светила касаются цветов, они весело поднимаются, раскрывают свои чашечки и развертывают самые пестрые свои красочные уборы. Ночью, когда их солнце далеко, они стоят печальные, со свернутыми лепестками, и спят или грезят о солнечных поцелуях прошедшего. Те цветы, которым долго приходится стоять в тени, теряют окраску и плохо растут, становятся уродливыми, блекнут и увядают, унылые, не ведающие счастья. Цветы же, растущие в полной темноте, в подвалах старых замков, среди монастырских развалин, пресмыкаются по земле, точно змеи, и уж самый аромат их тлетворен, ядовито одуряющ, смертелен.

— О, брось плести дальше свои библейские параболы, — закричал толстый Дриксен, вливая в глотку большой стакан можжевелевой водки. — Ты, маленький Самсон, — благочестивый цветок; ты так жадно сосешь святые лучи добродетели и любви под солнечным сиянием божьим, что твоя душа цветет, точно радуга; наша же, отвратившаяся от божества, увядает бесцветно и безобразно или даже распространяет разносящие чуму ароматы.

— Я видел однажды во Франкфурте, — сказал маленький Самсон, — часы, которые не верили ни в каких часовщиков. Они были томпаковые и шли очень скверно.

— Я тебе покажу, по крайней мере, что такие часы могут бить, — возразил Дриксен и при этом вдруг успокоился и перестал травить малыша.

Так как последний, несмотря на свои слабые ручонки, превосходно фехтовал, то было решено, что они будут драться в тот же день. Они напали друг на друга с большим озлоблением. Черные глаза маленького Самсона широко раскрылись и засверкали, и тем разительнее был контраст их с ручонками, очень жалко выглядывавшими из подвернутых рукавов рубашки. Он горячился все больше... он ведь бился за бытие господ бога, старого Иеговы, царя царей. Последний,

однако, не оказал своему чемпиону ни малейшей поддержки, и на шестом туре малыш получил удар в легкое!

— О, господи! — простонал он и упал наземь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Эта сцена страшно меня потрясла. Но вся буря моих чувств обратилась против женщины, бывшей косвенною причиной такого несчастья; с сердцем, полным гнева и скорби, бурю помчался я к «Рыжей короле».

— Чудовище, почему ты не послала супа? — Таковы были слова, с которыми я обратился к побледневшей хозяйке, застигнув ее в кухне. Фарфор на камине задрожал при звуке моего голоса. Я был страшен, насколько может быть страшен человек, когда он не поел супу и когда его лучший друг пронзен ударом в легкое.

— Чудовище, почему ты не послала супа? — Эти слова повторил я в то время, как осознавшая вину свою женщина стояла передо мной, неподвижная и безмолвная. Наконец, точно из открытых шлюзов, из ее глаз хлынули слезы. Они залили все ее лицо и потекли вплоть до канала на груди. Однако это зрелище не могло смягчить мой гнев, и с нарастающей горечью я сказал:

— О, вы, женщины, я знаю, что вы умеете плакать, но слезы — не суп. Вы созданы нам на погибель: взгляд ваш — ложь; ваше дыхание — обман. Кто первый вкусил от яблока греха? Гуси спасли Капитолий; но из-за женщины Троя погибла. О, Троя! Троя! Священная твердыня Приама, ты пала по вине женщины!.. Кто вверг в погибель Марка-Антония? По чьему наущению был убит Марк-Туллий Цицерон? Кто потребовал голову Иоанна Крестителя? Кто был причиной увечья Абелара? Женщина! История полна примерами того, как мы погибали из-за вас. Все ваши дела — безумие; все ваши помыслы — неблагодарность. Мы отдаем вам самое высокое, святейший огонь сердца, нашу любовь, — что же вы даете нам взамен? Мясо, скверную

говядину, ещё более скверную курятину, — чудовище, почему ты не послала супа?

Напрасно теперь мифрау лепетала ряд извинений и заклинала меня всеми блаженствами вкусенной нами любви простить ее на этот раз. Она обещала посылать мне отныне лучшую пищу, чем прежде, и попрежнему считать за порцию всего шесть гульденов, хотя хозяин «Большой сороки» за свои скверные кушанья взыскивает восемь гульденов. Она зашла так далеко, что обещала мне к следующему дню паштет из устриц; да, в мягком звуке ее голоса благоухали даже трюфели. Но я остался непреклонным, я решился порвать навсегда и покинул кухню с трагическими словами:

— Прощай, довольно мы в сей жизни настряпали.

Уходя, я слышал, как что-то упало. Был то какой-нибудь кухонный горшок или сама мифрау? Я не дал себе труда оглянуться и прошел прямо к «Большой сороке», чтобы заказать шесть обедов к следующему дню.

После этого наиважнейшего дела я поспешил на квартиру маленького Самсона, которого застал в очень плохом состоянии. Он лежал на большой старофранкской кровати без полога; на углах кровати находились четыре деревянных под мрамор колонны, несущих богато вызолоченный балдахин. У малыша было страдальчески бледное лицо, и во взгляде, который он кинул на меня, казалось столько печали, доброты и страдания, что я был тронут до глубины души. Врач только что покинул его, объявив его рану опасной. Ван-Мойлен, единственный, кто остался при нем дежурить ночью, сидел у кровати и читал ему библию.

— Шнабелевопски, — вздохнул малыш, — хорошо, что ты пришел. Можешь послушать, это будет тебе на пользу. Это чудная книга. Предки мои носили ее с собой по всему свету и приняли за нее много горя и несчастья, и позора и ненависти; их даже убивали за нее. Каждая страница в ней стоила слез и крови; это писанная отчизна детей божьих; это святое наследство Иеговы...

— Не говори слишком много, — крикнул ван-Мойлен, — тебе это вредно.

— В особенности, — прибавил я, — не говори о Иегове, неблагодарнейшем из богов, за бытие которого ты сегодня дрался...

— О, господи! — вздохнул малыш, и слезы потекли из его глаз, — о, господи! ты помогаешь нашим врагам!

— Не разговаривай так много, — повторил ван-Мойлен. — А ты, Шнабелевски, — шепнул он мне, — извини, если я нагоню на тебя скуку: малыш во что бы то ни стало хотел, чтобы я прочел ему историю его тезки Самсона. Мы дошли до четырнадцатой главы, послушай:

«Самсон пошел в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину среди дочерей филистимлянских *».

— Нет, — воскликнул малыш, не открывая глаз, — мы дошли уже до шестнадцатой главы. Чудится мне, будто я пережил в действительности все то, о чем ты читаешь, я будто слышу блеяние овец, пасущихся у Иордана, будто я сам поджег хвосты у лисиц и погнал их на поля филистимлян, будто я сам побил тысячу филистимлян ослиной челюстью. — О, филистимляне! Они угнетали нас и ругались над нами; они заставляли нас, как свиней, платить подати и выкинули меня из танцзала на Конную площадь и в Бокенгейме топтали меня ногами... выкинули... ногами топтали на Конной площади, о, господи, это недопустимо!..

— У него лихорадка от раны, и он бредит, — тихо заметил ван-Мойлен и начал шестнадцатую главу:

«Самсон пошел в Газу и увидел там блудницу и лежал у нее. Тогда сказали жителям Газы: — Пришел Самсон. — И они окружили его, и следили за ним всю ночь у городских ворот, и соблюдали всю ночь тишину, и говорили: — Подожди, завтра, когда станет светло, мы его удавим.

Самсон, однако, лежал до полуночи. В полночь он

* Немецкое Philister значит «филистимлянин» и «филистер».

встал, схватил двери городских ворот с обоими их столбами, поднял их вместе с запорами, возложил их на плечи свои и отнес на вершину горы Хеврон.

После того он полюбил одну женщину у ручья Сорек, которую звали Далила. К ней взошли князья филистимлянские и сказали ей:—Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать и усмирить его; а мы дадим тебе за это каждый по тысяче и сто сиклей серебра.

И Далила сказала Самсону: — Милый, скажи мне, в чем твоя великая сила и чем тебя связать, чтобы усмирить тебя?

Самсон сказал ей: — Если свяжут меня семью сырыми тетивами непросохшего льна, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. — Тогда принесли ей князья филистимлянские семь сырых тетив из непросохшего льна, и она связала его ими.

(Между тем, один сидел скрытно у ней в спальне). И она сказала ему: — Филистимляне идут на тебя, Самсон. — Он же разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда ее пережжет огонь; и не узнала сила его».

— О, глупые филистимляне! — воскликнул тут малыш и удовлетворенно улыбнулся, — они ведь и меня хотели посадить в полицейскую караулку...

Но ван-Мойлен читал дальше:

«И сказала Далила Самсону: — Смотри, ты обманул меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать тебя.

Он отвечал ей: — Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди.

Далила взяла новые веревки и связала его ими и сказала ему: — Филистимляне идут на тебя, Самсон! (Между тем, один скрытно сидел в спальне). И сорвал он их с рук своих, как нитки».

— О, глупые филистимляне! — воскликнул малыш в кровати.

«И сказала Далила ему: — Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Милый, скажи же мне, чем бы связать тебя? — Он отвечал ей: — Если ты вплетешь семь прядей моих волос в ткань и укрепишь ее гвоздем.

И сказала она ему: — Филистимляне идут на тебя, Самсон. — Он пробудился от сна своего и вырвал сплетенные пряди вместе с тканью и с гвоздем».

Малыш засмеялся: — Это было в Эшенгеймеровом переулке.

Но ван-Мойлен продолжал:

«И сказала она ему: — Как же ты говоришь «люблю тебя», а сердце твое не со мною? Вот ты обманул меня и не сказал, в чем великая сила твоя.

И как она своими словами тяготила его всякий день и мучила его, то душе его стало тяжело до смерти.

И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: — Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей божий еще от чрева матери моей. Если остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди».

— Какая глупость! — вздохнул малыш.

Ван-Мойлен продолжал:

«Далила, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и созвала князей филистимлянских, сказав им: — Идите теперь, ибо он открыл мне все сердце свое. — И пришли к ней князья филистимлянские и принесли серебро в руках своих.

И усыпила она его на коленях своих, и позвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начала умирять его. И отступила от него сила его.

И она сказала ему: — Филистимляне идут на тебя, Самсон. — Он пробудился от сна своего и сказал: — Пойду как и прежде, и освобожусь, — и не знал, что господь отступил от него.

Филистимляне же взяли его, выкололи ему глаза и привели его к Газу и сковали его двумя медными цепями, и он молот в доме узников».

— О, господи, господи! — тихонько жаловался и плакал не переставая больной.

— Лежи тихо, — сказал ван-Мойлен и продолжал чтение:

«Между тем волосы на голове его начали расти, где было острижено.

Князья же филистимлянские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: — Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши.

Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: — Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас.

И когда развеселилось сердце их, сказали: — Позовите Самсона, пусть он позабавит нас. — И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами.

И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: — Подведи меня, чтоб ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним.

Дом же был полон мужчин и женщин; там были все владельцы филистимлянские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона.

И воззвал Самсон к господу и сказал: — Господи боже! Вспомни меня и укрепи теперь, о, боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих.

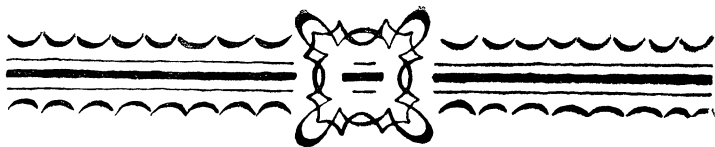
И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них — в один правую рукою своею, а в другой левою.

И сказал Самсон: — Умри душа моя с филистимлянами! — И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых Самсон умертвил при смерти своей, более, чем умертвил он при своей жизни...»

В этом месте глаза маленького Самсона раскрылись вдохновенно широко; он судорожно приподнялся, схва-

тился тощими ручонками за обе колонки в ногах его кровати и стал трясти их, причем гневно и прерывисто шептал: — Да умрет душа моя вместе с филистимлянами! — Но крепкие колонны не шелохнулись. Обессиленный, скорбно улыбающийся малыш упал на подушки, и из раны, повязка которой сдвинулась, хлынул красный поток крови.

•



ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ

НОЧЬ ПЕРВАЯ

В передней Максимилиан застал врача, который уже натягивал черные перчатки.

— Я очень спешу, — торопливо крикнул он на встречу Максимилиану. — Синьора Мария не спала весь день и только сейчас слегка задремала. Мне нечего напоминать вам о том, что следует избегать всякого шума, который мог бы разбудить ее; а когда она проснется, то, бога ради, не давайте ей говорить. Она должна спокойно лежать; ей нельзя двигаться, нельзя шевелиться, нельзя говорить, и лишь духовное оживление полезно для нее. Пожалуйста, рассказывайте ей опять всякий вздор, пусть она спокойно вас слушает.

— Не беспокойтесь, доктор, — с грустной улыбкой возразил Максимилиан. — Из меня уже выработался настоящий болтун, я не даю ей выговорить ни слова. Я буду рассказывать ей фантастические бредни, без конца, сколько угодно... Но долго ли ей еще осталось жить?

— Я очень спешу, — ответил врач и исчез.

Черная Дебора, с ее чутким слухом, по походке узнала вошедшего и тихо открыла ему дверь. По его знаку, она так же тихо удалилась из комнаты, и Максимилиан остался один около своей подруги. Единственная лампа сумеречным светом освещала комнату. Эта лампа с робостью и любопытством бросала временами отсветы на лицо больной женщины, которая лежала, вытянувшись на зеленой шелковой софе, одетая в белую кисею, и тихо спала.

Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные формы, которые скорее открывались, чем прикрывались легкой одеждою, и каждый раз, когда лампа бросала луч света на бледное лицо, сердце его начинало биться сильнее. — Боже! — прошептал он про себя, — что это? Какое воспоминание оживает во мне? Да, теперь я знаю. Эта белая фигура на зеленом фоне, да, теперь...

В эту минуту больная проснулась, и, точно из глубины сновидения, поднялись на друга ее мягкие темносиние глаза с вопросом, с мольбою... — О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — спросила она тем зловеще-мягким голосом, которым говорят чахоточные и в котором как бы слышишь лепет ребенка, щебетанье птицы и последние хрипы умирающего.

— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — еще раз повторила она и вдруг поднялась таким резким движением, что длинные локоны, как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ей голову.

— Ради бога! — воскликнул Максимилиан, бережно укладывая ее опять на софу, — лежите спокойно, не говорите; я все скажу вам, все, что я думаю, все, что чувствую, и даже то, чего сам не знаю!

— На самом деле, — продолжал он, — я не могу вам в точности сказать, о чем я сейчас думал и что чувствовал. Картины детства туманной вереницей пронеслись в голове: я вспоминал замок моей матери, запущенный сад вокруг него, прекрасную мраморную статую, лежавшую там в зеленой траве... Я упомянул о «замке моей матери»; но, ради бога, не представляйте себе при этом ничего роскошного и великолепного! Я просто привык так говорить. Отец мой вкладывал какое-то особенное выражение в слово «замок» и улыбался при этом всегда так странно. Значение этой улыбки я понял лишь впоследствии, когда я, мальчугом лет двенадцати, поехал с матерью к замку. Это было мое первое путешествие. Целый день мы ехали по густому лесу, и жуткий мрак его оставил во мне

незабываемое впечатление. Лишь под вечер мы остановились перед длинным шлагбаумом, который отделял нас от широкой поляны. Нам пришлось ждать почти полчаса, пока из ближайшей землянки не вышел малый, который отодвинул барьер и впустил нас. Я назвал его «малым», потому что старая Марта продолжала так называть своего сорокалетнего племянника. Последний для того, чтобы должным образом встретить благородных господ, напялил на себя старую ливрею своего покойного дяди, и так как из нее необходимо было предварительно выколотить пыль, ему пришлось заставить нас так долго ждать. Если бы повременить еще, то он, вероятно, надел бы и чулки; но его длинные голые красные ноги мало отделялись от яркопунцовой ливреи. Были ли на нем еще и панталоны, я не помню. Наш слуга Иоганн, который тоже часто слышал о «замке», сделал очень удивленное лицо, когда малый подвел его к маленькой покосившейся постройке, где жил покойный барин. Но Иоганн совершенно растерялся, когда мать приказала ему внести туда постели. Как мог он думать, что в замке не окажется постелей! И приказание матери захватить постели для нас он или вовсе не слышал или пропустил мимо ушей, считая это излишним беспокойством.

Маленький одноэтажный домик, который в свои лучшие времена насчитывал не более пяти жилых комнат, сейчас представлял унылую картину тленности жизни. Изломанная мебель, изорванные обои, ни одного целого оконного стекла, кое-где оторванные половицы, всюду безобразные следы озорного хозяйничанья солдат. «Солдатский постой у нас всегда очень веселился!» — сказал малый с идиотской улыбкой. Но мать сделала нам знак, чтобы мы оставили ее одну, и, в то время как малый занялся с Иоганном, я отправился осматривать сад. Сад тоже имел безотрадный вид полного запустения. Большие деревья частью омертвели и стояли искалеченные, частью были сломаны, и ползучие растения ехидно подымались над павшими стволами. Лишь местами разросшиеся тиссовые кусты намечали заглох-

шие дорожки. Кое-где стояли статуи, почти все без головы или в лучшем случае без носа. Я вспоминаю Диану, у которой нижняя часть тела самым смешным образом обросла темным плющом; вспоминаю также богиню изобилия, у которой из ее рога пышно выбивались дурно пахнущие сорные травы. Лишь одна только статуя, бог знает как, уцелела от злобы людей и времени; правда, она была сброшена со своего пьедестала в высокую траву, но здесь она лежала нетронутая, эта мраморная богиня с прекрасными, чистыми чертами лица, и, как греческое откровение, выделялись в высокой траве строгие формы благородной груди. Я почувствовал почти страх, когда увидел ее; эта статуя внушала мне странный жгучий трепет, и тайный стыд не позволял мне долго наслаждаться созерцанием ее красоты.

Когда я вновь вернулся к матери, она стояла у окна, погруженная в мысли; голова ее опиралась на правую руку, и слезы безудержно текли у нее по щекам. Никогда я до этих пор не видел, чтобы она так плакала. Она обняла меня с порывистой нежностью и стала извиняться за то, что я, по небрежности Иоганна, не буду иметь порядочной постели. «Старая Марта, — сказала она, — тяжело больна и потому не может тебе, милое дитя, уступить свою постель. Но Иоганн возьмет подушки из кареты и устроит так, чтобы ты мог на них спать, и пусть он даст тебе также свой плащ вместо одеяла. Я сама буду спать здесь на соломе; это спальня моего покойного отца; когда-то здесь все имело лучший вид. Оставь меня одну!» — и слезы еще обильнее полились у нее из глаз.

Не знаю отчего, от непривычного ли ложа или душевного смятения, я не мог уснуть. Сквозь разбитое окно свободно вливался лунный свет, и мне казалось, что он манит меня туда, в светлую летнюю ночь. Я ворочался на своей постели с боку на бок; я закрывал глаза и опять нетерпеливо открывал их и, не переставая, неотступно думал о прекрасной мраморной статуе, которую я видел лежащей в траве. Я не мог

объяснить себе стыдливую робость, охватившую меня при взгляде на нее; я досадовал на себя за это ребяческое чувство, и «завтра, — тихо сказал я себе, — завтра я поцелую тебя, прекрасное мраморное лицо, поцелую те прекрасные уголки рта, где губы заканчиваются восхитительными ямочками!» Нетерпение, подобного которому я никогда не испытывал, охватило все мое существо; я не в силах был дольше сопротивляться странному влечению и, наконец, вскочив с постели, я воскликнул с задорной отвагой: «Ну, что ж! Я поцелую тебя еще сегодня, прекрасная статуя!» Тихо, чтобы мать не услышала моих шагов, я вышел из дому, и это не представляло никакой трудности, потому что подъезд дома хотя и был еще украшен величественным гербом, но не имел дверей; затем я стал поспешно пробираться сквозь чащу запущенного сада. Не слышно было ни звука; безмолвно и строго все покоилось в лунном свете. Тени деревьев лежали на земле, точно пригвожденные. Все так же недвижимо лежала в зеленой траве прекрасная богиня; но не каменная смерть, а тихий сон, казалось, сковал ее дивные члены, и когда я приблизился к ней, мне стало страшно, что малейшим шорохом я могу пробудить ее от дремоты. Я затаил дыхание, наклоняясь над нею, чтобы разглядеть прелестные черты ее лица; жуткий страх отталкивал меня от нее, и в то же время жгучее мальчишеское желание влекло меня к ней; сердце мое билось, как будто я готовился к убийству, и, наконец, я поцеловал прекрасную богиню с таким огнем, с такою нежностью, с таким отчаянием, как я никогда больше не целовал в своей жизни. И никогда после я не мог забыть то жуткое и сладкое чувство, которое хлынуло в мою душу, когда мой рот ощутил блаженный холод ее мраморных губ... И вот, Мария, когда я сейчас стоял перед вами и смотрел на вас, пока вы спали, вся в белом на зеленой софе, — вы напомнили мне ту белую мраморную богиню, которая лежала в зеленой траве. Если бы вы не проснулись, мои губы не могли бы дольше противиться искушению...

— Макс! Макс! — крикнула женщина, и крик ее шел как бы из глубины ее сердца. — Это ужасно! Вы знаете, что поцелуй ваших губ...

— О, замолчите! Я знаю, что это для вас было бы ужасно! Только не смотрите на меня с такой мольбой. Я понимаю ваши чувства, хотя истинная причина их была скрыта от меня. Я никогда не смел прикоснуться своими губами к вашим...

Но Мария не дала ему кончить, она схватила его руку, покрыла ее горячими поцелуями и сказала затем, улыбаясь: — Пожалуйста, прошу вас, рассказывайте мне еще о ваших любовных приключениях. Как долго продолжалась ваша любовь к мраморной красавице, которую вы поцеловали в парке вашей матери?

— Мы уехали на другой день, — отвечал Максимилиан, — и я никогда больше не видел этого прелестного изваяния, но почти еще целых четыре года сердце мое было занято им. С этого времени в моей душе развилась особенная страсть к мраморным статуям, и не далее как сегодня утром я испытал их магическую силу. Я возвращался из Лауренцианы, библиотеки Медичи, и забрел, не знаю как, в капеллу, где тихо покоится этот великолепнейший род Италии в усыпальнице из драгоценных камней. Целый час оставался я там, погруженный в созерцание мраморного изваяния женщины, мощные линии тела которой носят на себе печать сильного и смелого резца Микель-Анджело, в то время как весь ее облик овеян той воздушной нежностью, которая обычно несвойственна именно этому мастеру. В этом мраморе заколдовано все царство грез с его тихими очарованиями; кротким покоем дышат прекрасные формы статуи, и словно умиротворяющий лунный свет струится по ее жилам... Это — «Ночь» Микель-Анджело Буонаротти. О, как охотно заснул бы я вечным сном в объятиях этой «Ночи»!

— Женские образы, написанные на полотне, — продолжал Максимилиан после небольшого молчания, — никогда так сильно не увлекали меня, как статуи. Лишь один раз я был влюблен в картину. Это была

мадонна поразительной красоты, с которой я познакомился в одной церкви в Кельне на Рейне. Я сделался тогда ревностным посетителем церкви и весь погрузился в мистику католичества. В ту пору я, подобно испанскому рыцарю, каждый день готов был бы биться не на жизнь, а на смерть в честь непорочного зачатия Марии, королевы ангелов, прекраснейшей дамы неба и земли! Все святое семейство пользовалось тогда моими глубокими симпатиями; и с особенной сердечностью я снимал шляпу всякий раз, когда мне приходилось проходить мимо изображения святого Иосифа. Но это состояние длилось не очень долго, и я довольно бесцеремонно бросил мать божью, когда познакомился в одной античной галерее с греческой нимфой, которая долго продержала меня затем в своих мраморных оковах.

— И вы любили всегда только женщин, высеченных из камня или писанных на полотне? — с усмешкой спросила Мария.

— Нет, я любил также мертвых женщин, — ответил Максимилиан, лицо которого стало опять очень серьезным. Он не заметил, что при этих словах Мария испуганно вздрогнула, и спокойно продолжал:

— Да, как это ни странно, однажды я влюбился в девушку через семь лет после того, как она умерла. Когда я познакомился с маленькой Вери, она мне чрезвычайно понравилась. Целые три дня я всецело был поглощен этой юной особой; я находил в высшей степени забавным и милым все, что она делала; меня восхищали ее манера говорить, все проявления ее обаятельно-стрannого существа; однако чрезвычайно нежных чувств я при этом не испытывал. Я не был особенно глубоко огорчен, когда, спустя несколько месяцев, внезапно пришло известие, что она неожиданно умерла от нервной горячки. Скоро я совершенно забыл ее и убежден, что в течение целого ряда лет ни разу о ней не вспомнил. Прошло целых семь лет. Однажды я приехал в Потсдам, чтобы провести прекрасное летнее время, наслаждаясь полным, ничем не нарушаемым оди-

ночеством. Я не имел там дела ни с одним человеком, не общался ни с кем решительно, и все мои знакомства ограничивались статуями, находящимися в саду Сан-Суси, и вот тут-то в моей памяти вдруг встали какие-то черты лица, какая-то на редкость привлекательная манера говорить и двигаться; но, несмотря на все свои старания, я не мог вспомнить, какому именно лицу все это принадлежит. Нет ничего мучительнее, чем такое раскапывание старых воспоминаний, и поэтому я был как-то радостно удивлен, когда по простевии нескольких дней вдруг вспомнил маленькую Вери и сразу сообразил, что это ее милый забытый образ ожил во мне и лишал меня покоя. Да, я обрадовался этому открытию, как человек, который внезапно нашел своего близкого друга; поблекшие краски мало-по-малу оживились, и вот прелестная крошка, как живая, стояла передо мною, улыбающаяся, кокетливо-капризная, остроумная и еще более очаровательная, чем когда-либо прежде. С этих пор я уж не мог больше расстаться с этим дорогим видением; оно заполнило всю мою душу; где бы я ни находился, Вери стояла или шла рядом со мною, говорила со мною, смеялась, но смеялась невинно и без особенной нежности. Я, однако, все более и более очаровывался ею, и с каждым днем это видение приобретало для меня все большую и большую реальность. Легко вызвать духов, но трудно снова отослать их в мрачное ничто; они смотрят на нас тогда таким умоляющим взглядом, и наше собственное сердце так страстно вступает за них... Я уж не в силах был бороться, я влюбился в маленькую Вери через семь лет после того, как она умерла. Шесть месяцев прожил я таким образом в Потсдаме, целиком погруженный в эту любовь. Еще старательнее, чем раньше, я избегал всяких столкновений с внешним миром, и если на улице кто-нибудь проходил мимо меня слишком близко, я испытывал чувство неприятного стеснения. Я боялся всяких встреч с людьми, — это был страх, который, может быть, ощущают души умерших, скитаюсь по ночам; ведь про них говорят, что они при встрече

с живым человеком пугаются, как пугаются живые люди при встрече с привидением. Но случайно как раз в это время в Потсдам явился путешественник, от общения с которым я не мог уклониться, — а именно мой брат. Видя его, слушая его рассказы о текущих событиях, я словно пробудился от глубокого сна: я ужаснулся, когда понял, в каком страшном одиночестве я прожил столько времени. В этом состоянии я не замечал даже, как сменялись времена года, и с удивлением вдруг увидел, что деревья уже совершенно голые и покрыты осенней изморозью. Я тотчас оставил Потсдам и маленькую Веру и в другом городе, где меня ожидали серьезные дела, очень скоро, благодаря ряду трудных обстоятельств и отношений, вновь окунулся в мучительную, суровую действительность.

— Милосердное небо! — продолжал Максимилиан, и горькая усмешка мелькнула на его губах, — милосердное небо! Как мучили меня живые женщины, с которыми я тогда неизбежно должен был встречаться; как нежно мучили они меня капризами, вспышками ревности, непрерывным напряжением нервов! На скольких балах я должен был вертеться с ними; в какие только сплетни не был замешан! Какое безудержное тщеславие, какое упоение ложью, какое лобзающее предательство, какие ядовитые цветы! Эти дамы сумели отравить мне всякое наслаждение, всякую любовь, и на некоторое время я превратился в ненавистника женщин и проклинал весь их пол. Со мною случилось почти то же самое, что с одним французским офицером. Он во время русского похода с величайшим трудом выбрался невредимым из льдов Березины; там у него родилась такая антипатия ко всему замороженному, что он с отвращением отказывался даже от самых сладких и вкусных сортов мороженого от Тортони. Да, после этой Березины любви, пережитой тогда мною, я на некоторое время потерял вкус к самым прелестным дамам, к женщинам, похожим на ангелов, к девушкам, сладким, как ванильный шербет.

— Пожалуйста, не браните женщин! — воскликнула

Мария, — все это избитые фразы мужчин. В конце концов, для того, чтобы быть счастливыми, вы все же нуждаетесь в женщинах.

— О, — вздохнул Максимилиан, — разумеется, это правильно; но, к сожалению, женщины умеют нас делать счастливыми лишь одним способом, в то время как у них имеются тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.

— Дорогой друг, — возразила Мария, подавив слегка насмешливую улыбку, — я говорю о гармонии двух согласно настроенных душ. Разве вы никогда не испытывали этого счастья? Но я вижу необычную краску на ваших щеках... Говорите... Макс?

— Это правда, Мария, я чувствую себя сконфуженным, почти как мальчик; ибо я должен вам признаться, что знал счастливую любовь, что она некогда доставила мне бесконечное блаженство! Воспоминание о ней и теперь еще не окончательно угасло во мне, и под его свежую сень и теперь еще часто спасается моя душа, когда жгучая пыль и полуденный зной жизни становятся для меня невыносимыми. Я не в состоянии, однако, отчетливо изобразить вам, что представляла собой эта моя возлюбленная. Природа ее была настолько эфирна, что лишь во сне могла открыться мне. Я надеюсь, Мария, что вы не разделяете банальных предрассудков против снов; эти ночные видения поистине не менее реальны, чем те грубые явления дня, которые мы можем ощупать руками и которые так часто грязнят наши руки. Да, я во сне видел это дорогое существо, давшее мне величайшее счастье в здешнем мире. О ее внешности я могу сказать лишь немного. Я не в состоянии с точностью описать черты ее лица: это было такое лицо, которого я не видел никогда раньше и после ни разу в жизни не встретил. Помню лишь, что оно не было ни белым, ни розовым, но совершенно однотонным, бледножелтым, с мягким розоватым оттенком и прозрачным, как хрусталь. Это лицо было прекрасно не строгой соразмерностью своих линий, не интересной живостью выражения; нет, это было как бы олицетворение

чарующей, восхитительной, почти пугающей правдивости. Это лицо было полно сознательной любви, изящной доброты, это была скорее душа, чем лицо, и потому я никогда не мог вполне ясно представить себе его внешний облик. Глаза были нежны, как цветы. Губы несколько бледны, но прелестно изогнуты. На ней был шелковый пенюар василькового цвета; но это и было все ее одеяние; шея и ноги были обнажены, и сквозь мягкую тонкую одежду просвечивала порой, как бы украдкой, грациозная нежность членов. Слова, с которыми мы обращались друг к другу, я теперь не могу передать с полной точностью; я знаю только, что мы были помолвлены и что мы нежно ворковали, весело и счастливо, откровенно и доверчиво, как жених с невестой, почти как брат с сестрой. Иногда мы уже больше ничего не говорили, а только смотрели друг на друга, и в этом блаженном созерцании протекали целые вечности... Что меня пробудило, я тоже не могу теперь сказать, но я еще долго жил под обаянием этого счастья любви; еще долго я был словно опьянен несказанным восторгом; блаженное томление поднималось со дна моей души; и незнакомая мне дотоле радость как бы изливалась на все мои ощущения; я оставался ясным и светлым, несмотря на то, что моя возлюбленная никогда больше не появлялась мне во сне. Да и к чему? Не пережил ли я в одном ее взгляде целые вечности? Да и она слишком хорошо меня понимала и поэтому знала, что я не люблю повторений.

— В самом деле, — воскликнула Мария, — вы несомненно *un homme à bonne fortune* *... Но скажите: а кто была мадемуазель Лоранс? Мраморная статуя или картина, мертвая или сновидение?

— Пожалуй, все это вместе, — ответил Максимилиан совершенно серьезно.

— Я так и думала, дорогой друг, что эта ваша возлюбленная была существом весьма сомнительного происхождения. А когда вы расскажете мне ее историю?

* человек, пользующийся успехом

— Завтра. — Это история длинная, а сегодня я устал. Я только что из оперы, и в моих ушах слишком много музыки.

— Вы часто бываете теперь в опере; я думаю, Макс, вы ходите туда больше для того, чтобы смотреть, чем для того, чтобы слушать!

— Вы не ошибаетесь, Мария, я, действительно, хожу в оперу для того, чтобы смотреть на лица прекрасных итальянок. Бесспорно, они достаточно хороши и вне театра; идеальность их черт могла бы послужить для историка прекрасным доказательством влияния изобразительных искусств на внешность и телосложение итальянского народа. Природа берет здесь у художников тот капитал, который она им некогда ссудила, и, поистине, на него наросли великолепные проценты. Природа, которая некогда дала художникам образцы, теперь в свою очередь подражает тем шедеврам, которые созданы были с ее помощью. Чувство прекрасного стало достоянием всего народа, и как некогда тело на дух, так влияет теперь дух на тело. Обожание прекрасных мадонн, тех дивных украшающих храмы образов, которые запечатлеваются в душе жениха, в то время как невеста отдает пыл своего сердца какому-нибудь прекрасному святому, — не остается бесплодным. Такое сродство душ породило здесь людей еще более прекрасных, чем та благодатная почва, на которой они живут, чем солнечное небо, которое окружает их как бы золотой рамкой сияния. Мужчины никогда особенно не интересовали меня, за исключением тех из них, которые изваяны или изображены на полотне, и поэтому я предоставляю вам, Мария, приходить в экстаз при виде красивых, гибких итальянцев с их жгуче-черными бакенбардами, смелыми, благородными носами и мягкими, умными глазами. Говорят, что самые красивые мужчины — это ломбардцы. Я никогда не исследовал этого вопроса, зато о ломбардских женщинах я размышлял достаточно серьезно; и они, как я мог убедиться, вполне заслуживают свою славу. Впрочем, должно быть, уже в средние века они были

достаточно хороши собой. Не даром же рассказывают про Франциска I, что слух о красоте миланок был тем тайным побуждением, которое заставило его предпринять итальянский поход; королю-рыцарю было, конечно, интересно узнать, действительно ли так прекрасны его духовные сестры, родственницы его воспитанников, как об этом гласила молва... Бедняга! В Павии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!

Но как прекрасны становятся эти итальянки, когда музыка освещает их лица. Я говорю освещает, потому что, как я заметил в театре, действие музыки на лица красивых женщин удивительно напоминает те эффекты света и тени, которые поражают нас, когда мы при свете факелов рассматриваем статуи. Эти мраморные изображения открывают нам тогда с ужасающей искренностью свою внутреннюю душу, свои страшные немые тайны. Совершенно таким же образом разворачивается перед нашими глазами вся жизнь прекрасных итальянок, когда они слушают оперу; мелодии, сменяясь, вызывают тогда у них в душе вереницу чувств, воспоминаний, желаний и всплеск досады, которые моментально отражаются в мимике лица, в том, как они краснеют, бледнеют, в выражении их глаз. Кто умеет читать, тот прочтет тогда на их прекрасных лицах очень много приятных и интересных вещей: рассказы, не менее замечательные, чем новеллы Боккаччо, чувства, не менее нежные, чем сонеты Петрарки, капризы, причудливые, как октавы Ариосто, порою также ужасное вероломство и страшные злодейства, не менее поэтичные, чем ад великого Данте... Ради этого стоит понаблюдать за ложами. Если бы только мужчины не выражали в это время своего восторга с таким ужасным шумом! Этот слишком необузданный рев и грохот итальянского театра временами утомляет меня. Но как же быть? Музыка — душа этих людей, их жизнь, их национальное дело. Конечно, и в других странах есть музыканты, не уступающие величайшим итальянским знаменитостям; но там нет музыкального народа.



ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ
С литографии по рисунку Феози

Здесь же, в Италии, музыка не воплощается в отдельных личностях: она живет в народе; музыка стала народом. У нас, на севере, это совсем иначе: у нас музыка воплощается только в человеке, и его зовут Моцартом или Мейербером; и к тому же, если вникнуть как следует, то окажется, что в самом лучшем из того, что дают северные музыканты, мы найдем свет итальянского солнца, аромат апельсиновых рощ, и произведения эти в меньшей степени принадлежат Германии, чем прекрасной Италии — родине музыки. Да, Италия останется навсегда родиной музыки, если даже ее великие маэстро рано уходят в могилу или умолкают, если даже умирает Беллини и молчит Россини.

— В самом деле, — заметила Мария, — Россини хранит строгое молчание; если не ошибаюсь, он молчит вот уже десять лет.

— Быть может, это не более, чем шутка с его стороны, — ответил Максимилиан. — Он хотел показать, что данное ему прозвище «Лебедь из Пезаро» совсем к нему не подходит. Лебеди поют в конце своей жизни, а Россини перестал петь в середине жизни. И мне кажется, что он поступил правильно и именно этим доказал, что он настоящий гений. Художник, обладающий только талантом, до конца жизни сохраняет стремление упражнять этот талант; его подхлестывает честолюбие; он чувствует, что непрерывно совершенствуется, и не может успокоиться, пока не достигнет высшего доступного ему совершенства. Гений уже совершил высшее: он доволен, он презирает мир с его мелким честолюбием и отправляется домой в Стретфорд *, как Вильям Шекспир, или, смеясь и отпуская остроты, прогуливается, как Иоахим Россини, по Boulevard des Italiens в Париже. Если гений обладает неплохим телосложением, то он может прожить еще довольно много времени после того, как создал свои шедевры, или, как обыкновенно выражаются, после того, как выполнил свою миссию. Распространенное

* Стретфорд — родина Шекспира.

мнение, что гений должен рано умереть, — по-моему, предрассудок; кажется, период от тридцати до тридцати четырех лет считается самым опасным временем для гения. Как часто дразнил я этим бедного Беллини и, шутя, пророчил ему, что он в качестве гения должен скоро умереть, так как для него наступает уже опасный возраст. Поразительно то, что, несмотря на мой шутливый тон, его серьезно беспокоили эти пророчества; он называл меня своим *jettatore* * и прилагал все старания, чтобы отвести дурной глаз... Он страстно хотел жить, он чувствовал какое-то жгучее отвращение к смерти, боялся ее, как боится ребенок спать в темной комнате... Это был добрый, милый ребенок, порою немного своенравный; но стоило только напомнить ему о предстоящей близкой смерти, и он сразу становился кротким, послушным и спешил поднятыми двумя пальцами сотворить знак заклинания... Бедный Беллини!

— Вы, значит, лично его знали? Он был хорош собою?

— Он не был уродлив. Вы видите, и мы, мужчины, не в состоянии ответить утвердительно, когда нам задают подобного рода вопросы о человеке, принадлежащем к нашему полу. У него была высокая стройная фигура с изящными, я сказал бы, кокетливыми движениями; всегда он был *à quatre épingles* **; правильное, продолговатое лицо, бледнорозовое; светлобелокурые, почти золотистые волосы, в мелких завитках; высокий, очень высокий благородный лоб; прямой нос; бледно голубые глаза; красиво очерченный рот; круглый подбородок. Но в чертах его лица было что-то неопределенное, бесхарактерное, что-то напоминающее молоко, и на этом молочном лице блуждало порой кисло-сладкое выражение печали. Это выражение печали на лице Беллини заменяло собой недостававшую его лицу одухотворенность; но в его печали не было глубины: она блуждала в его взоре без поэзии, дро-

* человек с «дурным глазом», способный «сглазить»

** аккуратно, щегольски одет

жала вокруг его губ без страсти. Казалось, что всей своей фигурой юный маэстро стремится олицетворить эту плоскую, вялую печаль. Его волосы были завиты в такие грустно-мечтательные локоны, его платье с такой томностью облегало нежное тело, он носил свою камышевую тросточку так идилично, что напоминал мне всегда юных пастушков из наших пасторалей, которые жеманно выступают с посошками, разукрашенными лентами, в светлых курточках и штанишках. И походка его была так девственна, так элегична, так эфирна, словно весь этот человек был только вздыхателем *en escaquin* *. Он имел большой успех у женщин; но сомневаюсь, чтобы ему когда-либо удалось внушить сильную страсть. Для меня лично в его внешности было что-то непреодолимо комичное; причина, быть может, заключалась в его французском языке. Несмотря на то, что Беллини уже несколько лет жил во Франции, он говорил по-французски так плохо, как говорят, быть может, только в одной Англии. Строго говоря, его французскую речь отнюдь нельзя было характеризовать словом «плохо»; плохо, это в данном случае — еще чересчур хорошо. Это был ужас, кровосмешение, светопреставление. Да, когда приходилось бывать с ним вместе в обществе и он, как палач, принимался колесовать несчастные французские слова и невозмутимо выкладывать свои колоссальные *soq à l'âne* **, то казалось порой, что вот-вот с громом рушится мир... Гробовая тишина воцарялась тогда в зале, и краски, то бледные как мел, то багровые как киноварь, придавали всем лицам выражение смертельного ужаса; женщины не знали, что им делать, упасть ли в обморок или спастись бегством; мужчины смущенно поглядывали на свои панталоны, как бы желая убедиться, действительно ли эта часть костюма на них надета, и хуже всего то, что этот ужас вызывал в то же время судорожный смех, от которого почти невозможно

* в бальных башмаках

** бессмыслицу, чепуху, вздор

было удержаться. Поэтому, попадая вместе с Беллини в общество, приходилось всегда ощущать некоторую тревогу; в его близости было какое-то жуткое очарование, которое одновременно и отталкивало и притягивало к нему. Порой его произвольные каламбуры только смешили, — это была просто какая-то забавная чепуха, напоминавшая замок его соотечественника, принца из Пеллагонии. Гете в своем «Путешествии по Италии» характеризует этот замок как музей вычурно-уродливых предметов, беспорядочно натасканных отовсюду безобразных вещей. Так как Беллини во всех подобных случаях всегда был совершенно уверен, что сказал нечто вполне невинное и чрезвычайно серьезное, то лицо его представляло самый безумный контраст с его словами. И в эти минуты выступало особенно резко то, что мне не нравилось в лице Беллини; но то, что мне в нем не нравилось, отнюдь нельзя было назвать недостатком, и дамы, конечно, вовсе не склонны были разделять мое отрицательное впечатление. Лицо Беллини, — как и весь его облик, — имело ту физическую свежесть, то цветущее здоровье, тот нежный румянец, которые производят такое неприятное впечатление на меня, предпочитающего мертвенное, мраморное. Лишь позднее, уже после продолжительного знакомства с Беллини, я почувствовал к нему некоторую симпатию. Это случилось тогда, когда я заметил, что его характер полон благородства и доброты. Душа его, несомненно, осталась чистой и незапятнанной всеми отвратительными соприкосновениями с жизнью. Ему были присущи также и то наивное добродушие, та детскость, которые характерны для гениальных людей, хотя и не для всех открываются эти их качества.

— Да, я припоминаю, — продолжал Максимилиан и опустился в кресло, около которого он стоял до этого, облокотившись на его спинку, — да, я припоминаю минуту, когда Беллини представился мне в таком привлекательном свете, что мне было радостно смотреть на него, и тогда-то я решил ближе сойтись с ним. К со-

жалению, это было последним нашим свиданием здесь, на земле. Дело происходило вечером, в доме одной великосветской дамы, у которой была самая маленькая ножка во всем Париже; мы только что встали из-за стола; все были очень веселы; на фортепиано звучали прекраснейшие мелодии... Я как сейчас вижу его — этого доброго Беллини: устав от бесчисленных сумасшедших беллинизмов, которые он нагородил, он присел на кресло... Кресло было очень низенькое, почти как скамеечка, так что Беллини очутился как бы у ног одной красавицы, которая полулежала на софе и с прелестным злорадством смотрела на него сверху вниз, в то время как он из кожи лез, чтобы занять ее на французском диалекте. Он поминутно должен был комментировать себя на своем сицилийском жаргоне, доказывая, что сказал вовсе не глупость, а наоборот, самый утонченный комплимент. Мне кажется, что прекрасная дама вовсе даже не слушала фраз Беллини; она взяла у него из рук его камышовую тросточку, жестикулируя которой он временами пытался прийти на помощь своей слабой риторике, и воспользовалась ею для того, чтобы совершенно спокойно разрушать изящную прическу на висках юного маэстро. К этому шаловливому занятию относилась, по всей вероятности, улыбка, придававшая ее чертам такое выражение, какого я никогда не видел на лицах живых людей. Лицо это никогда не изгладится из моей памяти! Это было одно из тех лиц, которые как бы вовсе не принадлежат грубой действительности: они точно из царства поэтических грез. Контуры лица напоминали да-Винчи; это был благородный овал с наивными ямочками на щеках и с сентиментально заостренным подбородком ломбардской школы. Цвет лица отличался скорее римской нежностью: он был матовый, жемчужный, с характерной томной бледностью — *morbidezza*. Одним словом, это было лицо, встречающееся лишь на старых итальянских портретах; оно напоминало изображения тех знатных дам, в которых были влюблены итальянские художники шестнадцатого века, когда создавали

свои шедевры. Об этих прекрасных дамах мечтали поэты того времени, когда, слагая свои песни, становились бессмертными; о них думали французские и немецкие герои, опоясывая себя мечом и отправляясь совершать подвиги по ту сторону Альп... Да, это было одно из таких лиц, и улыбка, полная самого очаровательного злорадства и изящного лукавства, оживляла это лицо в то время, как красавица кончиком камышовой трости разрушала сооружение из белокурых локонов на голове доброго Беллини. В это мгновение я увидел Беллини словно преображенным от прикосновения волшебной палочки; я сразу почувствовал в нем что-то дружественное, что-то родственное моему сердцу. На лице его было сияние, как бы отсвет улыбки красавицы. Быть может, это был момент высшего расцвета его жизни! Я никогда его не забуду... Две недели спустя я узнал из газет, что Италия потеряла одного из самых славных своих сынов!

Странно! В то же время появилось известие о смерти Паганини. В смерти этого последнего я не сомневался ни минуты: старый, увядший Паганини всегда был похож на умирающего; но смерть юного, розового Беллини казалась мне невероятной, и, однако, сообщение о смерти первого оказалось лишь газетной уткой — Паганини и по сие время жив и здоровствует в Генуе, а Беллини лежит в могиле в Париже!

— Вы любите Паганини? — спросила Мария.

— Этот человек, — ответил Максимилиан, — является украшением своей родины и бесспорно заслуживает самого лестного упоминания, когда перечисляются музыкальные знаменитости Италии.

— Я никогда его не видала, — заметила Мария. — Но если верить молве, его внешность не вполне удовлетворяет эстетическому чувству! Я знаю его портреты...

— Которые все на него не похожи, — вставил Максимилиан; — они изображают его или хуже или лучше, чем он есть на самом деле, но никогда не передают его действительного облика. На мой взгляд, одному только

единственному человеку удалось передать на бумаге подлинную физиономию Паганини; это — глухой художник, по имени Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими взмахами карандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка. «Дьявол водил моей рукой», — сказал мне глухой художник и при этом таинственно захихикал, иронически-добродушно покачивая головой; этими жестами он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот художник был удивительный чудак; несмотря на свою глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что, когда он находился достаточно близко от оркестра, он умел читать звуки на лицах музыкантов и в состоянии был по движению пальцев судить о более или менее удачном выполнении; он был даже оперным критиком в одном почтенном гамбургском журнале. Впрочем, чему же тут удивляться? Движения музыкантов — это видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки — только невидимые знаки, в которых они слышат краски и образы.

— И вы один из таких людей! — воскликнула Мария.

— Мне жаль, что у меня нет больше наброска, сделанного Лизером; он дал бы вам некоторое представление о наружности Паганини. Только резко черными, беглыми штрихами могли быть схвачены фантастические черты этого лица, которые кажутся принадлежащими скорее чадному царству теней, чем солнечному миру жизни. «Поистине, сам дьявол водил моей рукой», — уверял меня глухой художник, когда мы вместе с ним стояли в Альстерском павильоне в Гамбурге, где Паганини должен был дать свой первый концерт. «Да, мой друг, — продолжал он, — справедливо все про него говорят, что он проданся чорту, продал ему и душу и тело для того, чтобы стать лучшим скрипачом, накопить миллионы денег и, прежде всего, для того, чтобы бежать с той проклятой галеры, где он уже томился много лет. Дело в том, друг мой, что, когда он был капельмейстером

в Лукке, он влюбился в одну театральную примадонну, приревновал ее к какому-то аббатику, — быть может, был рогоносцем; затем, по доброму итальянскому обычаю, он заколол свою неверную *amata* *, попал в Геную на галеры и, как я уже сказал, продал себя, наконец, чорту для того, чтобы стать лучшим в мире скрипачом и иметь возможность наложить сегодня вечером на каждого из нас контрибуцию в два талера... Но смотрите-ка! Да воскреснет бог и расточатся врази его! Вот по той аллее идет он сам в сопровождении своего двусмысленного *famulo* **!»

И в самом деле, это был сам Паганини. На нем был темносерый сюртук, спускавшийся до пят, благодаря чему фигура его казалась очень высокой. Длинные черные волосы спутанными кудрями падали на его плечи и, словно темной рамой, окружали его бледное мертвенное лицо, на котором горе, гений и ад оставили свои неизгладимые следы. Рядом с ним шел, приплясывая, низенький, благодушный, до смешного прозаический человек: у него было розовое морщинистое лицо и светлосерый сюртучок со стальными пуговицами; он рассыпал во все стороны невыносимо приторные приветствия и в то же время с озабоченно-боязливым видом искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, что видишь перед собой картину Рецша, изображающую Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига. Глухой художник в своем обычном шутовском стиле отпускал замечания по поводу обеих фигур и обратил мое особенное внимание на размеренную, крупную походку Паганини. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что он все еще носит железные кандалы на ногах? У него навсегда сохранилась эта походка. Взгляните также, как презрительно и иронически он посматривает порой на своего спутника, когда тот слишком надоедает ему своими прозаическими во-

* возлюбленную

** наперсника

просами; но он не может обойтись без него; кровавый договор связывает его с этим слугой, который есть не кто иной, как сам сатана. Несведущая публика, правда, думает, что этот его спутник — сочинитель комедий и анекдотов, Гаррис из Ганновера, которого Паганини взял с собою в турне для заведывания денежной стороной своих концертов. Публика не знает, что чорт позаимствовал у господина Георга Гарриса только его внешность, тогда как бедная душа этого бедного человека, вместе с прочим хламом, пока что заперта в сундуке в Ганновере. Чорт возвратит ей телесную оболочку, когда предпочтет сопровождать маэстро Паганини в каком-либо другом, более достойном воплощении — например, в виде черного пуделя».

Если уж в яркий полдень, под зелеными деревьями гамбургского Юнгферштега, Паганини произвел на меня впечатление чего-то призрачного, фантастического, то как же поражала его зловеющая, странная наружность вечером на концерте! Концерт давался в гамбургском Театре комедии, и публика, любящая искусство, уже заранее набилась туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал себе местечко около оркестра. Несмотря на то, что это был почтовый день, в первых ложах присутствовали все просвещенные представители торгового мира, весь Олимп банкиров и прочих миллионеров — богов кофе и сахара. Рядом с ними восседали их толстые богини-супруги, Юноны с Wandgahm и Афродиты с Dreckswall. Молитвенная тишина царствовала во всем зале. Все глаза были устремлены на сцену; все уши насторожились. Мой сосед, старый меховщик, вынул грязную вату из своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде появилась темная фигура, которая, казалось, вышла только что из преисподней. Это был Паганини в своем черном парадном облачении: на нем был черный фрак, черный жилет ужасного покроя, — быть может, этот покрой предписан был адским этикетом при дворе Прозерпины; черные панталоны пугливо трепетали вокруг его тощих

ног. Длинные руки казались еще длиннее, когда он, держа в одной руке скрипку, в другой — опущенный книзу смычок и почти касаясь ими земли, отвечивал перед публикой свои чудовищные поклоны. В угловатых движениях его тела была какая-то жуткая деревянность и в то же время что-то бессмысленно-животное. Казалось, что его поклоны должны были возбуждать неудержимый хохот, но его лицо, выглядевшее при ярком освещении ламп оркестра еще более мертвленным и бледным, принимало при этом выражение такой мольбы, такого тупого смирения, что смех подавлялся какой-то ужасной жалостью. Кто научил его этим поклонам? Автомат или собака? И что означает его взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного или за этим взглядом скрывалась насмешка хитрого скряги? И кто он сам? Живой человек, который в своей предсмертной агонии на подмостках искусства старается позабавить публику своими последними судорогами, как умирающий гладиатор? Или это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой в руках, который хочет высосать если не кровь из нашего сердца, то, во всяком случае, деньги из нашего кошелька?

Такие вопросы теснились в моей голове, пока Паганини с обычными кривляньями отвечивал во все стороны свои бесконечные поклоны. Но все эти мысли сразу оборвались, когда этот изумительный мастер приставил свою скрипку к подбородку и начал играть. Что касается меня, то ведь вы знаете мое второе музыкальное зрение, мою способность при каждом тоне, который я слышу, в то же время видеть адекватную звуковую фигуру. Каждым взмахом своего смычка Паганини вызывал перед моими глазами зрительные образы и картины; языком звучащих иероглифов рассказывал он мне ряд ярких происшествий. Словно игра цветных теней разворачивалась передо мною; но сам он со своей скрипкой неизменно оставался главным действующим лицом. Уже при первом ударе его смычка обстановка, окружавшая его, изменилась; он со своим нотным пюпитром внезапно очутился в приветливой, светлой ком-

нате, беспорядочно-весело убранной вычурной мебелью в стиле помпадур. Везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китайский фарфор, очаровательный хаос лент, цветочных гирлянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых жемчугов, золотых диадем из жести и прочей мишуры, переполняющей обычно будуар примадонны. Внешность Паганини тоже изменилась, и притом самым выгодным для него образом; на нем были надеты короткие панталоны из лилового атласа, белый жилет, расшитый серебром, кафтан из светлоголубого бархата с золотыми пуговицами, и старательно завитые в мелкие кудри волосы обрамляли его лицо, совсем юное, цветущее, розовое, сиявшее необыкновенной нежностью, когда он поглядывал на хорошенькую дамочку, стоявшую рядом с ним у пюпитра, в то время как он играл на своей скрипке.

И в самом деле, рядом с ним я увидел хорошенькое молодое создание в старомодном туалете; белый атлас раздувался кринолином ниже бедер, и это очаровательно обрисовывало тонкую талию; напудренные завитые волосы были высоко подобраны, и под этой высокой прической особенно ярко сияло хорошенькое круглое личико со своими блестящими глазками, нарумяненными щечками, мушками и задорным миленьким носиком. В руке она держала бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по кокетливому покачиванию верхней части ее фигурки можно было заключить, что она поет; но ухом нельзя было уловить ни одной из ее трелей, и только по звукам скрипки, которой молодой Паганини аккомпанировал этой прелестной крошке, мог я угадать, что именно она пела и что переживал он сам во время ее пения. О, это были мелодии, подобные рокоту соловья в предвечерних сумерках, когда аромат розы наполняет томлением его сердце, почуявшее весну! О, это было тающее, сладострастно изнемогающее блаженство! Это были звуки, которые то как бы встречались в поцелуе, то капризно убегали друг от друга и, наконец, смеясь, снова сливались и замирали в объятье, полном опьянения. Легко и весело порхали

эти звуки; так мотыльки, шаловливо дразня друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся за цветы, то настигают один другого и, соединяясь в беспечно счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золотых солнечных лучах. Но паук, паук может положить внезапно трагический конец веселью влюбленных мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное сердце? Скорбный, стнящий звук, как предвестник надвигающейся беды, тихо проскользнул среди восторженных мелодий, которые излучала скрипка Паганини... Его глаза стали влажны... Молитвенно склоняется он на колени перед своей amata... Но, ах! Нагнувшись, чтоб расцеловать ее ножки, он заметил под кроватью маленького аббата! Я не знаю, что он имел против этого бедняги, но генуэзец побледнел, как смерть. Он с яростью хватает маленького человечка, обильно награждает его пощечинами, дает ему немало пинков ногою и выкидывает за дверь. Затем он вытаскивает из кармана свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной красавицы...

В этот момент со всех сторон раздались крики: «Браво! браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гамбурга выражали шумное одобрение великому мастеру, который только что закончил первое отделение своего концерта и кланялся, стибаясь еще ниже, еще более угловато, чем раньше. И казалось мне, что лицо его полно какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбой, чем раньше. В его глазах застыла жуткая тревога, как у обреченного грешника.

«Божественно, — восклицал мой сосед меховщик, ковыряя в ушах, — одна эта вещь стоит двух талеров».

Когда Паганини вновь начал играть, жуткий мрак встал перед моими глазами. Звуки уже не превращались в светлые образы и краски; наоборот, даже фигуру самого артиста окутали густые тени, из мрака которых пронзительными, жалобными воплями звучала его музыка. Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа бросала на него свой скудный свет, я мог

разглядеть его побледневшее лицо, с которого пока еще не вполне исчезла печать молодости. Станный вид имела его одежда; она была двухцветная — желтая с одной стороны, красная — с другой; ноги его были закованы в тяжелые цепи. Сзади него шевелилась фигура, в физиономии которой было что-то веселое, козлиное; а длинные волосатые руки, повидимому, принадлежавшие этой фигуре, временами касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки. Иногда они водили рукой его, державшей смычок, и тогда блеющее, одобрительное хихиканье сопровождало истекавшие из скрипки звуки, все более и более страдальческие, все более кровавые. Эти звуки были, как песни падших ангелов, которые согрешили с дочерьми земли, за это изгнаны были из царства блаженных и с лицами, пылающими от позора, должны были сойти в преисподнюю. Это были звуки, в бездонной глубине которых не теплилось ни надежды, ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе, славословия богу замирают на их бледнеющих губах, и с плачем они покрывают свои благодетельные головы; порой среди этой музыки горя и страданий звучало также и блеянье козлиного смеха, и, слыша его, я замечал на заднем плане множество маленьких женских фигур, которые со злобной веселостью кивали своими безобразными головками и, дразнясь, со злорадством, пальцами, сложенными для крестного знамени, почесывали сзади свои маленькие округлости. Из скрипки вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски; ужасающие вопли и рыдания, какие еще никогда не оглашали землю и, вероятно, никогда снова не огласят ее, разве только в долине Иосафата в день страшного суда, когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи... Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такою силой, с таким безумным отчаянием, что цепи со звоном распались, а его лихой помощник вместе с глумящимися чудовищами исчез.

В этот момент мой сосед, меховой маклер, произнес:

«Жаль, жаль! У него лопнула струна — это от постоянного pizzicato! *»

Лопнула ли действительно струна на скрипке? Я этого не знаю. Я заметил лишь, что иной характер приобрели звуки, и внезапно вместе с ними изменились и сам Паганини и окружающая его обстановка. Я едва мог узнать его в коричневой монашеской рясе, которая скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким выражением на лице, наполовину спрятанном под капюшоном, опоясанный веревкою, босой, одинокий и гордый, стоял Паганини на выдающейся в море скале и играл на скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки; красные отсветы вечера ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее и шумели все торжественнее в таинственном созвучии с мелодиями скрипки.¹ Но чем багровее становилось море, тем бледнее делалось небо, и когда, наконец, бурные воды превратились в яркопурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым, мертвенно-белым, и угрожающе выступили на нем крупные звезды... и эти звезды были черные, черные, как куски блестящего каменного угля. Но все порывистее и смелее становились звуки скрипки; в глазах ужасного артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения, его тонкие губы шевелились с такой зловещей торопливостью, что, казалось, он бормочет древние нечестивые заклинания, которыми вызываются бури и освобождаются от оков злые духи, томящиеся в заключении в пучинах морских. Порою, когда он простирал из широкого монашеского рукава свою длинную, худую голую руку и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину чародеем, который повелевает стихиями при помощи своей волшебной палочки. Тогда безумный рев несся из морских глубин; кровавые волны, объятые ужасом, вздымались вверх с такой силой, что почти достигали бледного небесного купола и покрывали брызгами своей красной

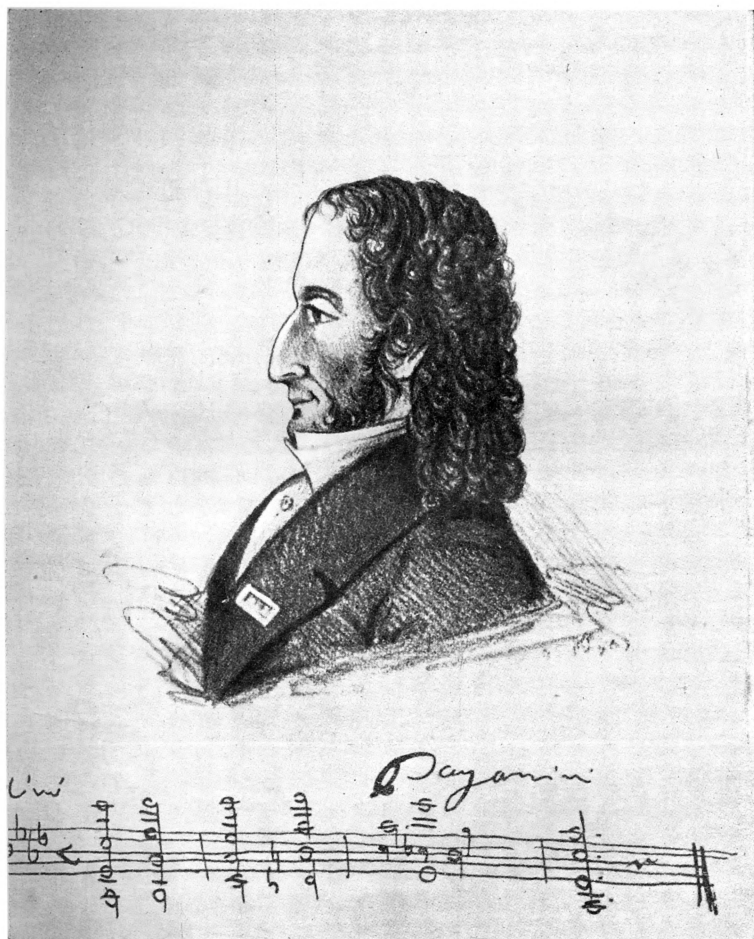
* пиччикато — способ игры на смычковом инструменте. Музыкант, не употребляя смычка, играет на инструменте, задевая струны пальцами.

пены его черные звезды. Кругом все выло, ревело, грохотало, как-будто рушилась вселенная, и все с большим упорством играл монах на своей скрипке. Мощным усилием своей безумной воли он хотел сломать семь печатей, наложенных Соломоном на железные сосуды, в которых заключены были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их в море, и мне чудилось, что я слышу голоса заключенных в них духов, когда скрипка Паганини гремела своими самыми гневными, басовыми звуками.) Наконец мне послышались словно ликующие крики освобождения, и из красных кровавых волн стали подымать свои головы освобожденные демоны: чудища сказочно безобразные, крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленьими рогами, обезьяны, у которых головы покрыты были воронкообразными раковинами, тюлени с патриархально длинными бородами, женские лица с грудями вместо щек, зеленые верблюжьих головы, ублюдки самых невообразимых помесей, — все пялили свои холодные умные глаза на играющего на скрипке монаха, все простирали к нему свои длинные лапы-пластики... а у монаха, охваченного безумием заклинаний, свалился капюшон, и волнистые волосы, разметавшись по ветру, словно черные змеи, кольцами окружали его голову.

Это было настолько умопомрачительное зрелище, что я, чтобы не потерять рассудка, заткнул уши и закрыл глаза. Привидение тотчас исчезло, и, когда я снова взглянул, я увидел бедного генуэзца в его обычном виде, отвешивающим свои обычные поклоны, в то время как публика восторженно аплодировала.

«Так вот она, эта знаменитая игра на басовой струне, — заметил мой сосед, — я сам поигрываю на скрипке и знаю, чего стоит так овладеть этим инструментом». К счастью, пауза была непродолжительна, иначе этот музыкальный меховщик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве. Паганини снова спокойно приставил скрипку к подбородку, и с первым же ударом смычка вновь началось волшебное перевоплощение звуков; но только они теперь не оформлялись

в такие резко-красочные и телесно-отчетливые образы. Звуки развертывались спокойно; величественно вздымались и нарастали, как хорал на органе собора; все кругом раздвигалось вширь и ввысь, образуя колоссальное пространство, которое не мог охватить телесный глаз и доступное лишь духовному взору. В середине этого пространства носился светящийся шар, на котором стоял гигантский, гордый, величественный человек и играл на скрипке. Что это был за шар? Солнце? Я не знаю. В человеке же я узнал черты Паганини, но только идеализированные, небесно-проясненные, с улыбкой, полной примиренности. Его тело цвело мужественной силой; светлоголубая одежда облакала облагороженные члены; по плечам ниспадали блестящими кольцами черные волосы; и неизбежно, уверенно стоял он со своей скрипкой, как великий образ божества, и, казалось, все мироздание повинуетя его звукам. Это был человек-планета; вокруг него с размеренной торжественностью вращалась вселенная, звуча божественными ритмами. Большие светила, которые плыли вокруг него, спокойно сияя, — были ли это небесные звезды? И звучащая гармония, которую порождали эти движения, — не был ли это тот хор сфер, о котором с таким восторгом говорили нам поэты и ясновидцы? Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль, мне казалось, что я вижу одни только белые колеблющиеся одежды, закутавшись в которые шествовали пилигримы-великаны с белыми посохами в руках, и — странно! — золотые набалдашники их посохов были теми большими светилами, которые я принял за звезды. Широким кругом двигались пилигримы вокруг великого артиста; от звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я принял за хор сфер, являлись лишь замирающим эхом этой музыки. Страстным, иступленным благочестием полны были эти звуки; они то едва слышно шелестели, как таинственный шопот вод, то снова жутко и сладко нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную ночь, и, наконец, гремели с безудержным ли-



ПАГАНИНИ

С литографии Лизера 1836 г.

кованием, словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и сливали свои голоса в одну победную песнь. Это были звуки, которых никогда не может уловить ухо, о которых может лишь грезить сердце, когда оно ночью покоится рядом с сердцем возлюбленной — впрочем, может быть, душа наша в состоянии постичь их и в яркий солнечный день, когда она, ликуя, погружается в созерцание прекрасных линий и овалов греческого искусства...

— Или когда выпита лишняя бутылка шампанского, — послышался вдруг смеющийся голос и словно от сна пробудил нашего рассказчика. Оглянувшись, он заметил доктора, который в сопровождении черной Деборы тихо вошел в комнату, чтобы посмотреть, как действовало на больную его лекарство.

— Этот сон мне не нравится, — произнес доктор, указывая на софу.

Максимилиан, который, погрузившись в фантастические образы собственных речей, не заметил, что Мария давно уже спит, с досадою закусил губы.

— Этот сон, — продолжал доктор, — придает езу лицу мертвенный вид. Не правда ли, что она похожа сейчас на те белые маски, те гипсовые слепки, которые мы заказываем для себя, чтобы сохранить черты умерших?

— Я хотел бы, — прошептал ему на ухо Максимилиан, — сделать такой слепок с лица нашей приятельницы. Она и мертвая будет очень хороша.

— Этого я вам не советую, — возразил доктор. — Такие маски отравляют нам воспоминание о тех, кого мы любили. Нам все кажется, что в этом гипсе сохраняется еще что-то живое, тогда как в действительности то, что там запечатлено, есть сама смерть. Правильные, красивые черты лица приобретают при этом какое-то зловещее, застывшее, надменное, фатальное выражение, благодаря чему они больше пугают нас, чем радуют. Но настоящими карикатурами являются гипсовые слепки с лиц, привлекательность которых носила более духовный, чем телесный характер, черты которых

были не столько правильны, сколько интересны. Как только отлетают грации жизни, отклонения от идеальных линий красоты не восполняются уже больше духовной привлекательностью. Но всем этим гипсовым лицам, каковы бы они ни были, свойственно какое-то загадочное выражение, которое при долгом созерцании пронизывает нашу душу нестерпимым холодом; кажется, что это лица людей, которые собираются отправиться в тяжелый путь.

— Куда? — спросил Максимилиан, в то время как доктор, взяв его под руку, увел его из комнаты.

НОЧЬ ВТОРАЯ

— И к чему мучить меня этим гадким лекарством, — ведь я все равно скоро умру.

Эти слова произнесла Мария как раз в тот момент, когда Максимилиан входил в комнату. Перед ней стоял врач, держа в одной руке аптечную склянку, а в другой маленькую рюмку, в которой отвратительно пенилось какое-то буроватое снадобье.

— Милейший друг, — воскликнул врач, обращаясь к только что вошедшему. — Вы явились сюда как нельзя более кстати; уговорите же синьору проглотить эти несколько капель; я спешу.

— Я прошу вас, Мария! — прошептал Максимилиан тем мягким голосом, который не часто у него появлялся, но в котором слышалась такая сердечная боль, что больная, растроганная, почти забывая о собственных страданиях, взяла в руку рюмку. Но прежде чем поднести ее к губам, она сказала с улыбкой:

— Зато, не правда ли, в награду вы мне расскажете историю Лауренции?

— Я исполню все, что вы хотите! — кивнул Максимилиан.

Бедная женщина тотчас выпила содержимое рюмки с улыбкой, смешанной с содроганием.

— Я спешу, — сказал врач, натягивая свои черные перчатки. — Прилягте опять, синьора, и лежите со-

вершенно спокойно. Двигайтесь как можно меньше. Я спешу.

В сопровождении черной Деборы, вышедшей ему посветить, врач оставил комнату. Теперь друзья были одни и долго безмолвно смотрели друг на друга. Одни и те же мысли волновали их обоих. Но каждому из них хотелось скрыть эти мысли от другого. Внезапно женщина схватила руку Максимилиана и покрыла ее жаркими поцелуями.

— Ради бога, — сказал Максимилиан. — Не делайте таких резких движений и ложитесь опять спокойно на свою софу.

Когда Мария исполнила эту просьбу, он заботливо прикрыл ее ноги шалью, к которой прежде прикоснулся своими губами. Движение это, повидимому, не ускользнуло от Марии; глаза ее радостно заискрились, как у счастливого ребенка.

— Что же, мадемуазель Лауренция была очень хороша?

— Если вы не будете меня прерывать и дадите обещание слушать меня тихо и спокойно, то я подробнеем образом изложу вам все, что вы желали бы знать.

Приветливо улынувшись в ответ на утвердительный взгляд Марии, Максимилиан уселся в кресло, стоявшее рядом с софой, и так начал свой рассказ:

— Восемь лет тому назад я отправился в Лондон, чтобы познакомиться с англичанами и их языком. Чорт бы побрал этот народ вместе с их языком. Они набивают себе рот дюжиной односложных слов, жуют их, комкают, затем снова выплевывают, и это называется у них — говорить. К счастью, по природе они довольно молчаливы, и хотя они глазят на нас, разинув рот, длинными разговорами они нас не обременяют. Но горе нам, если мы попадем в руки сыну Альбиона, который совершил большое путешествие и обучился на континенте французскому языку. Этот уж не упустит случая поупражняться в знании языка; он засыплет вас вопросами о всевозможных вещах, и едва вы ответите на один вопрос, как уже готов другой: о вашем возрасте,

о вашей родине, о продолжительности вашего пребывания за границей, причем он искренно убежден, что наилучшим образом занимает вас этим неустанным допросом. Один из моих парижских друзей был, пожалуй, прав, утверждая, что англичане обучаются французским разговорам в *bureau de passeports* *. Всего полезнее их беседа за столом, когда они разрезают свои колоссальные ростбифы и с серьезным видом расспрашивают вас, какой кусок вы желаете получить: прожаренный или непрожаренный? Из середины или с зарумяненного края? С жиром или без жира? Но этими ростбифами да еще бараниной исчерпывается все, что у них есть хорошего. Да сохранит бог всякую христианскую душу от их соусов, которые состоят на одну треть из муки и на две трети из масла или — когда желательно внести разнообразие — на одну треть из масла и на две трети из муки. Сохрани бог также от их наивных гарниров из зелени, которую они отваривают в воде и в том самом виде, в каком бог создал ее, подают к столу. Еще ужаснее английской кухни английские тосты и застольные речи, которые обязательно произносятся, когда снимается скатерть и дамы покидают стол и их замещает равное количество бутылок портвейна... По мнению англичан, эти последние могут наилучшим образом заменить присутствие прекрасного пола. Я говорю «прекрасного пола», так как англичанки заслуживают этого названия. Это — красивые, белые, стройные создания. Только слишком обширное пространство между носом и ртом, встречающееся у них не менее часто, чем у тамошних мужчин, не раз отравляло мне в Англии наслаждение самыми красивыми лицами. Это нарушение норм прекрасного действует на меня особенно тягостно, когда я встречаю англичан здесь, в Италии, где их скупые отмеренные носы и широкие площадки между носом и ртом находятся в таком резком контрасте с линиями итальянцев, у которых черты ближе

* паспортный стол

к античной правильности, а носы, или по-римски изогнутые, или по-гречески опущенные, наоборот, нередко страдают чрезмерной длиной. Очень удачно заметил один из немецких путешественников, что англичане, когда они бродят здесь среди итальянцев, напоминают статуи, у которых отбили кончик носа.

Да и вообще, только встретив англичан в чужой стране, можно почувствовать как следует их недостатки, особенно ярко выступающие в силу контраста. Это — боги скуки, которые проносятся из страны в страну на курьерских, в блестящих лакированных экипажах, и оставляют везде за собою серое, пыльное облако тоски. Прибавьте к этому любопытство, лишенное внутреннего интереса, их вылощенную тяжеловесность, их наглую тупость, их угловатый эгоизм и эту унылую радость, которую возбуждают в них самые грустные вещи. Вот уже три недели, как здесь, на Piazza del Gran Duca *, ежедневно появляется англичанин и с разинутым ртом целыми часами глазает на шарлатана, который, сидя верхом на лошади, вырывает людям зубы. Быть может, это зрелище должно вознаграждать благородного сына Альбиона за то лишение, которое он испытывает, не присутствуя на публичных казнях, совершаемых в его любезном отечестве... Ибо наряду с боксом и петушиным боем для бритта нет зрелища более увлекательного, чем созерцание агонии какого-нибудь бедняги, который украл овцу или подделал подпись и которого за это на целый час выставляют с веревкой на шее перед фасадом Old Bailey, прежде чем швырнуть его в вечность. Я отнюдь не преувеличиваю, когда говорю, что в этой безобразно жестокой стране кража овцы и подделка документа караются наравне с ужаснейшими преступлениями — отцеубийством или кровосмешением. Я сам, к своему прискорбию, оказался случайным очевидцем того, как в Лондоне за кражу овцы вешали человека, и с этих пор жареная баранина потеряла для меня всякую прелесть:

* площадь Великого герцога

жир напоминает мне каждый раз белый колпак несчастного грешника. Рядом с ним был повешен один ирландец, подделавший подпись богатого банкира; я как сейчас вижу этого бедного Paddy*, обьятого наивным смертельным ужасом перед судом присяжных: он никак не мог понять, что за одну только подделку подписи его должно постигнуть столь жестокое наказание, — ведь сам он охотно предоставил бы каждому воспроизводить свою подпись. И этот народ постоянно говорит о христианстве, не пропускает ни одного воскресного богослужения, наводняет весь мир библиями.

— Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если в Англии мне все становилось поперек горла — и кушанья и люди, — то причина отчасти заключалась во мне самом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры и искал развлечения у народа, который сам не умеет избавиться от скуки иначе, как потопив ее в водовороте политической или коммерческой деятельности. В совершенстве машин, которые применяются здесь везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячью всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; если машины походят там на людей, зато люди кажутся нам машинами. Да, дерево, железо и медь узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности словно обезумели, в то время как обездушенный человек, точно пустой призрак, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштекс, произносит парламентские речи, чистит свои ногти, влезает в дилижанс или вешается.

Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна была возрастать со дня на день. Но ничто не может

* ирландца.

сравниться с тем мрачным настроением, которое нашло на меня однажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась в воде и смотрела на меня оттуда, зияя всеми своими ранами... Самые грустные истории приходили мне на память... Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом и потому она лишилась своего сладостного аромата и рано увяла... Я думал о заблудшей бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взобравшийся на Монблан, — он видел, как она одиноко порхала между ледяными глыбами... Я думал об одной ручной обезьяне, которая так подружилась с людьми, что с ними играла, с ними обедала; но вот раз за обедом была подана на блюде зажаренная маленькая обезьянка, в которой она узнала свое собственное детище; быстро схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда уже более не возвращалась к своим друзьям-людям... Ах, мне было так тяжело, что горячие капли градом полились из моих глаз... Они падали вниз, в Темзу, и плыли дальше в огромное море, которое уже поглотило столько человеческих слез, совершенно не приметив их.

В этот момент странная музыка пробудила меня от моих мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно, забавного зрелища. Подойдя ближе, я увидел семью артистов, состоявшую из следующих четырех лиц:

Во-первых, низкая, коренастая женщина, одетая во все черное, с очень маленькой головой и очень толстым, выпяченным животом. На этом животе висел огромный барабан, в который она беспощадно колотила.

Во-вторых, карлик, который, подобно французскому маркизу старого времени, носил расшитый кафтан; у него была большая напудренная голова; но все остальные части его тела были крайне мелки и тощи; приплысывая, он ударял по треугольнику.

В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая в короткую, плотно облегающую тело кофту из

голубого полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же материала. Это была очаровательная, воздушная фигура с лицом античной красоты. Благородный, прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный, мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный цвет кожи, блестящие черные волосы, вьющиеся на висках; так стояла она, прямая, строгая, с нахмуренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании, который как раз проделявал в это время свои фокусы.

Это четвертое действующее лицо была ученая собака, в высшей степени многообещающий пудель; к величайшей радости английской публики, он только что сложил из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Веллингтон» с весьма лестным эпитетом: герой. Так как эта собака — что можно было заметить уже по ее умному виду — не принадлежала к числу английских животных, но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда из Франции, то сыны Альбиона радовались, что великий Веллингтон, по крайней мере среди французских собак, добился того признания, в котором ему так позорно отказывали все прочие французские существа.

В самом деле, вся эта компания состояла из французов, и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал хвастливую речь на французском языке, сопровождая ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане разверзли свои рты и ноздри шире чем обычно. Иногда, закончив длинный период, он кричал петухом, и это кукуреку вместе с именами многочисленных императоров, королей и князей, которыми пестрела его речь, было единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих императоров, королей и князей он прославлял как своих покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним мальчиком имел продолжительную беседу с его величеством блаженной памяти Людовиком XVI, который и в позднейшее время прибегал к его совету во всех важных случаях. От бурь революции он, как и многие другие, спасся эмиграцией и лишь в эпоху империи вернулся в свое любезное отечество

для того, чтобы разделить славу великой нации. Благосклонностью Наполеона он, по его словам, никогда не пользовался; но зато его святейшество папа Пий VII почти обожал его. Царь Александр угощал его конфетами, а принцесса Вильгельмина фон-Киритц постоянно сажала его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Брауншвейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих собаках, а его величество король Людовик Баварский читал ему свои возвышенные стихотворения. Князь Рейс-Шлейц-Крейц, а также князь Шварцбург-Зондерсхаузен любили его, как брата, и всегда курили с ним из одной трубки. Да, с самого детства он вращался только среди монархов, все теперешние государи, некоторым образом, выросли вместе с ним; он относится к ним как к людям своего круга и облачается в траур каждый раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После этих торжественных слов он кричал петухом.

Мосье Тюрлютю был, действительно, одним из любопытнейших карликов, каких мне приходилось когда-либо видеть. Его старое, сморщенное лицо представляло такой забавный контраст с его детски-тщедушным тельцем, и весь его облик так же забавно контрастировал с теми штуками, которые он выкидывал. Он принимал, например, самые задорные позы и непомерно длинной рапирой пронзал воздух направо и налево; он поминутно клялся своей честью, что вот эту квартиру или эту терцию никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его парады не может разбить ни один из смертных и что он вызовет любого из публики померяться с ним в благородном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время этому представлению и не найдя никого, кто отважился бы вступить с ним в публичное состязание, карлик отвесил поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблагодарил за все оказанное ему одобрение и взял на себя смелость предложить высокоуважаемой публике зрелище, более необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изумление зрителей на территории Англии. — Видите

вы эту особу, — воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с почтительнейшей вежливостью выведя на середину круга молодую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов. — Эта особа, мадемуазель Лоранс — единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там с большим барабаном и которая до сих пор носит траур по случаю смерти своего нежнолюбимого супруга, величайшего чревоушателя Европы! Мадемуазель Лоранс будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель Лоранс! — Произнеся эти слова, он снова закричал петухом.

Девушка не обращала, повидимому, ни малейшего внимания ни на эти речи, ни на любопытные взгляды зрителей; угрюмо погружившись в себя, она ждала, пока карлик не расстелил перед ней большой ковер и не заиграл снова на своем треугольнике под аккомпанемент большого барабана. Это была странная музыка, неуклюже брюзжащая и вместе с тем сладостно щеко-чущая; я был захвачен этой патетически-гаерской, скорбно-наглой, своенравной мелодией, которая в то же время поражала своей простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как только молодая девушка начала танцевать.

Танец и танцовщица с почти неудержимой силой приковали к себе все мое внимание. Тут не было того классического танцевального искусства, которое еще встречается в наших больших балетах, где, как и в классической трагедии, царствуют только ходульные единства и прочие условности; тут не было этих тщательно вытанцовываемых александрийских стихов, этих декламаторских прыжков, этих символизирующих анти-тезу антраша, этой благородной страсти, которая выделяет пируэты, вращаясь на одной ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разобрать, кроме неба и трико, кроме идеальности и лжи. По правде сказать, ничто мне так не противно, как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей чистоте сохранилась традиция этого классического танца, несмотря на то, что в области прочих искусств — в поэзии, му-

зыке и живописи — французы низвергли классическую систему. Но в хореографическом искусстве им трудно произвести подобного рода революцию; разве только они прибегнут здесь, как и в политической революции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих одереженевших танцоров и танцовщиц старого порядка. Мадемуазель Лоранс не была великой танцовщицей; ее носки не отличались особенной гибкостью; видно было, что ноги ее не упражнялись во всевозможных вывихах, что она ничего не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает Вестрис, но она танцевала так, как предписывает танцевать природа; все ее существо было в гармонии с ее па: танцевали не только ее ноги, танцевало все ее тело, танцевало лицо... Порой она становилась бледной, почти смертельно бледной; ее глаза раскрывались широко, как у привидения; ее губы вздрагивали судорогой желания и боли, а ее черные волосы, которые полукруглыми прядями обрамляли ее виски, шевелились, как два трепещущих воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. В этом танце ничего не было средневекового или венецианского, ничего похожего на пляску калек, на *danse macabre* *; не чувствовалось в нем ни лунного света ни кровосмешения... Эта пляска не заботилась о том, чтобы забавлять внешним разнообразием движений; наоборот — ее движения казались лишь словами какого-то особенного языка и имели какой-то особенный смысл. Что же говорил этот танец? Этого я не мог постичь, несмотря на всю страстную выразительность его языка. Я лишь смутно догадывался порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном. Я обыкновенно так легко схватываю внутренний смысл всех явлений, но тут я не мог разрешить эту протанцованную передо мной загадку, и если я все снова и снова тщетно старался схватить ее смысл, то в этом была

* пляску смерти

виновата, без сомнения, и музыка, которая, вероятно, не без умысла наводила меня на ложный след, лукаво сбивая меня с правильного пути и мешая мне. Треугольник господина Тюрлютю хихикал иногда так коварно! А мамаша била в свой барабан так гневно, что ее лицо пылало из-под темного облака траурной шляпы, как кровавое зарево северного сияния.

После того как труппа удалилась, я долго еще стоял на том же самом месте и размышлял над тем, — что бы могла обозначать эта пляска? Не был ли это явно-французский или испанский национальный танец? На нечто подобное намекало то неистовство, с которым бросалась то в ту, то в другую сторону юная танцовщица, то дикое, необузданно-буйное движение, с которым она иногда откидывала свою голову назад на подобие вакханок, изумляющих нас на барельефах античных ваз. В ее танце чудилось тогда что-то опьяненно-безвольное, что-то мрачно-неотвратимое, роковое, словно это танцевала сама судьба. Или это были обрывки какой-то древней забытой пантомимы? Или она, танцуя, рассказывала историю чьей-то жизни? Иногда девушка склонялась ухом к земле и прислушивалась, как будто оттуда доносился до нее какой-то голос... Она трепетала тогда, как осиновый лист, затем порывисто откидывалась в другую сторону, будто хотела что-то стряхнуть с себя безумными, бешеными прыжками, а затем снова наклоняла ухо к земле, прислушивалась еще тревожнее, чем раньше, кивала головой, краснела, бледнела, содрогалась, застывала на мгновение, выпрямившись, как свеча, и, наконец, делала такое движение, точно умывала руки. Что смывала она со своих рук так долго и старательно, так жутко-старательно? Кровь? При этом она бросила в сторону взгляд, такой просящий, умоляющий, хватающий за сердце... и случайно взгляд этот упал на меня.

Всю следующую ночь я думал об этом взгляде, об этом танце, о причудливом аккомпанементе к нему; и когда я на следующий день стал, по обыкновению, скитаться по лондонским улицам, я почувствовал не-

удержимое желание снова встретиться с прекрасной танцовщицей; я все время напрягал свой слух, стараясь уловить звуки барабана и треугольника. Я нашел, наконец, в Лондоне нечто такое, что меня заинтересовало; я не слонялся уже более бесцельно по его скупающим улицам.

Я выходил из Тауэра, где обстоятельно рассмотрел топор, которым была обезглавлена Анна Болейн, а также алмазы английской короны и львов, как вдруг на Тауэрской площади посреди большой толпы людей я увидел мамашу с большим барабаном и тотчас же услышал голос мосье Тюрлютю, прокричавшего петухом. Ученая собака опять прославилась своими рассыпанными буквами героизм лорда Веллингтона; карлик опять показал свои непобедимые терции и кварталы, а мадемуазель Лоранс опять начала свой изумительный танец. Передо мной были опять те же загадочные движения, тот же язык, говоривший мне что-то такое, чего я не мог постичь; так же беспокоило она откидывала назад прекрасную голову, так же припадала ухом к земле и после этого, снова охваченная ужасом, старалась прогнать его все более бешеными прыжками. И потом снова ее чуткое ухо принимало к земле, и снова трепет, смертельная бледность, каменная неподвижность, потом опять это ужасное, таинственное омовение рук и трогательный, умоляющий взгляд в сторону, который на этот раз еще дольше остановился на мне.

Да, женщины, все, включая и молодых девушек, тотчас же замечают, если им удастся привлечь внимание мужчины. Хотя, когда мадемуазель Лоранс не танцевала, она все время неподвижно и сердито смотрела в одну точку, а во время своей пляски бросала на публику только один единственный взгляд, тем не менее неслучайно взгляд этот останавливался всегда на мне, и чем чаще присутствовал я при ее танце, тем значительнее и вместе с тем загадочнее сияли при этом ее глаза. Я был словно околдован этим взглядом и целые три недели с утра до вечера таскался по улицам Лондона, останавливаясь всюду там, где танцевала маде-

муазель Лоранс. Несмотря на сильнейший шум уличной толпы, я стал на очень далеком расстоянии улавливать звуки барабана и треугольника, и мосье Тюрлютю, заметив, что я спешу к ним, тотчас же посылал мне навстречу свое самое приветливое кукареку. Хотя я не обменялся ни одним словом ни с ним, ни с мадемуазель Лоранс, ни с мамашей, ни с ученой собакой, я казался, однако, тоже членом их труппы. Когда мосье Тюрлютю собирал деньги, он держался всегда с тончайшим тактом: приближаясь ко мне, он смотрел в противоположную сторону, в то время как я бросал в его треугольную шляпочку мелкую монету. Он, действительно, держал себя с благородным достоинством, напоминая изысканные манеры прошлого; глядя на этого маленького человечка, легко было поверить, что он вырос среди монархов, и тем неожиданнее, тем страннее получалось впечатление, когда он, совершенно забывая свое достоинство, кричал петухом.

Я не могу вам описать, до какой степени я был раздосадован, когда, по прошествии некоторого времени, я в течение трех дней тщетно разыскивал маленькую труппу по всем улицам Лондона и, наконец, должен был убедиться, что она оставила этот город. Скука снова охватила меня своими свинцовыми объятиями, снова сжала мое сердце. Наконец, я уже не мог больше выдержать, сказал прости английским mob, black guards, gentlemen и fashionables * — всем четверем условиям этого государства — и отправился назад, на цивилизованный континент, где молитвенно склонил колени перед белым фартуком первого попавшегося мне навстречу повара. Здесь я снова мог, наконец, обедать, как подобает здравомыслящему человеку, и радовать свою душу созерцанием благодущных и бескорыстных физиономий. Но мадемуазель Лоранс я все еще не мог забыть; она еще очень долго танцевала в моем воспоминании, и в часы одиночества я еще очень часто размыш-

* черни, грязной сволочи, джентльменам и фешенебельной знати

длал о загадочной пантомиме этого прелестного ребенка, в особенности о том, как она к чему-то прислушивалась, припав ухом к земле. Немало времени прошло также, прежде чем в моем воспоминании замолкли причудливые мелодии треугольника и барабана.

— И это вся история? — внезапно воскликнула Мария, порывисто приподнявшись.

Но Максимилиан нежным движением снова уложил ее, многозначительно приставил палец ко рту и прошептал: — Тихе, тихе. Только не говорите ни слова, лежите совершенно спокойно, и я расскажу вам конец истории. Только ради всего святого не перебивайте меня.

Усевшись поудобнее в кресле, Максимилиан следующим образом продолжал свой рассказ.

— Через пять лет после этого происшествия я впервые приехал в Париж и попал туда как раз в очень интересный период. Французы только что разыграли свою Июльскую революцию, и весь мир им аплодировал. Эта пьеса не была так ужасна, как прежние трагедии республики и империи. Всего лишь несколько тысяч трупов осталось на подмостках. Политические романтики не были удовлетворены и сулили новую постановку, в которой будет пролито больше крови и палач получит больше работы.

Париж доставлял мне искреннее наслаждение своею веселостью, которая проявляется там решительно во всем и оказывает свое влияние даже на самых унылых людей. Поразительно! Париж — это место, где разыгрываются величайшие трагедии мировой истории. Одно воспоминание об этих трагедиях заставляет обитателей самых отдаленных стран содрогаться и проливать слезы; и, однако, здесь, в Париже, зритель этих трагедий испытывает нечто вроде того, что я испытал раз в Porte Saint Martin на представлении «Tour de Nesle». Мне пришлось там сидеть позади дамы, на которой была надета шляпа из красно-розового тюля; у этой шляпы были такие широкие поля, что они заслоняли от меня всю сцену; таким образом, все, что ни

разыгрывалось там трагичного, я видел сквозь этот красный флер, и все ужасы «Tour de Nesle» рисовались мне в самом жизнерадостном, розовом свете. Да, в Париже есть такой розовый свет, и он окрашивает в веселые тона все трагедии в глазах их непосредственных зрителей, чтобы не отравить им радость жизни. Даже те ужасы, которые вы приносите в Париж в своем собственном сердце, перестают вас там угнетать. Как-то странно смягчаются страдания. В парижском воздухе все раны исцеляются гораздо быстрее, чем где бы то ни было; есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полное сострадания и обаятельности, как и в самом народе.

Но что мне больше всего понравилось в парижанах, это вежливость их в обращении и аристократическая внешность их. О сладкий ананасный аромат вежливости! Как благодетельно освежил ты мою больную душу, которая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости! Как мелодии Россини звучали в моих ушах изысканные извинения француза, лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего прибытия в Париж. Я был почти испуган этой сладостной вежливостью, — я, привыкший к немецки-грубым толчкам в бок без каких-либо извинений. В первую неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, лишь для того, чтобы насладиться музыкой извинительных речей. Но не только эта вежливость, а и самый язык придавал в моих глазах французскому народу налет некоторого аристократизма. Ведь, как вы знаете, у нас, на севере, умение говорить по-французски принадлежит к числу атрибутов высшего дворянства, и потому с французским языком у меня с самого детства ассоциировалась идея аристократизма. Здесь, в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше говорит по-французски, чем окончившая институт немецкая аристократка с шестьюдесятью четырьмя предками.

Благодаря языку, который придает французскому народу аристократический облик, народ этот приобрел

В моих глазах что-то очаровательно-сказочное. Это вызывалось другим воспоминанием моего детства. А именно, первая книжка, по которой я учился по-французски, были басни Лафонтена; их наивно-благоразумные речи неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я приехал в Париж, то звуки раздававшейся вокруг французской речи постоянно напоминали мне басни Лафонтена; мне все казалось, что я слышу хорошо знакомые голоса животных: вот это говорит лев, а это — волк, затем ягненок, аист или голубь; нередко мне чудились и вкрадчивые речи лисицы, и в моем воспоминании частенько воскресали слова:

Eh! bonjour, monsieur du Corbeau!

Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! *

Но еще чаще пробуждались в моей душе эти воспоминания о персонажах басен, когда я попал в Париже в те высшие сферы, которые зовутся светом. Ведь это был тот самый свет, который доставил покойному Лафонтену типы, воплощенные в характерах его различных животных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда в Париж, и я принял участие в жизни гостиных, где более или менее весело толчется этот «свет». Самым интересным и поразительным для меня в жизни света была не столько одинаковость царящих в нем утонченных нравов, сколько различие его составных частей. Порою, наблюдая людей, мирно собравшихся в каком-нибудь великолепном салоне, я чувствовал себя словно в лавке редкостей, где в пестром смешении покоятся рядом друг с другом реликвии всевозможных эпох: греческий Аполлон — рядом с китайской пагодой, мексиканский Вицлипуцли — рядом с готическим Ессе homo! **, египетские идолы с собачьими головами, священные уродцы из дерева, слоновой кости, металла и т. п. Там встречались старые мушкетеры, танцовавшие некогда с Марией-Антуанеттой,

* Из басни «Le Corbeau et le Renard» («Ворона и Лисица»), 1-я книга «Избранных басен» Лафонтена.

** Вот человек!

умеренные республиканцы, которых боготворили в Национальном собрании, монтаньяры, беспощадные и безупречные, бывшие герои Директории, царствовавшие в Люксембурге, вельможи Империи, перед которыми трепетала вся Европа, иезуиты, господствовавшие во время Реставрации, — одним словом, все выцветшие, искалеченные божества различных времен, в которые никто уже более не верил. Имена вопиют при взаимном сопоставлении; но люди мирно и дружелюбно помещаются рядом, как старинные редкости в упомянутых антикварных лавках на Quai Voltaire *. В германских странах, где страсти не так легко поддаются дисциплине, светское общение таких разнородных лиц было бы чем-то совершенно невыносимым. Вместе с тем, у нас, на холодном севере, потребность говорить не так сильна, как в более теплой Франции, где даже враги, встретившись в салоне, не в состоянии в течение долгого времени хранить угрюмое молчание. Кроме того, желание нравиться во Франции так велико, что люди всеми силами стараются произвести благоприятное впечатление не только на друзей, но и на врагов. Здесь постоянно во что-нибудь драпируются и мило гримасничают, так что женщинам не легко превзойти мужчин в кокетстве; впрочем, это им все-таки удается.

Этим замечанием я не хотел сказать ничего дурного о французских женщинах, и менее всего о парижанках. Наоборот, я величайший их почитатель, причем я почитаю парижанок за их недостатки еще больше, чем за их добродетели. Я не знаю ничего более меткого, чем легенда о том, что парижанки рождаются на свет со всевозможными недостатками, но добрая волшебница, сжалившись над ними, придает каждому их недостатку особые чары, и благодаря этим чарам все недостатки парижанок только увеличивают их обаятельность. Зовут эту добрую волшебницу — грацией. Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить?

* набережной Вольтера

Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что так хвастливо выпирает из пышного шелкового покрыва? И едва вашему глазу удастся проникнуть за оболочку, едва вы соберетесь приступить к исследованию самого существа, как оно тотчас же облекается в новую скорлупу, затем опять в новую, и эта непрерывная смена моды издевается над всеми усилиями мужской проницательности. Красивы ли их лица? Даже на это трудно ответить. Ибо все черты лица у них в постоянном движении; каждая парижанка имеет тысячу лиц, одно радостнее, одухотвореннее, прелестнее другого, и тут теряешься: как среди тысячи меняющихся выражений найти самое красивое лицо или хотя бы распознать, которое же из них является настоящим, истинным лицом парижанки? Большие ли у них глаза? Почему я знаю. Не слишком-то легко исследовать калибр пушечного жерла в то время, как оно своим ядром отрывает вам голову. И даже если они не попадают в цель, эти глаза, они ослепляют своим огнем, и уж рад-радешенек бываешь, если удастся удержаться на безопасном расстоянии, вне выстрела. Широко или узко у них пространство между носом и ртом? Иногда широко, когда они задирают носик вверх; иногда узко, когда они шаловливо надувают верхнюю губку. Велик у них рот или мал? Но кто может определить, где оканчивается рот и начинается улыбка? Чтобы высказать правильное суждение, надо, чтобы лицо обсуждающее и предмет обсуждения находились в состоянии покоя. Но кто может быть спокоен рядом с парижанкой, и какая парижанка бывает когда бы то ни было спокойна? Есть люди, которые думают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть бабочку, приколов ее к бумаге. Это так же нелепо, как и жестоко. Приколотая, неподвижная бабочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает вокруг цветов... и парижанку надо рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как у бабочки, грудь проколота булавкой,

•

а в гостиных, на вечерах и балах, когда она порхает на своих крылышках из расшитого газа и шелка под радостными лучами сверкающих хрустальных люстр. Они полны бешеною страстью к жизни, жаждою сладкого дурмана, жаждою опьянения, и это придает им почти пугающую красоту и очарование, которое одновременно и восхищает и потрясает нашу душу.

Это такая бешеная погоня за радостями жизни, словно смерть уже через минуту оторвет их от кипучего источника наслаждений или словно через минуту источник этот иссякнет. Эта стремительность, это истступление, это безумие парижанок, особенно поражающее на балах, напоминают мне поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас называют Виллис. Это — юные невесты, которые умерли ранее дня свадьбы, но сохранили в своей душе неутоленную страсть к танцам, такую властную, что по ночам они встают из своих гробов, толпами собираются на дорогах и в полночь предаются самым диким пляскам. Разодетые в подвенечные платья, с венками цветов на головах, с блестящими кольцами на бледных руках, жутко смеясь, танцуют неотразимо прекрасные Виллис в лучах месяца, и танцуют особенно неистово и бешено, когда чувствуют, что час их плясок истекает и они снова должны вернуться в ледяной холод могилы.

Впечатление это особенно глубоко запало мне в душу на одном вечере в *Chaussée d'Antin*. Это был блестящий вечер; все традиционные элементы общественных увеселений были налицо: достаточно огней для освещения, достаточно зеркал, чтобы смотреться, достаточно людей, чтобы разогреться в толкотне, достаточно прохладительных напитков и мороженого, чтобы освежиться. Начали с музыки. К фортепиано потащили Франца Листа. Взъерошив волосы над гениальным лбом, он дал одно из самых блестящих своих сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если я не ошибаюсь, он сыграл один пассаж из «Палингенезий» Балланша, идеи которого он перевел на язык музыки, что было очень полезно для тех, кто не читал трудов этого зна-

менитого писателя в подлиннике. Затем он сыграл шествие на казнь, *la marche au supplice* Берлиоза, прекрасную вещь, которую этот юный музыкант сочинил, если не ошибаюсь, утром в день своей свадьбы. Повсюду в зале — побледневшие лица, волнующиеся груди, легкие вздохи во время пауз и, наконец, бурное одобрение. Женщины всегда словно хмелеют после игры Листа. С бешеной радостью пустились они в пляс, эти салонные Виллис, так что мне лишь с трудом удалось выбраться из поднявшейся сутолоки в соседнюю залу. Здесь шла игра, и на больших креслах расположились несколько дам, которые следили за играющими или, по крайней мере, делали вид, что интересуются игрой. Проходя мимо одной из этих дам и задев ее платье рукавом, я почувствовал, как по моей руке пробежало вверх до самого плеча легкое сотрясение, точно от слабого электрического разряда. Но с величайшей силой потрясено было мое сердце, когда я взглянул даме в лицо. Она это или нет? Это было то же самое лицо, чертами и солнечным колоритом напоминающее античную статую, но оно не было уже, как прежде, мраморно-чистым и мраморно-гладким. При внимательном взгляде можно было заметить на лбу и щеках маленькие шероховатости, быть может, следы оспы, совершенно похожие на те легкие пятна сырости, которые видны бывают на лице статуй, долгое время подвергавшихся действию дождя. Это были те же черные волосы, которые гладкими, закругленными прядями, похожими на крылья ворона, закрывали ее виски. Но когда глаза ее встретились с моими, бросив на меня тот хорошо знакомый боковой взгляд, быстрая молния которого так загадочно всегда пронизывала мне душу, я уже больше не сомневался: это была мадемуазель Лоранс.

В изящно-небрежной позе откинувшись в кресле, мадемуазель Лоранс одной рукой опиралась на ручку кресла, а в другой держала букет цветов. Она сидела недалеко от игорного стола, и, повидимому, все ее внимание было поглощено картами. Изящен и наряден был ее костюм, и вместе с тем совершенно прост, весь из

белого атласа. На ней не было никаких драгоценностей, за исключением браслетов и жемчужной брошки на груди. Пышные кружева закрывали ее юную грудь пуритански до самой шеи, и простотой и целомудрием своего туалета она представляла трогательно-милый контраст с некоторыми более пожилыми дамами, которые сидели возле нее пестро разряженные, сверкая бриллиантами, и меланхолически обнажали взору руины своего бывшего великолепия — то место, где некогда стояла Троя. Мадемуазель Лоранс попрежнему была изумительно красива и попрежнему имела восхитительно сердитый вид. Меня неудержимо влекло к ней, и, в конце концов, я очутился позади ее кресла, горя желанием заговорить с ней и не решаясь это сделать из какой-то робкой деликатности.

Я, вероятно, уже довольно долго молча стоял позади нее, как вдруг она выдернула из своего букета цветок и, не оглядываясь, протянула мне его через плечо. Этот цветок издавал какой-то особенный аромат, от которого как бы исходили на меня волшебные чары. Я почувствовал себя освобожденным от всех светских условностей, и это было словно во сне, когда мы говорим и делаем всякого рода вещи, изумляющие нас самих, и когда наши слова приобретают характер детской доверчивости и простоты. Спокойно, равнодушно и небрежно, как это ведется между старыми друзьями, перегнулся я через спинку кресла и прошептал на ухо молодой даме:

— Мадемуазель Лоранс, где же мамаша с барабаном?

— Она умерла, — ответила она тем же тоном, так же спокойно, равнодушно и небрежно.

После небольшой паузы я снова наклонился над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

— Мадемуазель Лоранс, а где ученая собака?

— Она вырвалась на волю, — ответила она опять так же спокойно, равнодушно и небрежно.

И снова, после короткой паузы, наклонился я над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

— Мадемуазель Лоранс, а где же мосье Тюрлютю, карлик?

— Он у великанов на бульваре du Temple, — отвечала она. Но едва она произнесла эти слова опять все тем же спокойным, равнодушным, небрежным тоном, как к ней подошел старый солидный господин высокого роста, с военной выправкой, и сообщил, что ее карета подана. Медленно поднявшись с кресла, она оперлась на его руку и, не бросив на меня ни одного взгляда, покинула вместе с ним общество.

Я подошел к хозяйке дома, которая весь вечер стояла у входа в главную залу и дарила своей улыбкой каждого из входящих и уходящих гостей, и осведомился у нее об имени юной особы, только что вышедшей в сопровождении старого господина, но она весело расхохоталась мне в лицо и воскликнула:

— Бог мой! Разве можно всех знать? Я знаю его столь же мало, как... — Она запнулась, так как, наверное, собиралась сказать: столь же мало, как и вас самих. — Меня она также видела в этот вечер в первый раз.

— Быть может, — заметил я, — ваш супруг мог бы сообщить мне какие-либо сведения; где я могу найти его?

— На охоте в Сен-Жермене, — ответила дама, смеясь еще сильнее, — он уехал сегодня утром и вернется лишь завтра вечером... Но постойте, я знаю человека, который долго разговаривал с интересующей вас дамой; я забыла его имя, но вы легко его разыщете, если будете расспрашивать о молодом человеке, которому Казимир Перье дал пинок ногою, не помню, куда.

Как ни трудно найти человека по одному только признаку, что он получил пинок от министра, я все же быстро отыскал, кого мне было нужно, и обратился к молодому человеку с просьбой дать мне более подробные сведения о странном существе, которое меня так интересовало и которое я сумел описать ему достаточно отчетливо.

— Да, — сказал молодой человек, — я знаю ее очень хорошо; я беседовал с ней на многих вечерах, — и он

повторил мне кучу ничего не говорящих вещей, которыми он ее развлекал. Его особенно поражало то, что она оставалась совершенно серьезной каждый раз, когда он отпускал ей какую-нибудь любезность. Немало удивляло его также то, что она всегда отклоняла его приглашение на контрданс, уверяя, что не умеет танцевать. Как ее зовут и откуда она, он не знал. И к кому я ни обращался с расспросами, никто не мог сообщить мне об этом какие-либо сведения. Напрасно бегал я на всевозможные вечера, нигде уж больше не удалось мне встретить мадемуазель Лоранс.

— И это вся история? — воскликнула Мария, медленно повернувшись и сонно зевая. — Это и есть вся ваша замечательная история? И с той поры вы никогда уже больше не встречали ни мадемуазель Лоранс, ни мамашу с барабаном, ни карлика Тюрлютю, ни ученой собаки?

— Лежите, лежите спокойно, — ответил Максимилиан. — Я снова увидел их всех, даже ученого пса. Правда, этот последний был, бедняга, в самом отчаянном положении, когда я встретился с ним в Париже. Это было в Латинском квартале. Я как раз проходил мимо Сорбонны, как вдруг из ворот ее выскочила собака, а за нею дюжина вооруженных палками студентов, к которым вскоре присоединились две дюжины старух, и все хором кричали: «Бешеная собака!» Почти по-человечески выглядело несчастное животное, охваченное смертельным ужасом; вода текла из его глаз, точно это были слезы, и когда, с хрипением пробегая мимо, оно бросило на меня свой влажный взгляд, я узнал в нем моего старого друга, ученого пса, который некогда слагал хвалу лорду Веллингтону и приводил в изумление народ Англии. Действительно ли он взбесился? Или свихнулся от того, что чрезмерно нахватался учености, продолжая курс своего обучения в Латинском квартале? Или, быть может, находясь в Сорбонне, он выразил своим царпананием и ворчанием неодобрение надутому шарлатанству какого-нибудь профессора, и этот последний постарался избавиться от

нежелательного слушателя, объявив его бешеным? Но-увы! Молодежь не расследует долго, что именно продиктовало первый крик «бешеная собака!» Скрывалось ли за этим уязвленное самомнение ученого педанта или просто зависть конкурента, — она бросается колотить собаку своими дурацкими палками; старые бабы, как водится, тотчас присоединяются к ней со своими воплями и легко заглушают голос невинности и разума. Мой бедный друг был обречен; на моих глазах он был безжалостно убит, поруган и, наконец, выброшен в невозную кучу! Бедный мученик науки!

Немногом веселее оказалось положение карлика, мосье Тюрлютю, когда я его нашел на бульваре du Temple. Хотя мадемуазель Лоранс и сказала мне, что он находится там, но, быть может, я недостаточно внимательно искал или же мне мешала сновавшая взад и вперед толпа, только я лишь очень не скоро заметил помещение, в котором показывались великаны. Войдя туда, я нашел там двух длинных бездельников, которые праздно валялись на нарах, но при моем приближении быстро вскочили и стали в позы великанов. Они вовсе не были так велики, как хвастливо было расписано в афише. Это были два долговязых парня, которые расхаживали, одетые в розовое трико, носили очень черные, быть может, фальшивые бакенбарды и вращали над головами деревянные дубины, выдолбленные внутри. Когда я спросил их о карлике, о котором тоже было оповещение в афише, они ответили, что его уже четыре недели не показывают по причине его все усиливающегося недомогания, но что я могу его все-таки увидеть, если заплачу двойную входную плату. Как охотно соглашаешься на двойную входную плату, чтобы повидаться со старым другом! Но увы! Я застал друга на смертном одре. Этот смертный одр был в сущности детской колыбелью, и в ней лежал бедный карлик со своим желтым, сморщенным, старческим лицом. Рядом сидела маленькая девочка, лет четырех, и, покачивая колыбель ногою, напевала шаловливо смеющимся голоском:

— Спи, Тюрлютюшечка, спи!

Когда карлик заметил меня, он раскрыл, насколько мог шире, свои стеклянные, тусклые глаза, и скорбная усмешка мелькнула на побледневших губах его; он, повидимому, сразу узнал меня, протянул мне свою высохшую ручку и тихо прохрипел:

— Старый друг!

Да, в печальном положении очутился этот человек, который уже на восьмом году жизни имел длинную беседу с Людовиком XVI, которого царь Александр кормил конфетами, принцесса Киритц начала на коленях, которого обожал папа и никогда не любил Наполеон. Это последнее обстоятельство озабочивало несчастного даже на его смертном одре, или, как я уже сказал, в его смертной колыбели. Он оплакивал трагическую судьбу великого императора, который никогда его не любил, но так печально закончил свою жизнь на Святой Елене.

— Совсем, как я кончаю теперь мою жизнь, — прибавил он, — одинокий, непризнанный, покинутый всеми королями и князьями, карикатура бывшего величия.

Хотя я и не мог толком понять, что общего между карликом, умирающим среди великанов, и великаном, умершим среди карликов, тем не менее меня очень растрогали слова бедного Тюрлютю и его полная заброшенность в смертный час. Я не мог удержаться и выразил удивление, почему мадемуазель Лоранс, достигшая теперь такого высокого положения, не позаботилась о нем. Едва я произнес это имя, как карлика в его колыбели потрясли жестокие судороги и его белые губы со стоном пролепетали: — Неблагодарное дитя, которое я воспитал, которое я хотел возвысить, сделал своей супругой, которое я учил, как надо держать себя с великими мира сего, как улыбаться, как кланяться при дворе, как представляться!.. Ты хорошо воспользовалась моими советами, ты теперь важная дама, у тебя своя карета, лакеи и много денег, много гордости, но нет сердца. Ты даешь мне здесь умереть, в одиночестве и нищете, как умер Наполеон на Святой Елене!

О, Наполеон, ты никогда меня не любил... — Я не мог разобрать, что он еще прибавил. Он поднял голову, сделал рукою несколько движений, как будто с кем-то фехтовал, быть может, со смертью. Но косе этого противника не в силах противостоять ни один человек, — ни Наполеон ни Тюрлютю. Тут не помогают никакие парады. Бледный, словно потерпевший поражение, карлик снова опустил свою голову, устремил на меня продолжительный, неопишимо жуткий взгляд, внезапно закричал петухом и испустил дух.

Эта смерть опечалила меня особенно сильно еще потому, что усопший не успел сообщить мне никаких более подробных сведений относительно мадемуазель Лоранс. Где мне теперь ее искать? Я не был в нее влюблен и не чувствовал к ней даже какого-либо особого расположения, тем не менее, загадочное желание повсюду разыскивать ее все время точило меня. Стоило мне войти в гостиную и, осмотрев собравшееся общество, убедиться, что здесь нет ее знакомого лица, как я быстро терял всякий покой и какая-то сила снова гнала меня на новые поиски. Размышляя об этом чувстве, стоял я как-то в полночь у одного из отдаленных входов в Большую оперу и ожидал кареты, так как лил сильный дождь. Но кареты не было, или, вернее, подъезжали лишь кареты, принадлежавшие другим людям, которые с удовольствием садились в них и отъезжали, так что мало-по-малу вокруг меня стало довольно пустынно.

— Видно, придется вам ехать со мною, — произнесла, наконец, одна дама, вся закутанная в черную мантилью; она также ждала некоторое время экипажа, стоя подле меня, и теперь как раз собиралась сесть в карету. При звуке этого голоса сердце мое вздрогнуло, хорошо знакомый, искоса брошенный взгляд вновь оказал свое обычно волшебное действие, и опять я почувствовал себя как во сне, очутившись в мягкой теплой карете рядом с мадемуазель Лоранс. Мы не сказали ни слова, да и не могли бы услышать друг друга, если бы вздумали разговаривать, так как карета ехала по улицам Парижа с ужасающим шумом,

ехала очень долго, пока не остановилась, наконец, перед большим подъездом.

Слуги в блестящих ливреях освещали нам путь, пока мы поднимались по лестнице и проходили через ряд комнат. Горничная, вышедшая навстречу с заспанным лицом, запинаясь, с бесчисленными извинениями, сообщила, что натоплено только в красной комнате. Лоранс, кивнув служанке, чтобы она уходила, смеясь, произнесла: — Случай заводит вас сегодня далеко: только в моей спальне топили печь...

В этой спальне, где мы вскоре остались одни, ярко пылал камин, и это было особенно приятно, потому что комната была чудовищно велика и высока. Эта огромная спальня, которой скорее подходило бы название спальной залы, казалась какой-то нежилой, пустынной. Мебель и украшения, все носило на себе отпечаток того времени, блеск которого представляется нам теперь таким запыленным, величие которого кажется нам таким сухим. Реликвии этого времени производят на нас неприятное впечатление и возбуждают даже скрытую усмешку. Я говорю об эпохе Империи, эпохе золотых орлов, высоко развевающихся султанов, греческих причесок, славы тамбур-мажоров, военных месс, официального бессмертия, декретируемого *Moniteur*'ом, континентального кофе, которое готовляли из цикория, плохого сахара, который фабриковали из свекловицы, и принцев и герцогов, которых делали из ничего. Но оно все же имело свою привлекательность, это время патетического материализма... Тальма декламировал, Гро писал картины, Биготтини танцевала, Грассини пел, Мори произносил проповеди, Ровиго управлял полицией, император читал Оссиана, Полина Боргезе позировала в качестве Венеры, и притом совершенно нагая, ибо комната была хорошо натоплена, так же, как та спальня, в которой мы находились с мадемуазель Лоранс.

Мы сидели у камина, дружески болтая, и со вздохом она рассказывала мне, что вышла замуж за бонапартовского героя, который каждый вечер перед отходом ко

сну угощал ее описанием одной из пережитых им битв; несколько дней тому назад, перед тем, как уехать, он изложил ей сражение под Иеной; здоровье его очень плохо, и едва ли он переживет русский поход. Когда я спросил ее, давно ли умер ее отец, она рассмеялась и сказала, что отца она никогда не знала и что ее так называемая мать никогда не была замужем.

— Как не была замужем? — воскликнул я, — да ведь в Лондоне я собственными глазами видел ее в глубоком трауре по умершем муже!

— О, — возразила Лоранс, — она в течение двенадцати лет всегда одевалась во все черное, чтобы в качестве несчастной вдовы возбуждать сострадание в людях, а кстати, если удастся, соблазнить какого-нибудь склонного к женитьбе простофилю; под черным флагом она рассчитывала скорее причалить к гавани супружества. Но одна только смерть сжалилась над нею, и она умерла от кровотечения. Я никогда ее не любила, так как получала от нее много колотушек и мало пищи. Я умерла бы с голода, если бы мосье Тюрлютю не приносил мне иногда потихоньку кусочек хлеба; но карлик требовал в награду за это, чтобы я вышла за него замуж, и когда его надежды рухнули, он соединился с моей матерью, — я говорю «матерью» только по привычке, — и они общими силами стали меня мучить. Они говорили всегда, что я совершенно лишнее существо, что ученая собака стоит в тысячу раз больше, чем я с моими плохими танцами. Мне назло они осыпали собаку похвалами, превозносили ее до небес, гладили, кормили пирожными, а мне бросали объедки. Собака, говорили они, их самая главная опора, она восхищает публику, которая нисколько не интересуется мною; собака кормит меня своим трудом, я питаюсь подаванием собаки. Проклятая собака!

— О, не проклиняйте ее больше, — прервал я ее гневную речь, — ее уже нет, и я присутствовал при ее смерти...

— Околела, скотина? — воскликнула, вскакивая, Лоранс, с лицом, разгоревшимся от радости.

— Да, и карлик также умер, — прибавил я.

— Мосье Тюрлютю! — вскричала Лоранс также с радостью. Но мало-по-малу радость эта исчезла с ее лица, и более мягко, почти печально, она, наконец, прибавила: — Бедный Тюрлютю!

Я не скрыл от нее, что карлик, умирая, горько жаловался на ее жестокость. Тогда она пришла в сильнейшее волнение и стала всячески уверять меня, что имела намерение вполне обеспечить карлика, предлагала ему полное содержание, с условием, что он будет тихо и скромно жить где-нибудь в провинции. Но этот честолюбец, — продолжала Лоранс, — хотел во что бы то ни стало остаться в Париже и даже жить в моем отеле; он говорил, что рассчитывает возобновить при моем посредстве свои бывшие связи в Сен-Жерменском предместье и снова занять свое прежнее блестящее положение в обществе. Когда я ему наотрез отказала в этом, он велел передать мне, что я — проклятое привидение, вампир, отродье покойницы...

Лоранс внезапно умолкла, задрожала всем телом и, наконец, произнесла с глубоким вздохом: — Ах, лучше бы они оставили меня в могиле вместе с моей матерью!

Когда я настойчиво стал просить ее объяснить мне эти загадочные слова, из глаз ее ручьем полились слезы; с трепетом и рыданиями она призналась мне, что черная женщина с барабаном, выдававшая себя за ее мать, ей сама раз заявила, что слухи относительно ее рождения не были пустой выдумкой. — В городе, где мы жили, — продолжала Лоранс, — меня все звали отродьем покойницы! Старухи уверяли, что я на самом деле дочь одного тамошнего графа, который всю жизнь очень жестоко обращался со своей женой. Когда же она умерла, он устроил ей пышные похороны. Но она была в последнем месяце беременности и только впала в летаргический сон. Случилось так, что кладбищенские воры, желая похитить драгоценные украшения погребенной, разрыли могилу и застали ее еще живою, в родовых муках. Разрешившись от бремени, она тотчас умерла, и воры опять положили ее в гроб, а ребенка

взяли с собой и отдали на воспитание укрывательнице краденого в их шайке и любовнице великого чревовещателя. Этого бедного ребенка, которого похоронили раньше, чем он родился, все называли «отроде покойницы»... Ах, вы никогда не поймете, сколько горя пережила я, когда была еще совсем маленькой девочкой, оттого, что меня так называли. Пока великий чревовещатель еще был жив, он часто сердился на меня и всегда кричал: «Проклятое отроде покойницы, лучше бы я не вытаскивал тебя из гроба». Так как он был искусный чревовещатель, то он умел так изменять свой голос, что казалось, будто голос выходит из-под земли. И тогда чревовещатель уверял меня, что это голос моей покойной матери и что она рассказывает мне про свою судьбу. Он-то сам хорошо знал ужасную ее судьбу, потому что был когда-то камердинером у графа. Ему доставляло жестокое удовлетворение, когда он видел, с каким безумным ужасом бедная маленькая девочка прислушивается к речам, которые доносятся как будто из-под земли. Эти речи, казалось, шедшие из-под земли, рассказывали страшные истории, истории, которые я не вполне могла понять и которые мало-по-малу забывала; но они снова ярко воскресали передо мной, когда я танцевала. Да, когда я танцевала, меня всегда охватывало странное воспоминание, я забывала себя, мне казалось, что я совсем другое лицо, что меня терзают муки и тайны этого другого лица... Но как только я переставала танцевать, все это снова погасало в моей памяти.

В то время как Лоранс медленно и каким-то странным, полувопросительным тоном произносила эти слова, она стояла передо мной у камина, где все ярче разгоралось пламя; я сидел в кресле, — вероятно, обычном месте ее супруга, когда он по вечерам, перед отходом ко сну, рассказывал ей о своих сражениях. Лоранс смотрела на меня своими большими глазами, словно прося совета; она склоняла голову с такой скорбной думой; она возбуждала во мне такое благородное, сладостное чувство жалости; она была так стройна, так

молода, так прекрасна, эта лилия, выросшая из могилы, это дитя смерти, это привидение с лицом ангела и телом баядерки. Не знаю, как это случилось, — быть может, тут сказалось влияние кресла, в котором я сидел, — но мне внезапно почудилось, что я — старый генерал, который вчера, сидя здесь, описывал битву при Иене, мне показалось, что я должен продолжать свой рассказ, и я произнес: — После битвы при Иене, в течение немногих недель, почти без перестрелок, сдались все прусские крепости. Сначала сдался Магдебург; это была самая сильная крепость, и у нее было триста пушек. Разве это не позорно?

Но мадемуазель Лоранс не дала мне больше говорить; мрачное выражение улетело с ее прекрасного лица, она расхохоталась, как дитя, и воскликнула: — Да, это позорно, это более чем позорно! Если бы я была крепостью и у меня было бы триста пушек, я никогда бы не сдалась!

Но так как мадемуазель Лоранс не была крепостью и не имела трехсот пушек...

После этих слов Максимилиан вдруг остановился и, сделав небольшую паузу, тихо спросил:

— Вы спите, Мария?

— Я сплю, — ответила Мария.

— Тем лучше, — сказал Максимилиан с тонкой улыбкой, — в таком случае мне нечего бояться, что вы соскучитесь, если я, по обычаю современных новеллистов, несколько подробнее опишу меблировку той комнаты, в которой я находился.

— Не забудьте только кровать, дорогой друг!

— Это была, действительно, роскошная кровать, — возразил Максимилиан. — Ножками ее, как всегда в кроватях стиля ампир, служили кариатиды и сфинксы; она вся блестела роскошной позолотой; особенно выделялись золотые орлы, которые нежно целовались клювами, точно голуби, являясь как бы символом любви в эпоху ампир. Полог кровати был из красного шелка, и пламя камина так ярко просвечивало сквозь него, что мы с Лоранс были освещены огненно-крас-

ным светом, и мне представлялось, что я — бог Плутон, окруженный адскими огнями и держащий спящую Прозерпину в своих объятиях. Она спала, а я рассматривал ее милое лицо и старался в ее чертах найти объяснение той симпатии, которую чувствовала к ней моя душа: Что же такое эта женщина? Какой смысл скрывается под символикой этих прекрасных форм?

Прелестная загадка кротко лежала теперь в моих объятиях, принадлежала мне и все-таки оставалась неразгаданной.

Не безумно ли, однако, пытаться разгадать внутренний смысл другого существа, в то время как мы не в состоянии разрешить загадки нашей собственной души? Ведь мы не знаем даже достоверно, существуют ли на самом деле другие существа! Бывает ведь порою, что мы не в состоянии отличить реальную действительность от бредовых образов. Что это было, игра фантазии или страшная правда, — то, что я видел и слышал в ту ночь? Не знаю. Я припоминаю только, что в то время как самые дикие мысли носились в моей душе, ухо внезапно уловило какой-то странный шум. Это была сумасшедшая, чуть слышная мелодия. Она показалась мне очень знакомой, и под конец я уловил звуки треугольника и барабана. Треньканье и жужжание этой музыки доносились как будто совсем издалека, и, однако, когда я оглянулся, я увидел совсем близко перед собой, посреди комнаты, знакомое зрелище: это был мосье Тюрлютю, карлик, игравший на треугольнике, в то время как мамаша била в барабан, а ученая собака шарила по полу, как будто пытаясь снова сложить свои деревянные буквы. Собака двигалась, казалось, лишь с большим трудом, и шерсть ее была вся в крови. Мамаша была попрежнему одета в свое черное траурное платье; но живот ее уже не выпячивался так комично вперед, а отвратительно свисал вниз; точно так же лицо ее было уже теперь не красное, а бледное. Карлик, на котором попрежнему был расшитый кафтан французского маркиза старого времени и напудренный парик, казался слегка подростшим, быть может потому,

что он страшно исхудал. Он попрежнему показывал фокусы фехтовального искусства и, повидимому, снова шамкал свои старые хвастливые речи; однако он говорил так тихо, что я не мог разобрать ни одного слова и только по движению его губ порою угадывал, что он пел петухом.

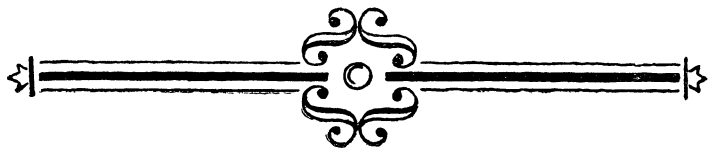
В то время как эти комически-странные, кошмарные фигуры, словно китайские тени, безумным вихрем пронеслись перед моими глазами, я почувствовал, что мадемуазель Лоранс начинает дышать все беспокойнее. Ледяной озноб потрясал ее всю, и словно от нестерпимой боли содрогалось прелестное тело. Наконец, гибкая, как угорь, она выскользнула из моих рук, внезапно очутилась посреди комнаты и начала танцевать под тихую, заглушенную музыку барабана мамыши и треугольника карлика. Она танцевала совершенно так же, как некогда у моста Ватерлоо и на перекрестках лондонских улиц. Это были те же самые таинственные пантомимы, те же порывистые, страстные прыжки, то же вакхическое закидывание головы, порою принижение к земле, словно она хотела расслышать, что говорят ей снизу, затем дрожь, бледность, каменная неподвижность, и снова она склонялась к земле, чутко прислушиваясь. Точно так же терла она опять свои руки, как будто хотела их вымыть. Наконец, она, повидимому, снова бросила на меня свой глубокий, страдающий, полный мольбы взгляд... но только в чертах ее смертельно бледного лица уловил я этот взгляд, а не в глазах, которые все время оставались закрытыми. Все тише и тише звучала музыка: мамыша с барабаном и карлик мало-по-малу бледнели и рассеивались, как туман, и, наконец, совершенно исчезли; но мадемуазель Лоранс все еще оставалась посреди комнаты и продолжала танцевать с закрытыми глазами. Этот танец с закрытыми глазами в ночной тишине комнаты придавал этому милому существу такой жуткий призрачный вид, что мне стало не по себе; я не раз содрогался и был от души рад, когда она закончила свою пляску и снова скользнула в мои объятия

таким же гибким движением, каким раньше покинула меня.

Я должен сознаться, что эта сцена произвела на меня далеко не приятное впечатление. Но человек ко всему привыкает. Возможно, что злоеющая таинственность этой женщины придавала ей особенную привлекательность, что к моим чувствам примешивалась нежность, полная жуткого трепета... Как бы то ни было, через несколько недель я уже ничуть не удивлялся, когда ночью раздавались тихие звуки треугольника и барабана и моя дорогая Лоранс внезапно вставала и с закрытыми глазами начинала танцевать свое соло. Ее супруг, старый бонапартист, командовал частью, расположенной в окрестностях Парижа, и служба позволяла ему проводить в городе только дневные часы. Само собой разумеется, я сделался его самым задушевным другом, и он горько плакал, когда ему пришлось надолго расстаться со мной. Дело в том, что он должен был уехать с женой в Сицилию, и я никогда больше их обоих не видел.

Окончив свой рассказ, Максимилиан быстро схватил шляпу и выскользнул из комнаты.

СТАТЬИ



РОМАНТИКА

Что непостижимо для бессилия — то мечты.

А.-В. фон-Шлегель.

В номерах 12, 14 и 27 «Kunst und Unterhaltungsblatt» помещена старая, однакож вновь подогретая и прокомментированная сатира на романтику и романтическую форму. Хотя на подобную сатиру следовало бы, собственно, ответить только сатирой, но тут возникает вопрос: можно ли этим помочь самому делу? В номере 124 «Hallische allgemeine Literatur-Zeitung» помещена рецензия на такую контрсатиру, действовавшую на противную партию, видимо, так же, как сатиры карфункелей и солярисов на романтиков, а именно — они пожали плечами. Поэтому, — по крайней мере, я не желал бы говорить о предмете, от которого почти исключительно зависит совершенствование немецкого слова, не надеясь принести этим пользу, — то есть шутки ради. Ведь когда бьют по сюртуку, то удары приходится и по человеку, на котором надет этот сюртук, и когда насмеваются над поэтической формой немецкого слова, то легко может проскочить многое такое, что оскорбит и само немецкое слово. А это слово ведь наше священное достояние, пограничный столб Германии, которого не в силах сдвинуть ни один коварный сосед, глашатай свободы, которого не сможет заставить замолчать ни один иноземный тиран, орфламма в борьбе за отечество, само отечество для тех, кому глупость и вероломство отказывают в отечестве.

Поэтому я намерен в немногих словах, без полемических выпадов и без всякого смущения изложить здесь

мои субъективные воззрения на романтику и романтическую форму.

В древности, т. е. собственно у греков и римлян, преобладала чувственность. Люди жили по большей части во внешнем созерцании, и целью, а в то же время и средством прославления в их поэзии было по преимуществу внешнее, объективное. Но как только на востоке воссиял более прекрасный и кроткий свет, как только у людей появилось предчувствие, что существует нечто лучшее, чем чувственное опьянение, как только начала проникать в души неизъяснимо отрадная идея христианства — любовь, — у людей появилось стремление выразить и воспеть словом тайный этот трепет, бесконечную эту тоску и вместе с тем бесконечное блаженство. Но напрасно пытались старыми словами и образами выразить новые чувства. Нужно было создать новые слова и образы, и как раз такие, которые посредством сокровенного симпатического родства с этими новыми чувствами во всякое время пробуждали бы их в душе и как бы заклинаниями вызывали их наружу. И таким образом возникла так называемая романтическая поэзия, которая расцвела самым прекрасным цветом в средние века, затем печально поникла под холодным дыханием военных и религиозных бурь и в новее время чудесно возросла на немецкой почве и распустила прелестнейшие свои цветы. Правда, романтические образы должны больше пробуждать, чем характеризовать. Но никогда и ни под каким видом не является истинной романтикой то, что многие выдают за нее, а именно: месиво из испанской яркости, шотландских туманов и итальянского бренчанья, спутанные и расплывчатые, словно выпущенные из волшебного фонаря, образы, что так странно возбуждают и улаживают душу пестрой игрой красок и необыкновенным освещением. Поистине, образы, которым надлежит вызывать подлинные романтические чувства, должны быть столь же прозрачны и столь же четко очерчены, как и образы пластической поэзии. Эти романтические образы уже сами по себе должны быть

отрадны: они драгоценные золотые ключи, коими, как говорят старые сказки, открывали прелестные сады фей. — Вот потому-то наши величайшие романтики Гете и А.-В. Шлегель — в то же время наши величайшие пластики. В гетевском «Фаусте» и песнях те же тонкие очертания, что и в «Ифигении», «Германе и Доротеи», в элегиях и т. д.; и в романтических произведениях Шлегеля те же определенные и резкие контуры, как и в его поистине пластическом «Риме». О, если бы это могло, наконец, воодушевить тех, кто так охотно именует себя шлегельянами!

Но многие, заметившие, какое огромное влияние на романтическую поэзию оказало христианство, а вследствие этого и рыцарство, полагают, что им следует подмешивать то и другое в свои произведения, дабы придать им романтический характер. Однако я думаю, что христианство и рыцарство были лишь средством ввести романтику; ее пламя уже давно пылает на алтаре нашей поэзии; еще ни один священнослужитель не должен подливать туда священный елей, и больше ни один рыцарь не должен стоять там на страже. Германия теперь свободна; ни один поп не может заточить в темницу немецкие умы; ни один благородный дворянчик не в праве больше кнутом гнать на барщину немецкие тела, и потому также немецкая муза снова должна стать свободной, цветущей, неафектированной, честной немецкой девушкой, а не быть томной монашенкой или кичащейся предками рыцарской девой.

О, если бы это мнение разделялось многими, тогда скоро бы затихли все споры романтиков с пластиками. Но немало еще завянет лавров, прежде чем на нашем Парнасе вновь зазеленеет оливковая ветвь.



СМЕРТЬ ТАССО

Трагедия в пяти действиях Вильгельма Сметса. Кобленц,
у Гёльшера. 1819.

Это произведение, при первом непредубежденном прочтении, так приятно развлекло и мило порадовало нас, что нам, право, трудно критически судить о нем с необходимой холодностью — согласно правилам и требованиям драматического искусства, добросовестно точно, подавляя индивидуальные впечатления, определить его внутренние достоинства и строгой рукой раскрыть его недостатки и погрешности. Откровенно говоря, нам думается, что, занявшись таким делом, мы будем не совсем непохожи на того недовольного ворчуна, что в полуденный зной обрел освежающее пристанище под густолиственной яблоней, освежил пересохший рот ее плодами, поразвлекся щебетом птиц, перепархивавших с ветки на ветку, но под вечер брюзгливо поднялся на ноги и принялся рассуждать о дереве, бормоча: какое это было жалкое ложе, какие терпкие, дикие яблоки, какое несносное чириканье воробьев и т. д. Вместе с тем рецензирование имеет и свою хорошую сторону. В этом году на Парнасе такое множество диковинных деревьев, что представляется необходимым, как это заведено в ботанических садах, выставить подле каждого белую табличку, на которой гуляющий может прочесть: под этим деревом можно приятно отдохнуть; на этом дереве растут отличные плоды; на этом поют соловьи; — а равно: на этом растут неселые, бесвкусные и ядовитые плоды; под этим деревом пахнет одуряющим ладаном; под этим по ночам бродят старые

привидения рыцарей; на этом свищет продувная птица; под этим деревом можно хорошо уснуть.

Выше мы упомянули, что собираемся судить лежащую перед нами трагедию согласно правилам драматургии. Но так как в отношении их даже крупнейшие наши эстетика не согласны между собой, то будет слишком самонадеянно, ежели мы сочтем наше собственное мнение единственно справедливым, а так как нам не хотелось бы субъективностью взгляда бессознательно умалить заслугу автора, то безусловное суждение о достоинствах его произведения мы выскажем не раньше, чем коротко поясним, какими эстетическими положениями мы руководствуемся. Сообразно с этим мы будем судить предлагаемую трагедию с трех точек зрения: драматической, поэтической и этической.

Лирика — первый и древнейший род поэзии. Как у целых народов, так и у отдельных людей первые поэтические вспышки всегда лиричны. Ходячие приличные метафоры кажутся тогда поэту слишком избитыми и холодными, и он хватается за непривычные, импозантные образы и сравнения, чтобы живо представить как свои субъективные чувства, так и впечатления, полученные им субъективно от внешних предметов. Существуют индивидуумы и целые народы, которые не пошли дальше этого рода поэзии. У тех и других это указывает на младенческое состояние духа или плоскую односторонность. Но коль скоро поэт достигает известной умственной зрелости, коль скоро его духовный взор начинает глубже проникать во внутреннюю механику внешних предметов и событий и его дух вмещает в себя совокупное представление об этом внешнем мире, тотчас возникает у поэта новое стремление — представить эти внешние предметы в их объективной ясности, без примеси субъективных чувств и воззрений, поэтически прекрасно. Так возникает эпическая и драматическая поэзия.

Некоторые способности, как это видно из сказанного, одинаково требует как один, так и другой род поэзии,

именно: общее представление о природе, отрешение от субъективности, точное живое описание событий, ситуации, страстей, характеров и т. д. Однако мы сделаем тут оговорку, нередко подтверждающуюся на опыте, что поэты, которые являются мастерами в одном роде поэзии, часто не в состоянии произвести ничего сносного в другом. Это наблюдение ведет нас к тому, чтобы исследовать, не возникает ли эта неудача оттого, что для одного рода поэзии потребны упомянутые таланты в меньшей степени, нежели для другого, и что, быть может, сущность этих обоих поэтических родов столь удивительно различна.

Если мы подстережем эпического и драматического писателя, каждого в своей мастерской, и понаблюдаем за их приемами, то ничего не будет легче, как ответить на этот вопрос. Конечно, эпический поэт носит в душе живейшее представление о своем материале, однако, он повествует просто, естественно, и хотя его рассказ по большей части представляет последовательное повествование, но часто является и повествованием о параллельно совершающемся, а нередко — с обратной последовательностью (предварение катастрофы). Он спокойно описывает местность, время, одежду своих героев и хотя заставляет их говорить, но вместе с тем передает их мины и движения, а порой из глубины его собственной души, его субъективности сверкнет молния и мгновенным светом озарит место действия и героев его эпоса. Эти субъективные вспышки, от которых не свободны оба лучшие наши эпические сказания, «Одиссея» и «Нибелунги», и которые, быть может, свойственны эпосу, уже говорят о том, что способность отрешения от субъективности для эпоса не необходима в столь высокой мере, как для драмы. В этом последнем поэтическом роде названная способность должна быть совершенной. Но это еще далеко не самое главное. Драма предполагает подмостки, где дело обстоит не так, что кто-то выходит и декламирует произведения, а где выступают сами герои произведения, живые, говорящие, совершающие поступки со-

образно своим характерам. При этом поэту только необходимо обозначить, что они говорят и как поступают. Но горе тому поэту, который забудет, что эти живые исполнители героев располагают правом группироваться и строить гримасы по своему усмотрению, что костюмер печется о красивых платьях, театральный живописец о красивых декорациях, капельмейстер о сумеречных чувствах, а ламповщик об ярком освещении. Все это никак не вмещается в голове эпического поэта, и когда он испытывает свои силы в драме, то запутывается в прекрасных описаниях местности, обрисовке характеров и излишне тонкой нюансировке. Наконец, драма не терпит никакой остановки, никакой параллельности, а тем более обратной последовательности, как в эпосе. Таким образом, основная черта драмы — живое и все более живо развертывающееся движение и переплетение диалога и движения.

Мы бегло наметили отличительные свойства эпоса и драмы, и всякому понятно, отчего так много поэтов с успехом переключиваются из области лирики в область эпоса: им не приходится здесь начисто отрекаться от своей субъективности, и посредством возможных опытов в романсе, элегии, романе и других подобных поэтических родах, состоящих из смещения эпического и лирического, они могут мало-по-малу привыкнуть к этому отрешению от субъективности или же обрести легкий переход к чистому эпосу, тогда как в драматической поэзии подобных переходных форм не существует и сразу требуется наистрожайшее подавление пробивающейся субъективности. Вместе с тем, очевидно, что привычка испытанного эпического поэта постоянно думать об описании местности, костюмов и т. п. делает его скверным драматургом, и потому хорошо, ежели поэт, желающий преуспеть в драматическом творчестве, прямо перейдет из области лирики в область драмы.

Мы с удовольствием отмечаем, что последнее как раз случилось с автором обсуждаемой трагедии, чьи лири-

ческие стихи так часто восхищали нас как своим внешним блеском, так и живой искренностью. Но как труден, как невыносимо труден переход от лирического к драматическому, это наш уважаемый автор испытал на себе, ибо первая его трагедия, что предшествовала «Тассо», совершенно не удалась. Однако честное признание этой неудачи, сделанное автором в предисловии к «Тассо», а также поразительное впечатление, которое произвела его последняя трагедия на тех, кто имел несчастье прочесть первую, все это дает нам право пренебречь многими недостатками «Тассо», удивляться быстрым, поступательным успехам автора, признать его уже завоеванный талант и показать ему издали венок, который никак не минует его, ежели он с теми же устремлениями пойдет дальше по этому пути.

Скромное разъяснение, предложенное в предисловии к «Тассо», обязывает нас, вместе с тем, старательно воздерживаться от какого бы то ни было сравнения с драмой Гете того же названия. Однако мы не преминем заметить, что происшествие, которое служит у Гете для создания катастрофы, также использовано и нашим автором, именно: Тассо, опьяненный любовным восторгом, обнимает Леонору д'Эсте. Как историческое событие, мы это происшествие принуждены отвергнуть. Лучшие биографы Тассо, как Серасси, а также (ежели мы не ошибаемся) Мансо, отрицают его. Только Муратори рассказывает нам эту сказку. Мы даже сомневаемся, что существовала когда-либо любовь между Тассо и принцессой Леонорой, бывшей на десять лет старше его. Вообще мы не можем безоговорочно принять общераспространенное мнение, что герцог Альфонс заточил несчастного поэта в дом умалишенных из чистого эгоизма, из страха умаления своей собственной славы. Разве это так неслыханно и непостижимо, чтобы у поэта помутился ум? Отчего бы нам не объяснить разumno возникновение этого безумия? Отчего бы, по крайней мере, не согласиться, что причина этого заточения заключена как в мозгу поэта, так и в сердце герцога? Впрочем, мы лучше сразу оставим всякие

исторические параллели: предположим, что фабула пьесы заранее известна в том виде, в каком она вошла в обращение, и посмотрим, как наш автор поступил со своим материалом.

Первое, что мы здесь отметим, это то, что автор вводит в игру Леонору, упомянутую Мансо и решительно отвергнутую Серасси. Этот удачный ход дает пьесе интересную, запутанную, драматическую интригу. Эта Леонора номер три, по имени Леонора ди-Жизелло, — компаньонка Леоноры де-Санвитале. Разговором этих обеих Леонор в дворцовом парке в Ферраре и открывается пьеса.

Леонора ди-Жизелло признается, что любит Тассо, и рассказывает, что располагает доказательством его взаимности. Графиня возражает ей, что это доказательство, покоящееся на том, что в песнях Тассо столь часто прославляется имя Леоноры, весьма двусмысленно, ибо это имя носят при дворе еще две других дамы — она сама и принцесса. Даже вероятнее всего, что прославлена принцесса. Графиня вспоминает тот день, когда Тассо поднес герцогу оконченную им поэму «Освобожденный Иерусалим», а принцесса:

... рукой проворною венки,
Венчавший бюст Вергилия, схватила
И на чело поэту возложила.
А тот склонил колени и главу,
Украшенную лавром наяву!
Он вздрогнул; как он ни склонился низко,
Я видела, как взор его пылал
И рвался ввысь, к принцессе; это было
Пределом высшим, для него возможным;
На тысячу венков капитолийских
Он этого венка не променял бы;
Тщеславный, он потом его повесил
У ложа своего, над головой.
С досадою глядит на все Альфонсо.
Он мнит свое величие задетым;
И как дознаться, что у них в душе?!

Является принцесса, она дразнит графиню тем, что имя Леонора так прославлено. В последующем монологе принцесса открывает свою любовь к Тассо. Он появляется и говорит о своей любви к ней:

П р и н ц е с с а

О, замолчите, Тассо, замолчите
Ради меня; и так я знаю все.

Т а с с о

Не можете вы знать, как я терзаюсь,
Как, для того, чтобы себя не выдать
И вас не выдать также, исхожу я
Любовью, как притворщик, сразу к трем,
И каждой одинаковым являюсь.

Он погружается в любовные мечты и уходит, когда приближается герцог. Последний язвительно намекает на их любовь; принцесса плачет, Альфонс уходит, Тассо возвращается: «Вы плачете, Элеонора?» Он воспламеняется гордой отвагой, приходит в замешательство, слагая томный сонет, и в любовном безумии обнимает принцессу. Меж тем, в глубине сцены появляется герцог в сопровождении графа Тирабо и нескольких дворян; он стремительно подходит к Тассо. Конец первого действия.

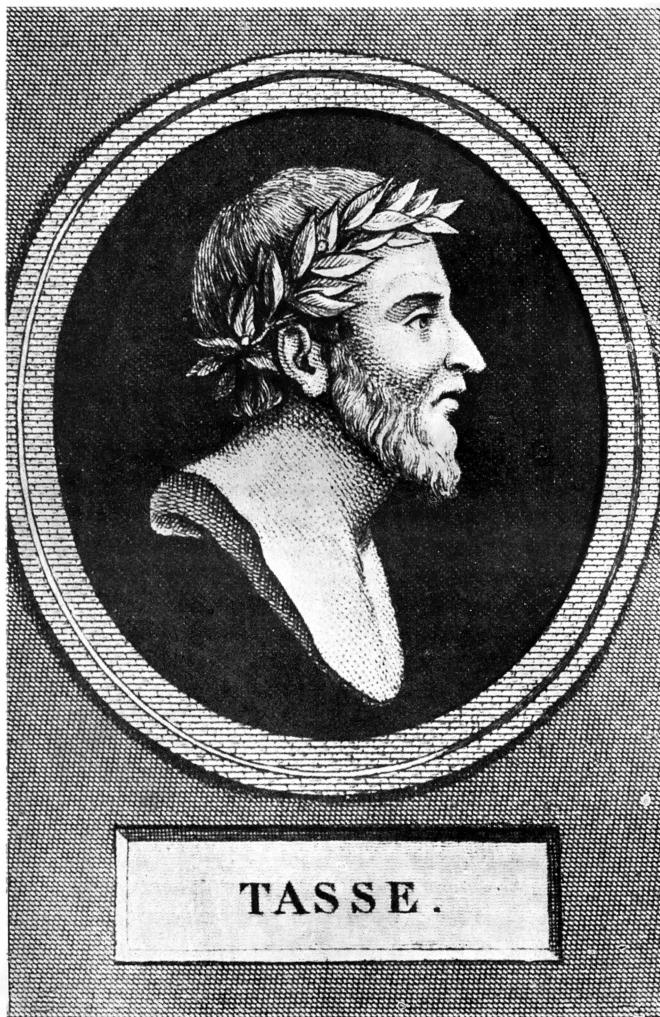
Принцесса в любовном томлении. Приходит графиня и рассказывает ей:

В покое после случая того
Оставил герцог нашего поэта.
Вы не могли б и сами объяснить
Личины этой, принятой Альфонсо.

После чего граф Тирабо пришел к Тассо и стал глумиться над ним, притворно сожалея. Тассо ударил его. —

Одумавшись, он предлагает биться
И шпагу обнажает во дворце.

— — — — —



Т. ТАССО

С гравюры Каню

Но граф сослался на величье места
И ждет поэта на валу Ленардо.

Там на Тассо нападают братья Тирабо, три коварных молодца, но он храбро защищается, однако под конец его берут под стражу. Слышны ликующие крики народа по случаю победы Тассо. Появляется герцог, оскорбляет сестру новыми колкостями и велит ей удалиться в ее покои. В следующем монологе он показывает себя в истинном свете:

Ушла; лишусь ее благоволения,
Но обрету признание других!
Я первый здесь, я властелин двора,
Я раздаю отличья, привлекаю
Со всей страны художества сюда,
Чтоб сообщить Ферраре блеск достойный;
Стекается сюда дворянства цвет
Полюбоваться красотою женщин,
Которых славит громкая молва.
Лишь я один при собственном дворе
Последний, незамечен я никем;
Все греются в лучах моей державы,
В тени величья моего ютятся,
Но всех манит блуждающий огонь,
Все одному внимают томно эхо:
То Тассо, мною призванный в Феррару;
Влачит он праздно дни свои, охоту
Убийством именует, созерцает
Не землю, где живет, а месяц в небе...
Пускай остережется! Хочет сбросить
Он герцогский покров мой; как бы в складках
Широких не запутаться ему!

Является граф Тирабо и открывает герцогу средство, как устроить, чтобы ему опять блистать одному. Средство это — удалить Тассо. Дать ему свободу, внушить ему, что принцесса отвернулась от него, и он сам удалится. — Тассо на свободе и прогуливается по саду. Он слышит звон гитары, и какой-то голос поет томно-страстную песню из его «Аминты». Это певица

Жюстина хочет сладостными звуками завлечь скромного поэта в сети плотских удовольствий. Тассо пристыжает ее строгой речью и с неукротимой горечью и презрением говорит о знатнейших при дворе и о самом герцоге. — Тут являются герцог и граф. Так как Тассо злословил о князьях и кажется безумным, то его волокут в госпиталь св. Анны. Конец второго действия.

Сад в Ферраре. Диалог между герцогом и графом. Последний замечает, что за Тассо нужен строгий присмотр. Герцог желает лишь, чтобы от него не было вреда, именно — от его любви к принцессе. Она является и просит брата об освобождении поэта. Герцог склонен исполнить ее просьбу, если она уедет в Паланто. Она решается на это и препоручает графине Санвитале заботиться о Тассо во время своего отсутствия. Глубокая любовная мука принцессы. Конец третьего действия.

Сад в госпитале св. Анны. Госпитальный духовник и Леонора ди-Жизелло; последняя одета пилигримом. Она испрашивает у него разрешения поговорить с Тассо, которого сюда заключили как безумного. Мистическая беседа Тассо и Леоноры; она рассказывает, что отправляется паломничать в святую землю, и вручает ему ключ, чтобы он бежал через дверь в эркере. Тассо думает, что ему привиделся ангел. Граф Тирабо приходит к духовнику и объявляет ему, что Тассо должен быть освобожден. — Ночь. Эркер перед комнатой Тассо, неподалеку от моста, перекинутого через реку. Леонора ди-Жизелло, собравшись в странствие, присела на камню под эркером. Принцесса вместе с придворной дамой переходит мост, чтобы отправиться в Паланто. Тассо появляется в окне эркера. Бесконечно горестный любовный диалог между ним и принцессой. Шатаясь, она удаляется вместе с придворной дамой. Леонора ди-Жизелло подымается со своего места; услышанный разговор укрепляет ее к долговому странствованию; нежным словом приветствует она Тассо и быстро уходит. Тассо громко взывает к ней: «О постой, постой, пресветлый дух».

Оковы спадают, и Тассо свободен.

Он простирает руки к убегающей. — Конец четвертого действия.

Приемная в монастыре св. Амброджио в Риме. Духовник и Мансо, друг детства Тассо (?). Мансо только что прибыл в Рим и узнает, что на следующий день в Капитолии Тассо венчают лаврами. Он стремится к нему; духовник предупреждает, что Тассо спит в соседней комнате, однако жестоко болен и что его уже причащали и соборовали. Он рассказывает, что Тассо самовольно бежал из заключения как раз в тот день, когда герцог даровал ему свободу, что некий паломник тайно вручил ему необходимый для сего ключ, что паломник этот, вероятно, была Леонора ди-Жизелло, но что, однако, Тассо все еще считает его посланником божьим. Он описывает состояние, в каком он нашел Тассо:

По улице, в убогом одеянии,
Он шел, шатаясь; ранняя весна
Над ним являла нрав свой прихотливый.
Последовал за градом теплый дождь,
Потом пробилось солнце, и потом
Опять нагнал холодный ветер тучи. —
Так шел он, с головою непокрытой,
И раздувались волосы по ветру,
И низко был надвинут на чело
Венок иссохший, тот, которым Тассо
Когда-то увенчала Леонора
За муки вдохновенные его.

Тассо еще сегодня должны перевести в монастырь св. Онуфрия, ибо это место ближе к Капитолию. — Является Тассо; в руках лавровый венок принцессы. Он говорит, как уже просветленный, и с любовью встречает Мансо. Приор монастыря св. Онуфрия и два монаха приходят за Тассо. Кругом теснится народ: ликование и музыка. Тассо охватывает вдохновение. Он говорит о неземном венчании; он высоко подымает лавровый венок принцессы:

Здесь, на земле, я им велик был. Там —
 Меня прекрасный ангел увенчает,
 А э т о т лавр — пусть о земном вещает!

Он отдает лавровый венок духовнику. Обессиленного и шатающегося, его с триумфом уводят, провожая шумной музыкой. —

Колоннада в академии в монастыре св. Онуфрия. В середине — статуя Ариосто. В глубине — вид на Капитолий. Входят Константин и кардинал Чинтио. Первый рассказывает о смерти принцессы Леоноры:

Глубокая царила скорбь в Ферраре,
 И не звучали больше песни Тассо;
 Поэт исчез, принцесса умерла.
 Графиня Санвитале настояла
 На том, чтоб я немедленно покинул
 Феррару и спешил к Торквато, в Рим,
 Дабы его вконец не поразило
 Известье о кончине Леоноры.

Тассо с триумфом вводят в залу. Так как у него подкашиваются ноги от слабости, то его провожатые сажают его на одну из ступенек перед статуей Ариосто. Ликование врывающейся толпы. Кардиналы, прелаты, вельможи и офицеры наполняют залу. Вихрь музыки. Тассо с трудом встает. Константин падает к его ногам и приветствует своего прославленного друга. Тассо испуганно глядит на него:

Т а с с о

Так это правда, это был не сон?
 Ты встретился когда-то мне и прежде,
 Я слышал скорбный погребальный звон,
 И видел друга в траурной одежде,
 И, как во сне, внимал твоим устам:
 «Торквато встретит Леонору — там»!

Тассо, видимо, умирает, восторженно говорит о боге и духовной любви, опускается и, уже мертвый, остается сидеть на пьедестале статуи своего великого соперника

Ариосто. Духовник принимает переданный ему лавровый венок и увенчивает им священную голову умершего. Затихающая музыка. Занавес падает.

Согласно предпосланным нами пояснениям, нам надлежит признать, что автор в обработке своего материала проявил лишь весьма незначительный драматический талант. Большинство действующих лиц говорит одним и тем же тоном, почти как в театре марионеток, где один говорит за нескольких кукол. Почти все говорят одним и тем же лирическим языком. Так как автор — лирик, то мы можем утверждать, что ему не удалось совершенно отрешиться от субъективности. Лишь кое-где, в особенности когда говорит герцог, заметно стремление к этому. Это промах, которого не избежал почти ни один лирический поэт в своих первых драматических опытах. Напротив, живое развитие диалога весьма нередко удавалось автору. Лишь кое-где встречаются места, где все кажется застывшим и где вопрос и ответ часто притянуты за волосы. Первая сцена экспозиции всецело построена по досадному французскому шаблону, а именно — беседа наперсниц. Как отличаются от всего этого наши великие образцы у Шекспира, где уже экспозиция является достаточно мотивированным действием. Непрерывное развитие действия совершенно отсутствует. Такое развитие заметно лишь до известных моментов. Эти моменты: конец первого и четвертого действия, после чего автор каждый раз как бы делает новый разбег.

Мы переходим к разбору поэтических достоинств «Тассо».

Многих удивит, что под этой рубрикой мы будем говорить о сценическом эффекте. В последнее время, когда большинство молодых поэтов стремится достичь сценического эффекта за счет драматического, различие между тем и другим достаточно обсуждалось и разбиралось. Это порочное стремление заложено в самой природе вещей. Поэт желает произвести впечатление на публику, и это впечатление легче достигается посредством сценического, нежели посредством драматурги-

ческого достоинства пьесы. Гетевский «Тассо» идет по сцене тихо и бесшумно; а часто самое плачевное произведение, где диалог и действие совершенно деревянные, и притом сквернейшего дерева, но где в надлежащий момент разрывается довольно много театральных хлопнушек, — снискивает аплодисменты галерки, восторги партера и благосклонность лож. — Мы не в состоянии достаточно громко и достаточно часто кричать молодым поэтам в уши, что чем явственней в драме стремление к таким трескучим эффектам, тем она ничтожней. Однако мы признаем, что там, где сценический эффект естественен и необходим, там надлежит его отнести к поэтическим красотам драмы. Это как раз мы и находим в разбираемой трагедии. Сценические эффекты вплетены в нее весьма скупю; однако там, где они налицо, в особенности в конце пьесы, они создают в высшей степени поэтическое впечатление.

Еще более странным покажется, что мы причисляем соблюдение трех правил драматического единства к поэтическим красотам пьесы. Правда, мы считаем единство действия решительно необходимым по самому существу трагедии. Однако, как мы увидим ниже, существует род драмы, где отсутствие единства действия можно считать простительным. Что же касается единств места и времени, то хотя мы и настоятельно рекомендуем их соблюдение, однако не оттого, что они решительно необходимы по самому существу драмы, а потому, что они великолепно украшают ее и как бы накладывают на нее печать высшего совершенства. Но там, где это украшение приходится приобретать за счет больших поэтических красот, там лучше будет от них скорей отказаться. Поэтому нет ничего смешней, как одностороннее строгое соблюдение этих двух единств и одностороннее строгое их отрицание. — Наш автор не соблюдал ни одного из всех трех единств. — Согласно изложенному выше мнению, мы можем привлечь его к ответу лишь за отсутствие единства действия. Однако и здесь, мы полагаем, можно найти для него извинение.

Мы различаем трагедии, такие, где главная цель поэта — развернуть перед нашими глазами примечательное событие, и такие, где он желает, чтобы мы узрели игру определенных страстей, и такие, где он стремится живо представить нам известные характеры. Две первые цели преследовали греческие поэты. Поэтому они придавали наибольшее значение развитию действия и страстей. Они по справедливости могли обходиться без изображения характеров, ибо их персонажи по большей части были известные герои, боги и тому подобные установленные характеры. Это вытекало из самого происхождения их театра. Священнослужители и эпические поэты уже задолго predetermined контуры характеров героев драматургии. Совсем иначе в нашем современном театре. Изображение характеров в нем самое главное. Не заключается ли причина этого также в происхождении нашего театра, ежели принять, что он возник, главным образом, из масляничных скоморошества? Ведь главной их целью было живо, часто кричаще, вывести известные характеры, а не развивать действие или, еще меньше, отдельную страсть. У великого Вильяма Шекспира мы впервые встречаем соединение трех названных выше целей. Поэтому на него можно смотреть как на основателя современного театра, и он остается нашим великим, конечно, недостижимым образцом. *Иоганн-Готтольд-Эфраим Лессинг, человек с самой светлой головой и самым прекрасным сердцем,* был в Германии первым, кто всего прекрасней и соразмерней сочетал в своих драмах изображения действий, страстей и характеров и сливал их в одно целое. Так повелось вплоть до новейшего времени, когда многие поэты начали избирать главной целью своих трагедий не все три предмета драматического изображения, а каждый в отдельности. Гете был первым, кто подал сигнал к простому изображению характеров. Он даже подал сигнал к изображению характера определенного класса людей, именно художников. За его «Тассо» последовал «Фьореджио» Эленшлегера, а за ним, в свою очередь, множество подобных трагедий. Также и «Тассо» нашего

автора принадлежит к этому роду. Поэтому мы, по справедливости, можем извинить отсутствие единства действия этой трагедии и посмотрим, верно ли и правдиво ли изображение характеров, а вместе с тем и страстей.

Характер главного героя, по нашему мнению, выдержан и верно схвачен. Здесь, повидимому, автору помогло одно счастливое обстоятельство: именно то, что Тассо — поэт! поэт часто лирический и всегда религиозно-мечтательный. Тут мог наш автор, к которому все это равным образом относится, развернуть всю свою индивидуальность и придать характеру своего героя поразительную правдивость. Это — прекраснейшее, самое лучшее во всей трагедии. Несколько менее удачно очерчен характер принцессы; слишком он мягкий, слишком восковой, слишком расплывчатый; ему недостает содержания. — Графиня Санвитале обрисована автором равнодушно: лишь едва-едва позволяет он ей проявить расположение к Тассо. Герцог во многих сценах очерчен весьма правдиво, хотя часто противоречит самому себе. Например, в конце второго действия приказывает заточить Тассо, чтобы он впредь не поносил его имени, а в первой сцене третьего действия он говорит, что поступил так из опасения, как бы не случилось чего дурного от любви Тассо и его сестры. Граф Тирабо не только жалкий человек, но также, чего никак не хотел автор, человек непоследовательный. Леонора ди-Жизелло — прелестный колокольчик, что сзывает к вечерне, отрадно и мило звучит среди всей этой сумятицы и, постепенно стихая, замирает.

Прекрасен и великолепен стиль автора. Как удачен, трогателен и пленителен, например, ночной разговор принцессы и Тассо! Эти скорбно-мягкие, томительно-сладостные звуки неудержимо влекут нас в мир поэтических грез, сердце источает кровь из глубоко сокровенных ран — но в этом заключено бесконечное блаженство, а из красных капель вырастают сверкающие розы...

Т а с с о

Глядится ночь миллионами огней,
И я в сомненьи, — может быть, ва мною
Она следит? Такая прелесть в ней,
Но может быть, истомою ночью
Охвачено, ко сну склонится тело?

П р и н ц е с с а

Как будто слово чье-то долетело
Оттуда к нам? Я смущена душою...

П р и д в о р н а я д а м а

О, да, принцесса, бледный, истомленный,
Стоит там Тассо, — поручусь я смело, —
Ночным дурманом росным упоенный.

Т а с с о

Чей образ воссиял там горделиво —
Иной он служит, выше вознесенной,
Той, что возникла рядом с ним, надиво. —
Как в серебре, в лучистом одеянии,
И охраняют звезды ревниво
Ее главу в слепительном сиянии...

П р и н ц е с с а

Но стелются туманы полосою
И помрачают звезд моих мерцанье.

Т а с с о

Нас ждут цветы под новою росою
И новые венки нам ночь сплетает.

Столь же дивно прекрасны стихи на странице 77,
так же, как и стансы на странице 82, где Тассо, обра-
щаясь к Жизелло, посетившей его как паломник,
говорит:

Как к солнцу тянется цветок влюбленный
И как роса искрится в утре дня,
Как ангелы, теснясь вокруг Мадонны,

Поют хвалу ей, головы клоня,
 Так свет любви, чарующе бездонной,
 Влечет к своим высотам и меня;
 Я ясно вижу облик благородный,
 И верен ей — в оковах и свободный.

Однако уместна ли вообще рифма в трагедии? Мы решительно против нее, допустили бы ее только в чисто лирических излияниях и в разбираемой трагедии прощаем ее лишь там, где говорит сам Тассо. В устах поэта, который на своем веку так много рифмовал, рифма звучит, по крайней мере, не совсем неестественно. Для плохого поэта рифма в трагедии всегда будет благодетельными костылями, для хорошего поэта — тягостными оковами. В любом случае, надев на себя эти оковы, поэт ничем не вознаградит себя. Ибо наши актеры и в особенности актрисы все еще придерживаются пагубного правила, что рифмы — это только для глаз и что надобно остерегаться, чтобы не сделать их слышимыми. Ради чего же корпел тогда бедный поэт? — Как ни благозвучны стихи нашего автора, однако им недостает ритма. Он не владеет искусством *enjambement* *, что в пятистопном ямбе создает столь неподражаемые эффекты и благодаря чему достигается столь большое метрическое разнообразие. Иногда у автора проскальзывает шестистопный ямб с первой страницы:

Что славят образ твой, как свойственно влюбленным.

Или это умышленно? Нам непонятно, как мог автор скандировать «Virgil» на страницах 7 и 22, равно как на странице 4: «Und vielleicht dārūm weil sie'ss nötiger haben»; на странице 14 дактиль «Hörenden» в конце стиха не слышен. Хотя наши лучшие старые поэты допускали подобные ошибки, молодым все же следует стараться их избегать.

Теперь мы переходим к вопросу: каково достоинство разбираемой трагедии в *этическом* отношении?

* перенос в последующую строку слова или нескольких слов, тесно связанных по смыслу с предыдущей строкой

В этическом? В этическом? — слышим мы вопросы. Ради бога, ученые господа, не придерживайтесь школьного определения. Этическое — здесь только обозначение рубрики, и в дальнейшем изложении мы поясним, что намереваемся мы включить в эту рубрику. Послушайте, разве вам никогда не приходилось вечером возвращаться из театра внутренне недовольным, расстроенным и раздраженным, хотя пьеса, которую вы смотрели только что, была доподлинно драматична, театральна, короче — полна поэзии? В чем же тогда недостаток? Пьеса не вызвала единства чувства. Вот в чем дело. За что добродетельный человек должен погибнуть от козней негодяев? Почему доброе намерение оказалось пагубным? За что принуждена страдать невинность? Вот вопросы, от которых мучительно сжимается грудь, когда мы возвращаемся из театра после представления некоторых пьес. Греки прекрасно чувствовали необходимость подавить в трагедии это мучительное «за что», и они создали *фатум*. И как только в стесненной груди подымается это тяжелое «за что», тотчас же является серьезный хор и указывает перстом на небо, на высший мировой порядок, на предвечный закон необходимости, перед которым склоняются даже боги. Таким образом удовлетворялось стремление человека к духовному завершению, и являлось еще одно невидимое единство — единство чувства. Многие поэты нашего времени чувствовали то же самое, копировали фатум: так возникли наши современные «*трагедии судьбы*». Удачны ли эти подражания, наделены ли они вообще сходством со своим греческим прототипом, это мы оставим в стороне. Достаточно сказать, что как ни похвально было стремление вызвать единство чувства, однако эта идея судьбы оказалась весьма плачевным подспорьем, безотрадным, вредным суррогатом. Эта идея судьбы находится в полном противоречии с духом и моралью нашего времени, выработанными христианством. Эта ужасная, слепая, неумолимая власть судьбы несоединима с идеей небесного отца, исполненного любви и милосердия, заботливо охраняющего

невинность, без чьего соизволения ни один воробей не упадет с крыши. Лучше и действенней поступают те новейшие поэты, которые выводят все события из естественных причин, из нравственной свободы самого человека, из его склонностей и страстей, и в своих драматических представлениях, едва только на губах промелькнет то ужасающее последнее «за что», тихонько приподнимают темную небесную завесу и дают нам заглянуть в тот надземный мир, где при виде сверкающего великолепия, брезжущего блаженства мы возликуем посреди страданий, забудем эти страдания или почувствуем, что они превратились в радость. Вот причина, по какой часто самые печальные драмы доставляют чувствительнейшим сердцам бесконечное наслаждение. — Следуя последнему похвальному правилу, и наш автор стремился вызвать единство чувства. Точно так же он выводил события из их естественных причин.

В словах принцессы:

Вы к людям примениться неспособны,
Толкуете по-своему чужое
И сами говорите, не обдумав;
Вот этой нитью черною вы сами,
Поэты, ткань судьбы своей мрачите, —

в этих словах мы узнаем фатум, преследующий несчастного Тассо. И наш автор сумел с большим искусством тихо приоткрыть нашему взору небесную завесу и показать, как душа Тассо уже блаженствует в царстве любви. Все наши муки сострадания разрешаются в тихую душевную радость, когда в пятом действии мы видим бедного Тассо, который медленно входит со словами:

Помазаньем священным я очищен,
И те уста, чья суетная песнь
О мире этом суетном вещала,
Вкусили плоти господи-Христа.

Конечно, нам надлежит с исторической точки зрения рассматривать те чувства, что возбудили в нашем религиозном мечтателе священные обряды римско-католической церкви, которые измышлены людьми, превосходно знающими человеческое сердце, его раны и целительно одухотворяющее действие приличествующих символов. Мы видим здесь Тассо уже в преддверии неба. Его возлюбленная Элеонора уже предшествовала ему, и святое предчувствие должно было дать ему уверенность, что он там ее встретит. Этот взгляд, брошенный за небесную завесу, смягчает нашу бесконечную скорбь, когда перед нами виднеется вдали Капитолий и многострадальный поэт в тот момент, когда он должен получить высшую награду, падает мертвым перед статуей своего великого противника. Священник, увенчивая голову покойника лавровым венком Элеоноры, берет заключительный аккорд. — Кто не почувствует здесь глубокого значения этих лавров? Они — мука и радость Торквато; они не покинули его ни в муке ни в радости, нередко жгли его чело, словно раскаленные уголья, часто, подобно бальзаму, освежали его бледный пылающий лоб и, наконец, навеки увенчали его главу доставшимся в тяжелой борьбе знаком победы.

Не отверг ли наш автор единство действия ради этого единства чувства? Не представлялось ли его воображению нечто подобное тому, что вызвало у древних трилогию? Мы почти готовы так думать, и мы не можем отказаться от просьбы к автору — слить пять действий его трагедии в три, из которых каждое в отдельности тогда представило бы собой отдельную часть трилогии. Первое и второе действия слились бы вместе и озаглавились бы: «Тассо при дворе»; третье и четвертое действия также соединились бы и назывались бы «Тассо в заточении», и пятое действие, которым бы заканчивалась трилогия, называлось бы «Смерть Тассо».

Выше мы показали, что единство чувства принадлежит к этическому в трагедии и что наш автор в совершенстве и образцово выдержал это единство. Однако

он удовлетворил и второе этическое требование. Именно: его трагедия исполнена мягкости и примирения.

Под этим примирением мы понимаем не только *аристотелевское трагическое очищение страстей*, но и мудрое соблюдение границ чисто человеческого. Никто не сможет вывести на подмостки более ужасные страсти и поступки, чем Шекспир, и, однако, никогда не случается, чтобы наш внутренний мир, наша душа были крайне возмущены им. Совсем не то во многих наших новейших трагедиях, во время представления которых наша грудь словно стиснута «испанскими сапогами», дыхание спирается в горле, а чувство невыносимой тошноты наполняет все наше существо. Собственная душа должна служить поэту надежным мерилом того, как далеко можно зайти, выводя на сцену страшные и ужасные вещи. Не следует допускать, чтобы холодный рассудок измышлял всяческие ужасы, составлял из них мозаику и штабелями укладывал их в трагедию. Правда, мы отлично знаем, что все ужасы Мельпомены исчерпаны. Ящик Пандоры пуст, и дно его, к которому еще могла прилипнуть какаянибудь беда, начисто выскоблено поэтами, и стихотворцы, охотники до успехов, принуждены в поте лица своего высиживать новые ужасные образы и новые беды. Таким образом, дело дошло до того, что наша современная театральная публика порядком освоилась с братоубийством и отцеубийством, кровосмешением и т. д. Если в конце пьесы герой, находясь в более или менее здравом уме, совершает самоубийство, — *cela se fait sans dire* *. Это наш крест, наше горе. В самом деле, ежели так пойдет и дальше, то поэтам двадцатого столетия придется заимствовать драматический материал из японской истории и выводить на сцену для всеобщего назидания и все тамошние способы экзекуций и самоубийств: закалывание, сажание на кол, вспарывание живота и пр. Поистине, возмутительно, когда видишь, как в наших новейших траге-

* это делается молча

дних вместо подлинно трагического развелись бойня, резня, терзание чувств, как, дрожа и стуча зубами, сидит публика на скамьях подсудимых, как ее морально колесуют, и притом снизу вверх. Неужто наши писатели совсем запамятовали, какое огромное влияние оказывает театр на народные нравы? Неужто они забыли, что надлежит смягчать, а не ожесточать эти нравы? Неужто они забыли, что драма вообще имеет одну цель с поэзией — примирять, а не возбуждать страсти, делать человечнее, а не обезчеловечивать? Неужто наши поэты совсем запамятовали, что поэзия сама в себе заключает достаточно средств, чтобы взволновать и удовлетворить самую притупившуюся публику, без отцеубийства и кровосмешения?

Однако прискорбно, что наша большая публика так мало смыслит в поэзии — почти столь же мало, как наши поэты.



РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКИЙ АЛЬМАНАХ МУЗ НА 1821 ГОД

Издан Фридрихом Рассманом
(Гамм, у Шульца и Вундермана)

«Что скоро, то не споро», «Тихе едешь, дальше будешь», «Рим не один день строился», «Не поспеешь сегодня, приедешь завтра» — и еще много сотен подобных пословиц не сходит с уст немца, служит ему костылями в любом предприятии и с полным правом должны быть поставлены эпиграфом ко всей немецкой истории. Только наши издатели альманахов отступились от этих праздных пословиц, и собранные ими поэтические букетики, долженствующие в зимнюю пору служить публике суррогатом живых летних цветов, — появляются уже ранней осенью. Оттого-то и странно, что лежащий перед нами поэтический букет появился так поздно, именно в апреле 1821 года. Виноваты ли в том поставщики цветов, корреспонденты? Или составитель букета, издатель? Или продавщица цветов, книготорговля? Однакож это не заурядный альманах, не поэтическая карманная книжка или подобная ей форматом «дуодец» *, предназначенная к тому, чтобы в качестве очаровательного новогоднего подарка покорно скользнуть в бархатный ридикюль прелестной дамы или красоваться тонко тисненной виньеткой и блистающим золотым обрезом на душистом туалетном столике рядом с помадной банкой. Нет, господин Рассман предлагает нам «*Альманах муз*». А в таком альманахе вовсе не должно быть *прозы* (а если возможно,

* По-латыни duodecim — одна двенадцатая ($\frac{1}{12}$).

и ничего *прозаического*) по той простой причине, что музы никогда не говорят прозой. Это положение, вызванное историческим воспоминанием об «Альманахах муз» Фосса, Тика, Шлегеля и др., побудило однажды покойную бабушку рецензента заявить, что, собственно, там, где не звучит рифма и не скачут гексаметры, вовсе нет поэзии. Согласно этому положению, можно дерзновенно утверждать, что многие наши прославленные, многие наши весьма читаемые авторы, к примеру Жан-Поль, Гофман, Клаурен, Каролина Фуке и пр., ничего не смыслят в поэзии, ибо никогда не сочиняют стихов или делают это крайне редко. Однако многие люди, а среди них наполовину и рецензент, склонны это положение оспаривать. Не принадлежит ли к ним и господин Рассман? Но откуда эта астматическая прихоть: на выставку поэзии — а чем же еще надлежит быть «Альманаху муз» — не допускать совсем прозу? Между тем, оставляя в стороне все случайное и касающееся внешней формы, рецензент должен признать, что содержание книжки показалось ему исполненным теплоты и приятности, что многие стихотворения взволновали его сердце и что при чтении «Рейнско-Вестфальского альманаха муз» ему было так отрадно, уютно и привольно, словно он ел свое любимое кушанье, сырую вестфальскую ветчину, запивая ее рейнвейном. Однако отсюда отнюдь не следует, что представленных в «Альманахе» вестфальских поэтов следует сравнить с вестфальской ветчиной, а помещенных там же рейнских поэтов — с рейнвейном. Рецензент слишком хорошо изучил крепко-честную, взаправду бодрую натуру истого вестфальца, чтобы не знать, что ни в одной отрасли литературы он не уступает своим соседям, хотя и не довольно еще искусен в умении пробивать себе путь, пощелкивая литературными кастаньетами и заговаривая зубы эстетическим краснобаям. Среди тридцати семи поэтов, представленных «Альманахом муз», приветствуют нас и несколько новых имен; прежде всего должно упомянуть его издателя. Рассман по своей форме принадлежит к новой

школе, но его сердце принадлежит еще старым временам, тем добрым старым временам, когда у всех поэтов Германии было *одно* сердце.

Уже при беглом взгляде на предмет литературной деятельности Рассмана искренно трогает его любовь к чужим работам, его ревностные поиски чужих достоинств (подлинные древнефранкские качества, давно уже вышедшие из моды!). В стихотворениях Рассмана, помещенных в «Альманахе муз», особенно в «Заточении весны», «Гончаре после свадьбы» и в «Бедняге Генрихе», отчетливо выражен этот принципиально-честный образ мыслей, эта любвеобильная энергия и почти ганс-заксовская роспись. Стихотворение Э.-М. Аридта «Крепость истинного стража» искренне и юношески свежо. В «Элегии в честь герцогини веймарской» В. фон-Бломберга есть места доподлинно прекрасные и грациозные. Ноктюрн Буэрена «Ведьма» — весьма заманчив; автор хорошо чувствует, как много можно достичь приемами метрики; он хорошо чувствует мощь спондеев, в особенности спондеических рифм. Однако высокая изощренность, чувство меры, которое необходимо соблюдать, применяя их, ему еще неизвестны. От стихотворения И.-Б. Руссо «Утрата» веет нежной, но в то же время искренней теплотой, прелестной мягкостью и сладостно-сокровенной тоской. Стихотворение Гейльмана «Дух любви» было бы превосходно, когда бы было более одухотворено и содержало меньше любви (самого слова). Сюжет «Шельм фон-Берген» Теобальда восхитителен, почти несравнен; но автор стал на ложный путь, пытаясь воссоздать народный тон спотыкающимся стихом и языковыми неуклюжестями. Добродушный Гебауэр представлен здесь четырьмя стихотворениями, подлинно искренними, подлинно прелестными. Вильг. Сметс тоже поместил ряд прекрасных стихотворений; из них некоторые по праву можно назвать освежающими душу. К числу их относится сонет «Эрнсту Лассо» и стихотворение «На именины Елизаветы». Стихотворения Николая Мейерса подлинно бодры; некоторые совсем превосходны; всех

лучше «Пряжа любви». Похвального упоминания заслуживают стихотворения Адельгейды фон-Штольтер-фот, Софии Георге и фон-Куровского-Эйхен.

Отпечатана книжка весьма привлекательно, но внешность ее скорее скромна и проста. Однако золото содержания заставляет скоро забыть о недостающем золоте на обресе.

Поправка: вследствие небрежности при переписке, допущенной рецензентом в отзыве на стихотворения «Рейнско-Вестфальского альманаха муз» (приложение к 129-му номеру «Gesellschafter», стр. 603), выпало: «Отшельник» (баронессы Элизы фон-Гогенгаузен) — прочувствованная, веселая, свежая картина, прелесть и грациозность которой приятно взволнует душу читателя.



ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

П И С Ь М О П Е Р В О Е

1822

Как странно! — Будь тунисским беем я,
Я шум бы поднял — случай чрезвычайный.
(«Принц Гомбургский» *Клейста*.)

Берлин, 26 января 1822 г.

Ваше милейшее письмо от 5 с. м. исполнило меня величайшей радостью, так как в нем с полнейшей ясностью сказалось ваше расположение ко мне. Отраднo становится у меня на душе, когда я узнаю, какое множество хороших и достойных людей с любовью и интересом вспоминает обо мне. Не думайте только, что я мог бы так скоро забыть нашу Вестфалию. Слишком ясно встает в моей памяти сентябрь 1821 года. Прекрасные долины вокруг Гагена, приветливый Овервег в Унне, приятные дни в Гамме, восхитительный Фриц ф.-Б., вы, В., древности в Зосте, даже Падерборнская равнина — все живо стоит еще предо мною. Я все еще слышу, как шумят над моей головой старые дубовые чащи, как каждый лист шепчет мне: «Здесь жили древние саксы, позже всех других утратившие свою веру и свое германство». Я все еще слышу, как древний камень взывает ко мне: «Путник, остановись, здесь Арминий убил Вара!» Надо исходить Вестфалию пешком, и исходить ее, как я, переходами австрийского ополчения, если хочешь узнать крепкую сосредоточенность, прямотдушную честность и непритязательную жизненную силу ее обитателей. — Мне, разумеется,

будет очень приятно, если я в самом деле, как вы мне пишете, моими сообщениями из столицы заслужу благодарность столь многих милых людей. Тотчас же по получении вашего письма я приготовил перо и бумагу и вот — пишу.

В материале недостатка нет, и вопрос только в том, о чем *не* писать. Другими словами: что давно известно читателям, что совершенно их не занимает и о чем им знать не следует? И тогда задача: писать о многом, но как можно меньше о театре и вообще о таких предметах, которые составляют основное содержание корреспонденций в «Вечерней газете», «Утреннем листке», «Венском листке» и т. д., где дается их подробное и систематическое изображение. Одному покажется любопытным, если я расскажу ему, что Ягор недавно прибавил к числу гениальных изобретений свое мороженое из трюфелей; другого занимает сообщение, что на последнем орденом празднике Спонтини был в сюртуке и штанах зеленого бархата с золотыми звездочками. Только не требуйте от меня систематичности; это ангел смерти для всякой корреспонденции. Я буду говорить сегодня о маскарадах и церквах, завтра о Савиньи и комедиантах, устраивающих шествие по городу в необычайных нарядах, послезавтра о галерее Джустиниани и затем опять о Савиньи и комедиантах. Все будет зависеть от ассоциации идей. Каждые 4—6 недель будет отправлено письмо. Два первые будут несоразмерно длинны, так как я должен предварительно очертить внешнюю и внутреннюю жизнь Берлина. Только очертить, не изобразить. Но с чего же начну я при такой массе материала? На помощь придет здесь французское правило: *Commencez par le commencement* *.

Начинаю, таким образом, с города и прежде всего представляю себе, что опять только что вышел из кареты у почтовой станции на Королевской улице и мой легкий чемодан несут в «Черный орел» на Почтовой. Слышу уже ваш вопрос: «Почему это почтовая станция не на

* Начинайте с начала.

Почтовой улице, а «Черный орел» не на Королевской?» В другой раз отвечу на этот вопрос, пока же погуляю по городу и вас попрошу составить мне компанию. Пройдем вместе несколько шагов, — и вот мы уже на очень интересном месте. Мы на Длинном мосту. Вы удивлены: да ведь он совсем не длинный? Это ирония, дорогой мой. Постоим здесь минутку и полюбуемся большой статуей великого курфюрста. Он гордо восседает на коне, и скованные рабы окружают пьедестал. Это великолепная бронза и, бесспорно, наивысшее художественное создание в Берлине. И смотреть на него можно даром, потому что оно стоит посреди моста. Оно очень похоже на статую курфюрста Иоганна-Вильгельма на Рыночной площади в Дюссельдорфе; только в Берлине хвост у лошади не такой толстый. Но я вижу, вас толкают со всех сторон. На этом мосту всегда давка. Осмотритесь вокруг. Какая большая, великолепная улица! Это и есть Королевская улица, где один магазин следует за другим и пестрые сверкающие выставки товаров чуть не ослепляют глаза. Пойдем дальше, — мы дошли до Замковой площади. Направо замок, высокое, величественное здание. Время окрасило его в серый цвет и придало ему вид мрачный, но тем более величественный. Налево еще две прекрасные улицы: Широкая и Братская. Прямо же перед нами Штехбан — нечто вроде бульвара. И здесь обосновался *Иосту!* О, боги Олимпа! Какой невкусной сделал бы я для вас вашу амброзию, если бы описал сласти, груды выставленные у него. О, если бы вы познакомились с содержанием этого безе! О, Афродита, если бы ты возникла из такой пены, ты была бы еще много слаще! Помещение, правда, тесно и шумно и убрано, как пивная. Но доброта всегда одержит верх над красотой; как сельди в бочке, сидят здесь внуки бреннов, и смакуют крем, и щелкают языком в упоении, и облизывают пальцы.

....Прочь, прочь отсюда,
Глаз видит отпертые двери,
В блаженстве утопает сердце.

Мы можем пройти через замок, и вот мы в Люстгартене *. «Но где же сад?» — спрашиваете вы. Ах, боже, — разве вы не замечаете, что это тоже ирония. Это четырехугольная площадь, огражденная двойным рядом тополей. Здесь мы натываемся на мраморную статую, у которой стоит часовой. Это Старый Дессауец. Он стоит в старопруссском мундире, отнюдь не идеализованный, как герои на площади Вильгельма. Их я покажу вам сейчас. Это Кейт, Цитен, Зейдлиц, Шверин и Винтерфельд, два последних — в римских костюмах и париках с косичками. Здесь мы оказываемся прямо напротив собора, только недавно заново отделанного снаружи и украшенного двумя новыми башенками по обеим сторонам большой башни. Большая, сверху закругленная башня недурна. Но обе новые башенки очень смешны, имеют вид птичьих клеток. Рассказывают также, что великий филолог В. гулял здесь прошлым летом с проезжавшим ориенталистом Г., и когда последний, указывая на собор, спросил, что означают эти две птичьи клетки наверху, ученый остроумец ответил: «Здесь дрессируют снегирей» **. В двух нишах собора должны быть поставлены статуи Лютера и Меланхтона. — Не войти ли нам в собор полюбоваться восхитительной картиной Бегасса? Можете там насладиться назидательной речью проповедника Теремина. Но останемся лучше снаружи: там язвят паулусианцев. Это не доставляет мне никакого удовольствия. Посмотрите лучше направо, на оживленную толпу людей рядом с собором, мечущуюся по четырехугольной, обнесенной железной решеткой площадке. Это биржа. Там торгашествуют приверженцы как ветхого, так и нового заветов. Не станем их трогать. О, боже, что за лица! Корусть в каждом мускуле. Когда они разевают пасти, я как будто слышу крик: «Отдай мне все твои деньги!» Должно быть, много уже насобирали. Самые богатые, очевидно, те, на чьих блеклых лицах

* Увеселительном саду

** Игра слов: Dompfaff значит «снегирь» и (буквально) «соборный поп».

глубже всего запечатлено недовольство и раздражение. Наскелько счастливее бедняк, не знающий, каким бывает луидор — круглым или четырехугольным. Не даром купец здесь пользуется малым уважением. Тем бóльшим зато пользуются господа, разгуливающие там в больших шляпах с плюмажем и мундирах с красными обшлагами. Ибо Люстгартен есть в то же время место, где ежедневно сообщается пароль и производится вахтпарад. Хотя я и не особенный любитель всего военного, однако, должен признаться, с удовольствием смотрю всегда на прусских офицеров, собравшихся в Люстгартене. Красивые, крепкие, brave, жизнерадостные люди. Случается, правда, подчас видеть в общей массе напыщенное, глупо-чванное, уставившееся на вас аристократическое лицо. Но у большинства здешних офицеров, особенно у молодежи, встречаешь скромность и непритязательность, тем более удивительные, что, как я уже сказал, военное сословие пользуется в Берлине наибольшим почетом. Конечно, его былой суровый кастовый дух смягчен уже тем, что всякий пруссак обязан в течение года прослужить в солдатах, и, от сына короля до сына сапожника, никто от этого уклониться не может. Последнее, конечно, очень тягостно и обременительно, но в некоторых отношениях и очень полезно. Оно ограждает нашу молодежь от опасности изнежиться. В некоторых государствах меньше жалуются на гнет военной службы потому, что там вся тяжесть ее возлагается на беднягу-крестьянина, между тем как дворянин, ученый, богатый или, как, например, в Гольштейне, всякий даже горожанин освобожден от военной службы. Как стихли бы у нас все жалобы на нее, если бы крикливые обыватели, наши политиканствующие приказчики, наши гениальничавшие коллежские регистраторы, канцеляристы, поэты и лоботрясы были освобождены от воинской повинности. Видите там крестьянина в учебном строю? Он делает на-плечо, на-караул — и молчит.

Но вперед! Перейдем через мост. Вы удивлены гру-

дами нагроможденных здесь строительных материалов и множеством рабочих, которые бродят, болтают, пьют водку и бездельничают. Раньше здесь был Собачий мост; по приказу короля его сломали и строят вместо него великолепный железный мост. Еще летом начались работы и продлятся еще долго; но в конце концов здесь появится великолепное сооружение. А теперь смотрите вперед. Вдали вы видите уже — *Липы!*

Право, я не знаю более внушительного зрелища, чем вид на Липы, открывающийся с Собачьего моста. Направо — высокое внушительное здание цейхгауза, новая гауптвахта, университет и Академия. Налево — королевский дворец, опера, библиотека и т. д. Здесь одно роскошное здание теснится к другому. Повсюду украшающие их статуи, но из плохого камня и плохо изваянные. Исключение — стоящие на цейхгаузе. Мы находимся на Замковой площади, самой широкой и самой большой в Берлине. Королевский дворец — самое простое и самое незначительное из всех этих зданий. Наш король живет здесь. Просто и буржуазно. Шапки долой! — Вот едет и сам король. Не на том великолепном шестерике; это выезд одного посла. Нет, он сидит в плохом экипаже, запряженном парой заурядных лошадей. На голове у него обыкновенная офицерская фуражка, а фигуру скрывает серый плащ. Но глаз посвященного видит порфиру в этом плаще и корону в этой фуражке. Посмотрите, как приветливо отвечает король каждому на поклон. Прислушайтесь: «Красивый человек», шепчет там маленькая блондинка. «Это был лучший семьянин», вздыхая, отвечает ей приятельница постарше. «Ma foi *, — мычит гусарский офицер, — это лучший наездник в нашей армии».

Но как вам нравится университет? Право, чудесное здание! Жаль только, что очень немногие аудитории вместительны; большинство их мрачно и неприветливо, и, что хуже всего, многие выходят окнами на улицу,

* Клянусь

через которую наискось виден оперный театр. Как на раскаленных углях сидится бедному студенту, когда в уши ему несутся кожаные * — да не из сафьяна или шагрени, а из свиной кожи — остроты нудного доцента, а глаза его между тем блуждают по улице и наслаждаются живописным зрелищем сверкающих экипажей, марширующих мимо солдат, проносящихся нимф и пестрой толпы, стремящейся в оперу. Как горят, должно быть, в кармане у бедного бурша его шестнадцать грошей, когда он подумает: сейчас эти счастливы увидят Эвнике в роли Серафима или Мильдер в «Ифигении». Apollini et Musis **, — гласит надпись на оперном театре, а сыну муз нет туда доступа. — Но взгляните, лекции кончились, и толпа студентов шагает к Липам. «Разве столько филистеров бывает на лекциях?» — спрашиваете вы. — «Тише, тише, это не филистеры. Высокая шляпа à la Bolivar и сюртук à l'Anglaise еще далеко не признак филистера, так же, как и красная шапка и фризовая куртка не признак бурша. Буршем с ног до головы одевается здесь не один парикмахерский подмастерье, не один тщеславный парнишка рассыльный, не один притязательный портной. Простительно приличному студенту, если он не хочет, чтобы его смешивали с такими господами. Курляндцев здесь мало. Зато много поляков — больше семидесяти, и вид большинства их сразу обличает бурша. Им нечего бояться вышеуказанного смешения. По этим лицам сразу видно, что не портняжская душа сидит под фризовой курткой. Многие из этих сарматов могли бы послужить образцом привлекательности и добродетности сынам Германа и Туснельды. Это несомненно. Когда видишь столько высоких достоинств в иностранцах, то, поистине, необходим невероятный запас патриотизма для того, чтобы попрежнему воображать, будто самое превосходное и ценное, что есть на земле, — это немец! Общение мало развито в здешней студенческой среде. Землячества запрещены. Союзу «Арми-

* Игра слов: ledern значит кожаный и глупый.

** Аполлону и Музам

ния», состоящему из старых участников буршеншафтов, тоже, по слухам, предстоит упразднение. Дуэлей происходит мало. Между двумя медиками, Либшицом и Фебусом, завязался перед лекцией семиотики пустячный спор, так как оба изъявили притязание на место № 4. Они не знали, что в этой аудитории есть два места № 4, а оба получили этот номер от профессора. «Глупый мальчишка!» крикнул один, и этим закончилось мимолетное препирательство. На другой день они дрались, и рапира противника проткнула Либшица. Он умер через четверть часа. Так как он еврей, то его товарищи похоронили его на еврейском кладбище. Фебус, тоже еврей, бежал, и...

Но я вижу, вы меня уже не слушаете и не отрываете взгляда от Лип. Да, это знаменитые Липы, о которых вы так много слышали. Дрожь охватывает меня, когда я подумаю, что на этом месте, быть может, стоял Лессинг; под этими деревьями было любимое место прогулки столь многих великих людей, живших в Берлине; здесь гулял великий Фриц, здесь проходил — он! Но разве и современность не прекрасна? Теперь как раз полдень, час прогулки высшего света. Нарядная толпа движется взад и вперед по Липам. Видите там щеголя в двенадцати пестрых жилетах? Слышите глубокомысленные замечания, которые он нашептывает своей донне? Чувствуете запах дорогих помад и духов, которыми он надушен? Он уставился на вас в лорнет, улыбается и покручивает усы. Но посмотрите на прекрасных дам! Что за фигуры! Я становлюсь поэтом!

«Под Липами», друг, чудесно,
Там сердце ты отведешь,
Там женщин самых прелестных
Ты встретишь — красавиц сплошь.
Цветут они негой и жаром
В уборах пестрых своих;
Цветами живыми не даром
Поэт именует их.

Какие перья цветные!
И шали на плечах!
На щечках розы какие!
И шеи какие — ах!

Нет, вот эта, там, подалее, — это гуляющий рай, гуляющее небо, гуляющее блаженство. И она с такой нежностью смотрит на этого усатого балбеса! Парень принадлежит не к тем, кто выдумал порох, а к тем, кто его употребляет, то есть он военный. — Вы удивлены, что все мужчины здесь вдруг останавливаются, засовывают руку в карман штанов и смотрят вверх. Милый мой, мы стоим как раз перед часами Академии, которые идут вернее всех часов в Берлине, и никто проходящий мимо не преминет поставить по ним свои часы. Это очень забавное зрелище, когда не знаешь, что там часы. В этом здании помещается и Певческая Академия. Добыть вам билет не берусь. Профессор Цельтер, стоящий во главе ее, не особенно, говорят, любезен в таких случаях. Но взгляните на маленькую брюнетку, бросившую вам столь многообещающий взгляд. И от такого прелестного существа вы просто хотели отмахнуться? Как восхитительно она встряхивает кудрявой головкой, семенит маленькими ножками и, снова улыбаясь, показывает белые зубки. Она, очевидно, заметила, что вы приезжий. Какое множество звездоносных особ! Какая масса орденов! Куда здесь ни взглянешь, везде ордена! Примеряя сюртук, портной спрашивает вас: с прорезом (для ордена) или без? Но стой! Видите вы здание на углу Шарлоттенштрассе? Это Кафе-Рояль! Пожалуйста, зайдём: я не могу пройти мимо, не заглянув туда. Не хотите? Но на обратном пути непременно зайдём. Напротив наискось перед вами Hôtel de Rome, а здесь налево Hôtel de Pétersbourg — две лучшие гостиницы. Поблизости — кондитерская Тейхмана. Здесь лучшие в Берлине конфеты с начинкой, но в пирожках слишком много масла. Если вам угодно скверно пообедать за восемь грошей, то зайдите в ресторан рядом с Тейхманом во втором этаже. Теперь посмотрите направо и налево,

Это большая Фридрихштрассе. Глядя на нее, можно наглядно представить себе идею бесконечности. Не стоит здесь долго стоять: здесь легко схватить насморк. Невыносимый сквозняк дует между Бранденбургскими и Ораниенбургскими воротами. Слева опять много хорошего: здесь живет Сала Тароне, там — Café de Commerce *; а здесь живет — Ягор! Солнце стоит над этими райскими вратами. Удачный символ! Какие чувства возбуждает это солнце в желудке гурмана! Не ржет ли он при виде его, подобно коню Дария Гистаспа? Преклоните колени, вы, современные перуанцы: здесь живет — Ягор! И все же это солнце не без пятен. Как ни богат перечень разнообразных деликатессов, значащихся в ежедневно печатаемой карточке, там часто подают очень медленно; нередко жареное мясо старо и жестко, и, по-моему, большинство блюд в Кафе-Рояль приготовлены гораздо вкуснее. Но вино? Ах, иметь бы кошель Фортунатуса! — Если хотите усладить взоры, то взгляните на выставленные внизу у Ягора в витрине портреты. Здесь рядом с актрисой Штих вывешен теолог Неандер и скрипач Буше. Как улыбается чаровница! О, посмотрите ее в роли Юлии, когда она впервые дает разрешение на поцелуй пилигриму Ромео. Музыка — ее слова:

Graces in all her steps, heav'n in her eye
In every gesture dignity and love **.

Какой рассеянный вид у Неандера. Он думает, конечно, о гностиках, о Василиде, Валентине, Вардесане, Карпократе и Марке. Буше, в самом деле, поразительно похож на императора Наполеона. Он называет себя космополитом, Сократом скрипачей, затребует бешенные деньги и из благодарности называет Берлин *la capitale de la musique* ***. Но поскорее пройдем мимо; здесь снова кондитерская, и здесь обосновался Лебеф — магнетическое имя. Обратите внимание

* Коммерческое кафе

** Грация в каждом ее шаге, небо в ее очах, в каждом движении достоинство и любовь.

*** столица музыки

на прекрасные дома по обеим сторонам Лип. Здесь живет большой свет Берлина. Пойдем поскорее. Большой дом слева — кондитерская Фукса. Здесь все чудесно разукрашено; повсюду зеркала, цветы, марципанные фигуры, позолота, словом, изысканнейшее изящество. Но все подаваемое там — самое плохое и самое дорогое во всем Берлине. Выбор кондитерских изделий скуден и большая часть несвежа. Несколько старых заплесневелых журналов лежит на столе. И долговая прислуживающая девица даже не смазливa. Не станем заходить к Фуксу. Я не ем зеркал и шелковых гардин и, когда ищу чего-нибудь для глаз, то иду на «Кортеса» или «Олимпию» Спонтини. — Справа вы опять можете увидеть нечто новое. Здесь строятся бульвары, которые соединят Вильгельмовскую улицу с Последней улицей. Остановимся тут и рассмотрим Бранденбургские ворота и стоящую на них Викторию. Первые построены Ланггансом по образцу Афинских Пропилеев и состоят из колоннады в двенадцать больших дорических колонн. Богиня наверху, конечно, достаточно известна вам из новейшей истории. Доброй женщине тоже пришлось пережить кое-что; ничего этого не видно по ней, смелой вознице. Пройдем через ворота. То, что вы видите теперь перед собой, — знаменитый Тиргартен, прорезанный широким шоссе, ведущим в Шарлоттенбург. По обеим сторонам его — две колоссальные статуи, из коих одна должна изображать Аполлона. Архигнусные, уродливые чурбаны. Следовало бы их сбросить. Ибо, поглядев на них, верно, не одна беременная берлинка разрешилась уродом. Вот почему мы Под Липами встретили такое множество отвратительных рож. Следовало бы вмешаться в это полиции.

Теперь вернемся, у меня аппетит, и я тоскую по Кафе-Рояль. Хотите поехать? Здесь у ворот стоят дрожки. Так называются наши здешние фиакры. Такса — 4 гроша с одного седока и 6 грошей с двух, и извозчик везет вас, куда прикажете. Все экипажи одинаковые, и все извозчики в серых плащах с жел-

тыми отворотами. Когда торопишься или идет проливной дождь, не найдешь ни одного извозчика. Но когда, как сегодня, стоит хорошая погода или извозчик не нужен, то их на бирже множество. Сядем. Поскорей, извозчик! Сколько народу Под Липами! Сколько здесь таких, кто еще не знает, где он сегодня пообедает. Поняли ли вы идею обеда, мой милый? Кто понял ее, тот поймет все поступки человеческие. Поскорей, извозчик! — Что вы думаете о бессмертии души? Право, это очень большое изобретение, гораздо большее, чем порох. Что вы думаете о любви? Поскорей, извозчик! Не правда ли, она только закон притяжения? — Как нравится вам Берлин? Не находите ли вы, что хотя город нов, красив и выстроен по плану, он производит несколько сухое впечатление. Г-жа Сталь очень остроумно замечает: «Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez sérieuse; on n'y aperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et d'industrie» *. Г. фон-Прадт говорит еще более пикантные вещи. — Но вы не слышите ни слова из-за шума колес. Ну, приехали. Стой! Вот Кафе-Рояль. Приветливое лицо у входа — это Бейерман. Вот это настоящий ресторатор! Ни тени холопского подобию-страстия, но предупредительная внимательность; тонкое культурное обращение, но неустанная услужливость, словом, роскошное издание ресторатора. Войдем. Прекрасное помещение; впереди самое блестящее кафе Берлина, за ним прекрасный ресторан. Место встречи элегантного, образованного мира. Здесь часто вы можете встретить интереснейших людей. Видите

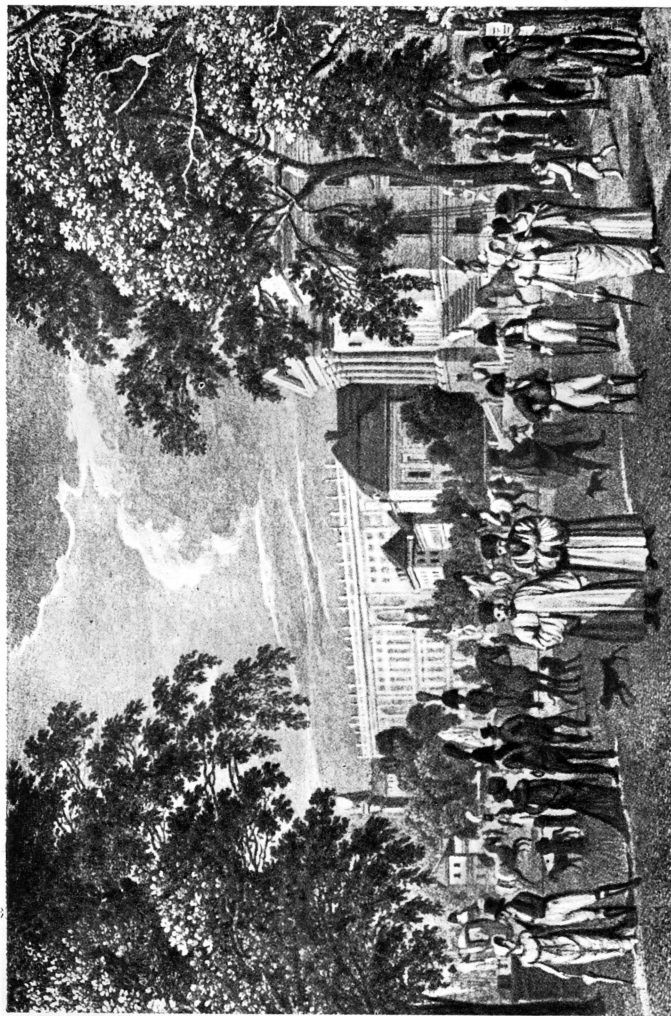
* Берлин, этот совершенно современный город, при всей своей красоте не производит достаточно серьезного впечатления; на нем не видишь отпечатка ни истории страны ни характера жителей, и эти великолепные здания, недавно сооруженные, кажутся собранием помещений, предназначенных только для развлечений и промышленности.

там высокого широкоплечего человека в черном сюртуке? Это знаменитый Космели, который сегодня в Лондоне, а завтра в Испани. Таким я представляю себе Петера Шлемия Шамиссо. Вот в эту минуту у него на языке парадокс. Видите там рослого человека с благородным выражением лица и высоким лбом? Это Вольф, разорвавший на куски Гомера и умеющий писать немецкие гекзаметры. А там, за столом, маленький подвижный человечек с вечно дергающимся лицом, с забавными и, однако, жуткими движениями. Это советник апелляционного суда Гофман, автор «Кота Мура», а высокая торжественная фигура, сидящая против него, — барон Лютвиц, давший в «Фоссовой газете» классическую рецензию о «Коте». Видите там франта, который так легко двигается, лепечет по-курляндски и теперь обращается к высокому серьезному человеку в зеленом сюртуке? Это барон Шиллинг, так задевший в «Минденском воскресном листке» «милых внуков Тевта». Серьезный — это поэт барон Мальтиц. Но угадajte, кто эта решительная фигура, стоящая у камина? Это ваш антагонист Гартман, твердый муж *, точно из бронзы отлитый. Но что мне до всех этих господ, — я проголодался. «Garçon, la carte» **. Взгляните на это множество превосходных блюд. Как мелодично и нежно звучат их названия, as music on the waters ***. Это тайные заклинания, отверзающие нам царство духов. И тут же шампанское. Позвольте мне пролить слезу умиления. А вас, бесчувственный, не трогает все это великолепие, вы жаждете новостей, жалких городских новостей. Вы будете удовлетворены. Любезный г. Ганс, что нового? Он покачивает почтенной седой головой и пожимает плечами. Обратимся к этому маленькому краснощекому человечку; у этого молодца карманы всегда полны новостей, и когда он начинает рассказывать, то словно мельничное ко-

* Игра слов: hart значит твердый, Mann — муж.

** Кельнер, карточку!

*** «как музыка над водами». Строка из «Манфреда» Байрона.



Улица «Под липами» в Берлине в 1820-х гг.

С гравюры неизвестного художника

лесо завертелось. Что нового, любезный г. камермузикус?

Ровно ничего. Новая опера Гельвига «Рудокопы» не очень понравилась. Спонтини сочиняет теперь оперу, для которой текст написал Корефф. Сюжет, кажется, из прусской истории. Скоро мы получим также «Окассена и Николетту» Кореффа, на которую пишет музыку Шнейдер. Но последнюю надо еще немного сократить. После карнавала ожидается также «Дидона» Бернгарда Клейна, героическая опера. Объявлены новые концерты Борера и Буше. На «Фрейшюца» попрежнему трудно достать билеты. Бас Фишер здесь, выступать он не будет, но нередко поет в частных домах. Граф Брюль все еще очень болен; он сломал ключицу. Мы боялись уже, что потеряем его, а такого директора театра, энтузиаста немецкого искусства и стиля, сыскать нелегко. Приезжал танцор Антонен, потребовал сто луидоров за вечер, коих, однако, не получил. Был здесь Адам Миллер, политик, а также изготавитель трагедий Гоувальд. Г-жа Вольтман, вероятно, еще здесь; она пишет мемуары. У Рауха продолжается работа над барельефами к памятникам Блюхера и Шарнгорста. Оперы, которые пойдут во время карнавала, указаны в газете. Трагедия д-ра Куна «Жители Дамаска» пойдет уже этой зимой. Вах занят надпрестольным образом, который будет поднесен нашим королем церкви Победы в Москве. Штих давно разрешилась от бремени и завтра опять выступает в «Ромео и Джульетте». Каролина Фуке издала роман в письмах, в котором ей принадлежат письма героя, а принцу Мекленбургскому Карлу — письма дамы. Государственный канцлер оправляется от болезни. Его лечит Руст. Д-р Бопп получил здесь кафедру восточных языков и прочитал перед большой аудиторией первую лекцию о санскрите. Время от времени здесь еще конфискуют отдельные выпуски «Литературного журнала» Брокгауза. О последнем произведении Герреса «В защиту прирейнских провинций» совсем не говорят, на него не обратили почти никакого внимания. Юноша,

убивший мать молотом, оказался помещанным. Много заставляет о себе говорить мистическая пропаганда в Нижней Померании. В издательстве Вильманса выходит роман Гофмана под заглавием «Блоха», говорят, содержащий много политических колкостей. Профессор Губиц попрежнему занимается переводами с новогреческого и режет теперь на дереве виньетки для «Турецкого похода Суворова», сочинения, которое издается по заказу императора Александра в качестве народной книги для русских. В издательстве Христиани только что вышли «Скорбные песни греков» К.-Л. Блюма, очень поэтичные. Художественная выставка в Академии прошла весьма блестяще, и доходы употреблены на благотворительные цели. Придворный артист Вальтер из Карлсруэ только что прибыл и выступит в «Дорожных приключениях Штаберле». Нейман, по слухам, вернется в марте, и тогда уедет в отпуск Штих. Юлиус фон-Фосс написал еще одну пьесу: «Новый рынок». Его комедия «Квинтин Мессис» идет на будущей неделе. «Принц Гомбургский» Генриха фон-Клейста представлен не будет. Грильпарцеру возвращена рукопись его трилогии «Аргонавты», присланная им здешней дирекции государственных театров. — Маркер, стакан воды! — Не правда ли, у камермузика много новостей! К нему мы и будем прибегать. Он должен снабжать Вестфалию новостями; а чего он не знает, того и Вестфалии знать не надо. Он не принадлежит ни к какой партии, ни к какой школе; он ни либерал ни романтик, и если он говорит что-нибудь злое, то так же невинен при этом, как злосчастная камышинка, из которой ветер извлек слова: «У царя Мидаса ослиные уши»!

П И С Ь М О В Т О Р О Е

Берлин, 22 марта 1822 г.

Ваше почтенное письмо от 2 февраля получил своевременно и с удовольствием усмотрел из него, что мое первое письмо принято вами с одобрением. Слегка намеченное вами желание, чтобы отдельные лица не вы-

двигались слишком отчетливо, будет в общем исполнено. Совершенно верно, меня легко понять неправильно. Люди смотрят не на картину, которую я легко набрасываю, а на фигурки, пририсованные для ее оживления, и, пожалуй, думают даже, что главное для меня — эти фигурки. Но можно написать картину и без фигур, как можно есть суп без соли. Можно говорить иносказательно, как наши газетные сочинители. Когда они говорят о великой северогерманской державе, то всякий знает, что они имеют в виду Пруссию. Мне это кажется смешным. Это было бы похоже на маскарад, где люди в костюмах разгуливали бы по залу без масок. Если я говорю о большом северогерманском юристе, который отпускает возможно более длинные черные волосы, ниспадающие с плеч, возводит любовно-набожные взоры к небесам, хотел бы быть похожим на образ Христа, при этом сам французского происхождения и носит французскую фамилию, однако держит себя в высшей степени по-немецки, то всякий знает, о ком идет речь. Я буду все называть своим именем; я держусь здесь взгляда Буало. Я буду также изображать некоторых лиц: мне мало дела до неодобрения тех людейшек, которые привольно покачиваются в креслах условной корреспонденции и неизменно любовно увещевают: «Восхваляйте нас, но не говорите, какой у нас вид».

Я давно знал, что город похож на молодую девушку и охотно рассматривает свое милое личико в зеркале чужой корреспонденции. Но я никогда не думал, что Берлин в этих случаях станет вести себя как старая баба, как настоящая сплетница. При этом случае я заметил: Берлин — большой Кривинкель.

Я сегодня очень недоволен, ворчлив, хмур, раздражителен; воображение сковано хандрою, и все острооты — под черным траурным покрывалом. Не подумайте, что причина в какой-нибудь женской неверности. Я все еще люблю женщин; когда в Геттингене я был лишен всякого женского общества, я завел себе хоть кошку; но женская неверность могла бы еще подействовать лишь на мои мускулы смеха. Не подумайте, что чув-

•

ствительно оскорблено мое тщеславие; прошло время, когда я по вечерам заботливо заворачивал свои волосы в папильотки, всегда носил в кармане зеркальце и по двадцать пять часов в сутки занимался завязыванием галстука. Не подумайте также, будто религиозные сомнения истерзали мою нежную душу; теперь я верю только в пифагорову теорему и в королевско-прусское земское право. Нет, гораздо более разумная причина вызывает мою тоску: мой дражайший друг, достолюбезнейший из смертных, Евгений ф.-Б. уехал вчера! Это был единственный человек, в обществе которого я не скучал, единственный, оригинальные остроты которого способны были развеселить меня до жизнерадостности, и в милых благородных чертах которого я мог отчетливо читать, какой вид имела некогда моя душа, когда я вел еще прекрасную, чистую жизнь цветка и не запятнал еще себя ни ненавистью ни ложью.

Но боль в сторону; теперь мне предстоит говорить о том, что поют и говорят люди у нас на Шпре. О чем звонят, о чем трещат, о чем хихикают, о чем сплетничают, — обо всем узнаете вы, мой милый.

Буше, давно уже давший свой самый-самый-самый последний концерт и теперь, быть может, восхищающий своими скрипичными фокусами Варшаву или Петербург, в самом деле, прав, называя Берлин *la capitale de la musique* *. Всю зиму здесь столько пели и играли, что у человека могли отняться слух и зрение. Один концерт следовал за другим по пятам.

Не счесть смычков, не счесть имен,

Что притекли со всех сторон;

.....

Испанцы даже здесь толкуются;

И волны звуков с высоты,

Терзая слух, в толпу несутся.

Испанец был Эскудеро — ученик Байо, хороший скрипач, молодой, свежий, смазливый и, однако, не *protégé des dames* **. Зловещий слух предшествовал

* музыкальная столица

** любимец дам

ему, будто итальянский нож сделал его неспособным быть опасным для женского пола. Не стану утомлять вас перечислением всех музыкальных развлечений, восхищавших нас и надоедавших нам в течение этой зимы. Упомяну только, что во время концерта Зейдлер зал был переполнен, но что теперь мы напряженно ждем концерта Друэ, так как в нем впервые публично выступит молодой Мендельсон.

Вы еще не слышали «Фрейшюца» Марии фон-Вебера? Нет? Несчастный человек! Но слышали ли вы по крайней мере «Песню подружек» или «Девичий венок» из этой оперы? Нет? Счастливый человек! Если вы пройдете от Галльских ворот к Ораниенбургским и от Бранденбургских к Королевским, мало того — пройдите от Унтербаума к Кёпникским воротам, — везде и неизменно услышите вы теперь одну и ту же мелодию, песню всех песен — «Девичий венок».

Как в гетевских элегиях проходит бедный британец, по всем странам преследуемый напевом «*Malborough s'en va-t-en guerre*» *, так и меня с раннего утра до поздней ночи преследует песня:

Плетем из роз тебе венок
С фиалковой повязкой,
Готовим свадебный чертог,
К игре зовем и пляскам.

Х о р

Дивный, дивный, дивный девичий венок,
С фиалковой повязкой, с фиалковой повязкой.

Тимьян, лаванда, мирты — их
В саду моем нарву.
Но где любимый, где жених?
Его так страстно жду.

Х о р

Дивный, дивный, дивный и т. д.

* «Мальбруг в поход собрался»

В каком бы превосходном настроении ни встал я утром, все мое веселье мигом отравляется раздражением, если спозаранку школьники проносятся мимо моего окна, щебеча «Девичий венок». Не пройдет и часа, и дочь моей квартирной хозяйки встает со своим «Девичьим венком». Я слышу, как с «Девичьим венком» подымается по лестнице мой брадобрей. Маленькая прачка является с «тимьяном, лавандой, миртой». И так далее. В голове моей гремит. Не могу больше выдержать, бегу из дому и бросаюсь вместе с моей яростью в дрожки. Хорошо, что из-за стука колес не слышу пения. У *** ли схожу. — Дома барышня? — Слуга бежит. — Да. — Двери распахнулись. Красотка сидит за фортепиано и принимает меня сладким:

Но где любимый, где жених?

Его так страстно жду я.

— Вы поете как ангел! — восклицаю я с судорожной любезностью. — Я начну с начала, — лепечет милостивая красотка, и вновь вьет она свой «Девичий венок», и вьет, и вьет, пока я сам не сойюсь, как червяк, в невыразимых муках, пока от ужаса душевного не закричу: «Помоги, Самиэль!»

Так, надо вам знать, зовется в «Фрейшюце» злой дух; охотник Каспар, предавшийся ему, во всякой беде восклицает: «Помоги, Самиэль!» Здесь вошло в моду в комическом затруднении восклицать этот призыв, и Буше, называющий себя «Сократом скрипачей», даже в концерте однажды, когда у него лопнула струна, громко воскликнул: «Помоги, Самиэль!»

И Самиэль помогает. Изумленная донна внезапно обрывает свое истязательное пение и лепечет: — Что с вами? — Это только восхищение, — вздыхаю я с вымученной улыбкой. — Вы нездоровы, — лепечет она, — пройдите по Тиргартену, насладитесь прекрасной погодой и полюбуйте прекрасным миром. — Хватаюсь за шляпу и трость, целую у любезной любезную ручку, кидаю на нее еще один томный взор страсти, бросаюсь в двери, опять сажусь в первые попавшиеся

дрожки и качу к Бранденбургским воротам. Выхожу и бегу в Тиргартен.

Если вам случится быть здесь, советую вам, не упустите случая в один из таких прекрасных предвесенних дней побывать в этот час, в половине первого, в Тиргартене. Возьмите налево и поспешите к местечку, где обитательницами Тиргартена поставлен нашей покойной Луизе маленький простой памятник. Там часто гуляет наш король. У него прекрасная, благородная наружность, внушающая почтение, чуждая всякой внешней пышности. Почти всегда на нем простая серая шинель, и я уверил одного балбеса, что королю часто приходится как-нибудь обходиться этим платьем, потому что его гардеробмейстер проживает за границей и редко приезжает в Берлин. Красивых детей короля также можно видеть в это время в Тиргартене, равно как весь двор и самую знатную знать. Лица необычные — это семьи иностранных послов. Один или два ливрейные лакея следуют поодаль за важными дамами. Офицеры на прекраснейших лошадях гарцуют мимо. Я редко видел более красивых лошадей, чем здесь, в Берлине. Я услаждаю взгляд видом великолепных всадников. Среди них принцы нашего королевского дома! Какая красивая, сильная царственная порода! На этом стволе нет ни одной некрасивой, запущенной ветви. В радостной полноте бытия, с мужеством и величавостью на благородных лицах проезжают там на конях два старших королевских сына. Тот прекрасный юноша с вдумчивым лицом и ясными нежными глазами — третий сын короля, принц Карл. А та сияющая величавая всадница, с пестрой блестящей свитой пронесшаяся на высоком коне, — это наша Александрина. В темной плотно облегающей амазонке, в круглой шляпе с перьями, с хлыстом в руке, она напоминает образы рыцарственных женщин, которые так восхитительно сияют пред нами в волшебном зеркале старых сказок, так что не разобрать, святые это или амазонки. Мне кажется, вид этих чистых черт сделал меня лучше; благоговейные чувства пронизывают

меня, я слышу ангельские голоса, веют невидимые пальмы мира, в душе моей звучит величавый гимн, — тут вдруг звенят струны визгливой арфы и старушечий голос пищит: «Плетем из роз тебе венок».

И так целый день не оставляет меня эта проклятая песня. Лучшие мгновения отравляет она мне. Даже когда я сижу за столом, ее, в виде десерта, горланит мне певец Гейнзиус. Все время после обеда душит меня «фиалковая повязка». Здесь вертит «Девичий венок» безногий калека на шарманке; там пиликает его на скрипке слепой. Но к вечеру раздражается самая свистопляска. Тут и гудят, и вопят, и пищат, и воркуют, — и постоянно старая мелодия. Время от времени, правда, для разнообразия, в трескотню врываются песня Каспара и хор охотников, завываемые каким-нибудь подвыпившим студентом или юнкером, но «Девичий венок» непреходящ: едва кончил его один, другой начинает сначала; изо всех домов звучит он мне навстречу; каждый насвистывает его со своими вариациями; кажется, чуть не собаки на улице воспроизводят его своим лаем.

Как насмерть затравленная косуля, склоняю вечером голову на грудь прекраснейшей дочери Бурсии; она нежно гладит мои щетинистые волосы, лепечет мне на ухо по-берлински: «Люблю тебя, твоя Лавиза никогда тебя не разлюбит», и она гладит и баюкает до тех пор, пока ей покажется, что я задремал, и тогда она потихоньку берет «катарру» и наигрывает и поет арию из «Танкреда»: «После таких мук», и я отдыхаю после стольких мук, и милые образы и звуки порхают вокруг меня, — и вдруг опять вырывают меня из моих грез, и несчастная поет: «Плетем из роз тебе венок».

В безумном отчаянии вырываюсь я из нежнейших объятий, сбегая вниз по узкой лестнице, несусь ураганом домой, скрежеща зубами, бросаюсь в постель, слышу еще, как старая кухарка топчется со своим «Девичьим венком», и крепче закутываюсь в одеяло.

Теперь вы поймете, мой милый, почему я назвал вас счастливецом, если вы не слышали этой песни. Не думайте, однако, что мелодия ее в самом деле плоха.

Наоборот, именно благодаря своей прелести она получила такую популярность. Mais toujours perdrix! * Вы понимаете меня. Весь «Фрейшюц» превосходен и, конечно, достоин того интереса, с которым его принимает теперь вся Германия. Здесь он теперь идет, быть может, уже в тридцатый раз, и все еще необычайно трудно достать хорошие билеты. В Вене, Дрездене, Гамбурге он тоже производит фурор. Это в достаточной степени доказывает, насколько несправедливо мнение, будто эту оперу только раздула здесь антиспонтиниевская партия. Антиспонтиниевская партия? Вижу, что это выражение кажется вам странным. Не считайте его политическим. Яростная партийная борьба между либералами и крайними правыми, какую мы видим в других столицах, не может разразиться у нас, так как посередине стоит мощная и беспартийная примирительная королевская власть. Зато взамен этого мы часто видим в Берлине более занятную партийную борьбу, а именно — в музыке. Если бы вы были здесь в конце прошлого лета, вы имели бы случай наглядно видеть в современности, как приблизительно протекала некогда в Париже борьба *глюкистов* и *пуччинистов*. Но, я вижу, необходимо подробнее остановиться на здешней опере; во-первых, потому, что она все же — главный предмет берлинских разговоров, а во-вторых, потому, что без дальнейших замечаний вы совсем не сможете понять дух некоторых сообщений. О наших певицах и певцах я совсем здесь говорить не буду. Их апологии стереотипны во всех берлинских корреспонденциях и газетных рецензиях; ежедневно читаешь: Миддельгауптман бесподобна, Шульдц превосходна и Зейдлер великолепна. Одним словом, бесспорно, что здесь опера поднята на изумительную художественную высоту и что она не уступает никакой другой немецкой опере. Произошло ли это благодаря неутомимой энергии покойного Вебера, или это кавалер Спонтини, точно прикосновением волшебной палочки, вызвал

* Но каждый день куропатка!

к жизни все это великолепие, как утверждают его сторонники, — осмелюсь усумниться. Я решаюсь даже полагать, что руководство великого кавалера в высшей степени пагубно повлияло на некоторые стороны оперы. Я решительно утверждаю, что со времени полного отделения оперы от драмы и самодержавного воцарения Спонтини в первой, она с каждым днем опускалась вследствие естественного пристрастия великого кавалера к собственным произведениям или произведениям родственных или дружественных гениев и вследствие его столь же естественного нерасположения к музыке композиторов, дух которых не нравится его духу или не преклоняется перед ним или даже — *horribile dictu** — соперничает с его духом.

Я слишком профан в области музыки, чтобы решиться высказать собственное суждение о ценности спонтиниевских композиций, и все, что я говорю здесь, — только чужие голоса, особенно выделившиеся в шуме повседневных разговоров.

«Спонтини — величайший из всех ныне живущих композиторов. Это музыкальный Микель-Анджело. Он проложил новые пути в музыке. Он осуществил то, что только предчувствовал Глюк. Он великий человек, он гений, он бог!» Так говорит спонтиниевская партия, и отзывы безмерных похвал оглашают стены дворцов: надо вам знать, что музыка Спонтини особенно по душе знати, которая осыпает его изысканными знаками своего благоволения. На этих важных покровителей опирается подлинная партия Спонтини, естественно, состоящая из людей, слепо следующих барскому и установленному вкусу, из толпы восторженных сторонников всего иностранного, из нескольких композиторов, которым хочется провести на сцену свою музыку, и, наконец, из кучки истинных почитателей.

Из кого состоит противная партия, догадаться нетрудно. Многие терпеть не могут почтенного кавалера между прочим за то, что он итальянец. Другие потому,

* страшно сказать

что завидуют ему. Третьи потому, что его музыка не немецкая. Но наибольшая часть, наконец, видит в его музыке только барабанное и трубное гроыхание, шумливую напыщенность и надутую неестественность. К этому присоединилось еще недовольство многих*

Теперь, мой милый, вы можете объяснить себе шум, переполнявший в продолжение этого лета весь Берлин, когда «Олимпия» Спонтини впервые появилась на нашей сцене. Не пришлось ли вам слышать музыку этой оперы в Гамме?

В литаврах и трубах недостатка не было, так что один остряк внес предложение испытать крепость стен в новом драматическом театре посредством этой музыки. Другой остряк, только что выйдя из театра после громозвучной «Олимпии», услышал на улице барабан вечерней зори и, переводя дыхание, воскликнул: «Наконец-то слышишь тихую музыку!» Весь Берлин острял над обилием труб и над большими слонами в пышных картинах этой оперы. Но глухие были в совершенном восторге от стольких прелестей и уверяли, что могли наощупь осязать эту прекрасную плотную музыку. Энтузиасты же орали: «Осанна! Спонтини сам — музыкальный слон. Он ангел Страшного суда!» ** Вскоре затем в Берлин приехал Карл-Мария фон-Вебер; его «Фрейшюц» был поставлен в Новом театре и привел публику в восхищение. Теперь у антиспонтиниевской партии явилась точка опоры, и в вечер первого представления Вебер сделался предметом прекрасного чествования. В недурном стихотворении, написанном д-ром Ферстером, говорилось, что вольный стрелок (Фрейшюц) охотился на более благоразумную дичь, чем слон. По поводу этого выражения Вебер выступил на другой день в «Листке объявлений» с весьма жалким заявлением, где подлаживался к Спонтини и порицал бедного Ферстера, имевшего все же столь благие намерения. Вебер

* Вычеркнуто цензурой.

** Игра слов: *Rosaupenengel* значит ангел с трубою, ангел Страшного суда и ребенок с надутыми щеками.

питал тогда надежду получить должность в здешней опере и не вел бы себя со столь неумеренной скромностью, если бы у него уже тогда была отнята всякая надежда на службу здесь. Вебер покинул нас после третьего представления его оперы, вернулся в Дрезден и получил там блестящее приглашение в Кассель, отказался от него, продолжая дирижировать оперой в Дрездене, где его сравнивают с хорошим генералом без солдат, и теперь уехал в Вену, где ожидается постановка его новой комической оперы. Что касается достоинств текста и музыки «Фрейшюца», отсылаю вас к большой рецензии на него профессора Губица в «Der Gesellschafter». Этому остроумному и проницательному критику принадлежит та заслуга, что он первый обстоятельно уяснил романтические красоты этой оперы и определеннейшим образом предсказал ее великие триумфы.

Наружность Вебера не особенно привлекательна. Маленькая фигура, плохой пьедестал и длинное лицо без особенно приятных черт. Но на всем этом лице легли широко разлитая вдумчивая сосредоточенность, твердая уверенность и спокойная воля, с такой значительностью привлекающая нас в лицах старых немецких мастеров. Какая противоположность этому наружность Спонтини! Высокий рост, глубоко залегшие темные огненные глаза, черные, как смоль, локоны, наполовину скрывающие изборожденный морщинами лоб, не то скорбная, не то надменная складка губ, угрюмая дикость этого желтоватого лица, на котором бушевали и продолжают еще бушевать все страсти, вся голова, как будто принадлежащая калабрийцу и, однако, достойная названия красивой и благородной: во всем этом мы сразу узнаем человека, дух которого породил «Весталку», «Кортеса» и «Олимпию».

Из здешних композиторов упомяну вслед за Спонтини нашего Бернгарда Клейна, который давно уже приобрел почетную известность несколькими прекрасными композициями и оперу которого «Дидона» с нетерпением ждет вся публика. Эта опера, по мнению всех знатоков, которым композитор сообщил кое-что из нее, содержит

чудеснейшие красоты и будет гениальным национальным немецким созданием. Музыка Клейна вполне оригинальна. Она совершенно непохожа на музыку обоих охарактеризованных выше мастеров, так же как рядом с их лицами разительную противоположность представляет веселое, приятное, жизнерадостное лицо благодушного уроженца берегов Рейна: Клейн родом из Кельна и может считаться гордостью своего родного города.

Не могу обойти молчанием Г. А. Шнейдера. Не потому, чтобы я считал его таким крупным композитором, но потому, что он, в качестве композитора «Окассена и Николетты» Кореффа, был с 26 февраля по сей день предметом всеобщего разговора. В течение по крайней мере недели только и слышно было, что о Кореффе и Шнейдере, и Шнейдере и Кореффе. На одной стороне стояли гениальные дилетанты, разнося музыку; на другой стояла кучка плохих поэтов, педантически критиковавших текст. Что до меня, то мне эта опера доставила необычайное удовольствие. Меня позабавила веселая сказка, с такой прелестью и детской простотой разработанная талантливым поэтом, меня увлек изящный контраст между суровым Западом и веселым Востоком, и под причудливую смену легко сплетенной вереницы самых фантастических картин зашевелился во мне дух расцветшей романтики. В Берлине всегда происходит необычайный шум по поводу постановки новой оперы, а здесь к этому присоединялось еще то обстоятельство, что капельмейстер Шнейдер и тайный советник кавалер Корефф пользуются столь широкой известностью. Последнего мы скоро лишимся, так как он давно уже собирается в большое заграничное путешествие. Это потеря для нашего города, так как деятели этого отличают общественные добродетели, приятная личность и высота помышлений.

Теперь вы знаете, что *поют* в Берлине, и я перехожу к вопросу, что в Берлине *говорят*. — Я умышленно остановился сперва на пении, так как убежден, что люди пели раньше, чем научились говорить, равно как метри-

ческая речь предшествовала прозе. В самом деле, я уверен, что Адам и Ева объяснялись в любви томными адажио и ругались речитативами. Отбивал ли Адам и такт к последним? Вероятно. Это отбивание такта по традиции осталось еще у нашей берлинской черни, хотя пение при этом вышло из употребления. Точно канарейки, распевали наши предки в долинах Кашемира. Как развились мы с тех пор! Дойдут ли когда-нибудь и птицы до разговора? Собаки и свиньи на добром пути; их лай и хрюканье — переход от пения к настоящему разговору. Первые будут говорить на наречии *os*, вторые на наречии *oui*. Медведи, в сравнении с нами, прочими немцами, еще очень отстали в культуре, и, хотя соперничают с нами в танцевальном искусстве, их ворчание, по сравнению с прочими немецкими наречиями, никак не может быть названо речью. Ослы и овцы уже дошли некогда до языка, имели свою классическую литературу, держали превосходные речи о чистой ослиности в замкнутой овечности, об идее бараньей головы и о великолепии *старокозлиного*. Но, как оно обычно бывает в круговороте вещей, они опять так низко упали в культурности, что потеряли язык и сохранили только сердечное «И-а-а» и детски набожное «Бэ-э».

Но как мне перейти от И-а-а длинноухих и Бэ-э густошерстных к произведениям сэра Вальтера Скотта? Ибо о них должен я говорить теперь, так как весь Берлин говорит о них, потому что они представляют собой «Девичий венок» читательского мира, потому что их повсюду читают, превозносят, критикуют, разносят и опять читают. От графини до швеи, от графа до рассыльного мальчишки, — все зачитываются романами великого шотландца, особенно наши чувствительные дамы. Они ложатся спать с «Уоверли», встают с «Роб-Роем» и целый день держат в руках «Карлика». Особенный фурор произвел роман «Кенильворт». Так как здесь очень немногие благословлены хорошим знанием английского языка, то большая часть нашего читательского мира вынуждена пользоваться французскими и немецкими переводами, в которых и нет недостатка. Уже объявлено о выходе послед-

него романа Скотта «Пират» в четырех переводах. Здесь выйдет два из них: госпожи Монтанглан, в издании Шлезингера, и д-ра Шпикера, в издании Дункера и Гумблота. Третий перевод — Лоца в Гамбурге, четвертый — в карманном издании бр. Шуман в Цвикау. Можно заранее предвидеть, что при таких обстоятельствах дело не обойдется без некоторых трений. Г-жа Гогенгаузен занята теперь переводом «Айвенго» Скотта, и от превосходной переводчицы Байрона мы можем ожидать также превосходного перевода Скотта. Думаю даже, что последний удастся еще лучше, так как в мягкой, восприимчивой к чистым идеалам душе прекрасной женщины простодушно-радостные образы приветливого шотландца найдут гораздо более ясное отражение, чем мрачные адские картины угрюмого, большого сердцем англичанина. Прекрасная нежная Ревекка не могла попасть в более прекрасные, более нежные руки, и чуткой поэтессе остается только переводить сердцем.

Превосходно чествовали здесь недавно Вальтер Скотта. На блестящем маскараде, устроенном на одном празднике, появилось большинство героев скоттовских романов в их характерном облике. Об этом празднике и об этих образах тоже говорят здесь целую неделю. Особенно носились с тем, что сын Вальтер Скотта, ныне находящийся здесь, выступал на этом празднике одетый шотландским горцем и, как требует этого костюм, с голыми ногами, без штанов, лишь в переднике, доходящем до середины бедер. Этого молодого человека, английского гусарского офицера, очень чествуют здесь, и он окружен здесь славой, относящейся к его отцу. — Где сыновья Шиллера? Где сыновья наших великих поэтов, разгуливающие если не без штанов, то, быть может, без рубах? Где, наконец, сами наши великие поэты? Тихе, тихе, это — *une partie honteuse* *.

Не хочу быть несправедливым и умолчать о поклонении, которым окружено здесь имя Гете, немецкого поэта, о котором здесь говорят больше всего. Но полагаю

* срамная часть

руку на сердце, — то, что внешнее положение нашего поэта так блестяще и что он в столь высокой степени пользуется расположением сильных мира сего, не объясняется ли по преимуществу его тонким, мудрым поведением? Чуждо мне желание попрекнуть старого господина мелкостью характера. Гете — великий человек в шелковом сюртуке. Великолепным образом проявил он себя еще недавно в отношении своих земляков, поклонников искусства, которые предположили воздвигнуть ему в благородных пределах Франкфурта монумент и призывали к пожертвованиям всю Германию. Здесь необычайно много препирались об этом вопросе, и моя милость написала следующий, почтенный одобрением, сонет:

Мужчины, девы, женщины, внимлите
И двигайте подписку без стеснения!
Воздвигнуть, Гете в честь, сооруженье
Во Франкфурте решили на синклите.

«Чужой торгаш, — так мыслит местный житель, —
Увидит, что он *наше* порождение,
Что *наш* навоз был почвой для цветенья,
И, ясно, не откажет нам в кредите».

Удел певца — венок его лавровый!
Так придержите деньги, ваш кумир,
Он памятник воздвиг себе и сам.

В грязи пеленок был он близок вам;
Но ныне отделяет целый мир
Величие от площади торговой.

Великий человек, как известно, положил препирательствам конец, возвратив своим землякам грамоту на франкфуртское гражданство с заявлением, что он «совсем не франкфуртец».

После этого и гражданство это — выражаясь по-франкфуртски — упало, говорят, в цене на 99 процентов, и франкфуртские евреи получили больше надежд на это прекрасное приобретение. Но — опять говоря по-франк-

фуртски — разве Ротшильды и Бетманы не стоят давно al-pari? У купца на всем свете одна религия. Его контора — его храм, его письменный стол — его аналой, его grosbuch — его библия, его склад — его святая святых, биржевой звонок — его церковный колокол, его золото — его бог, кредит — его религия.

Мне представляется повод поговорить здесь о двух новинках: во-первых, о новой бирже, устроенной по образцу гамбургской и открытой несколько недель тому назад, и, во-вторых, о старом, вновь подогретом проекте обращения евреев. Но прохожу мимо того и другого, так как на новой бирже еще не был, а евреи — предмет слишком прискорбный. В конце мне, правда, придется вернуться к ним, когда я буду говорить об их новом богослужении, вышедшем, по преимуществу, из Берлина. Пока не могу этого сделать, так как не собрался еще побывать на новом еврейском богослужении. О новой литургии, давно совершаемой в соборе и служащей главным предметом городских разговоров, также не стану говорить, — иначе мое письмо разрастется в целую книгу. У новой литургии множество противников. В качестве одного из виднейших называют Шлейермахера. Я недавно присутствовал на одной его проповеди, в которой он говорит с лютеровской силой, не без прикрытых нападок на литургию. Должен сознаться, никаких особенно божественных чувств не возбуждают во мне его проповеди; но я чувствую, как они для меня в лучшем смысле слова назидательны, как они подкрепляют меня, как подстегивающими словами поднимают с мягкого пухового ложа вялого индифферентизма. Стоит этому мыслителю сбросить с себя черное церковное облачение, и он станет священнослужителем истины.

Необычайное возбуждение вызвали яростные нападки на здешний теологический факультет в заметке о статье «Против Де-Веттова собрания актов» (в «Фоссовой газете») и в ответе на объяснение факультета (там же). Автором этой статьи все называют Бекендорфа. Из-под чьего пера вышли эта заметка и возражение, точно неизвестно. Одни называют Кампца, другие — самого

Бекендорфа, другие — Клиндворта, другие — Бухгольца, другие — еще других. Нельзя не узнать в этих статьях руку опытного дипломата. Говорят, Шлейермахер занят возражением, и могучему оратору нетрудно будет словом своим повергнуть противника в прах. Что теологический факультет не может не отвечать на такие нападки, понятно само собой, и вся публика с напряженным вниманием ожидает этого великого ответа. С нетерпением ждут здесь также появления двух дополнительных томов Энциклопедического словаря Брокгауза по той естественной причине, что в них, согласно перечню в объявлении, даны будут биографии многих общественных деятелей, которые, проживая частью в Берлине, частью за границей, являются обычным предметом здешних разговоров. Только что я получил первый выпуск от А до Бомц (вышел 1 марта 1822 года) и жадно набрасываюсь на статьи: Альбрехт (тайный советник кабинета), Алопеус, Альтенштейн, Ансильон, принц Август (прусский) и т. д. Среди имен, могущих заинтересовать наших местных друзей, укажу статьи об Аккуме, Арндте, Бегассе, Бенценберге и Беньо, славном французе, который, несмотря на свое одиозное положение, сумел представить гражданам великого герцогства Бергского столько прекрасных доказательств благородного и большого характера и который так доблестно борется теперь во Франции за правду и право.

Меры, принимаемые против издательства Брокгауза, все еще остаются в силе. Прошлым летом Брокгауз был здесь и пытался уладить свои разногласия с нашим правительством. Его усилия, вероятно, остались бесплодными. Брокгауз — личность, и личность привлекательная. Его внешняя обходительность, его пронизательная сосредоточенность и его твердое прямотушие показывают в нем человека, смотрящего на науки и на борьбу воззрений не глазами заурядного книгопродавца.

Греческие дела обсуждались здесь усердно, как и везде, и «греческий огонь» почти погашен. Молодость больше всего выказала энтузиазма к Элладе; люди старые, более разумные, покачивали седыми головами. Особенно

горели и пылали филологи. Вероятно, грекам чрезвычайно помогло то, что наши Тиртеи столь поэтическим образом напоминали им о днях Марафона, Саламина и Платеи. Наш профессор Цейне, который, по замечанию оптика Амуэля, не только носит очки, но и знает толк в очках, проявил наибольшую деятельность. Капитан Фабек, который, как вы знаете из газет, не распевая Тиртеевых песен, попросту поехал отсюда в Грецию, говорит, совершил там ряд изумительных подвигов и, для того, чтобы почтить на своих лаврах, возвратился в Германию.

Теперь с определенностью выяснилось, что драма Клейста «Принц Гомбургский, или Сражение при Фербеллине» не пойдет на нашей сцене, и не пойдет, как мне передавали, по той причине, что, по мнению одной благородной дамы, ее предок является там в неблагородном виде. Эта пьеса продолжает быть яблоком раздора в наших эстетических кружках. Что до меня, то я стою на том, что она написана как бы самим гением поэзии и что она выше всех этих фарсов и балаганных пьес и гоувальдовских яичниц, преподносимых нам ежедневно. «Анна Болейн», трагедия очень талантливого поэта Геэ, теперь находящегося здесь, готовится к постановке. Г. Рельштаб предложил нашей дирекции трагедию, под предполагаемым заглавием «Карл Смелый Бургундский». Будет ли принята эта пьеса, не знаю.

Здесь много было болтовни, когда распространился слух, что вышедший в издании Вильманса во Франкфурте новый роман Гофмана «Мастер Блоха и его подмастерья» конфискован по требованию нашего правительства: по его сведениям, в пятой главе романа заключается издевательство над комиссией, ведущей следствие о деятельности революционеров. Что наше правительство обращает мало внимания на такого рода издевательства, оно доказало давно, так как здесь, в Берлине, с разрешения цензуры напечатана у Реймера «Комета» Жан-Поля; между тем в предисловии ко второй части этого романа, как вам, быть может, известно, безбожно высмеивается следствие о революционерах.

•

Но что касается нашего Гофмана, в высших сферах имели полное основание отнестись с большим неудовольствием к таким шуткам. По доверию короля советник апелляционного суда Гофман сам назначен членом этой следственной комиссии; ему-то, во всяком случае, не следовало несвоевременными шутками ослаблять уважение к комиссии, что является поступком предосудительным. Поэтому Гофману предстоит теперь держать ответ, «Блоха» же будет теперь напечатана с некоторыми изменениями. Гофман теперь болен, у него серьезная болезнь носа. — В ближайших моих письмах я, быть может, потолкую подробнее об этом писателе, которого я слишком люблю и уважаю, чтобы говорить о нем со снисхождением.

Г. ф.-Савиньи будет этим летом читать «Институции». Комедианты, представлявшие за Бранденбургскими воротами, делали плохие дела и давно уехали. Блонден здесь и будет ездить верхом и прыгать. Отрезыватель голов Шуман исполняет берлинцев изумлением и ужасом. Но Боско, Боско, Бартоломео Боско, — вот кого надо бы вам повидать! Это настоящий ученик Пинетти! Он чинит разбитые часы скорее, чем часовщик Лабинский, он умеет фокусничать картами и пускать кукол в пляс! Жаль, что такой молодец не изучал теологии. Он бывший итальянский офицер, еще очень молод, мужествен, крепок, выступает в черной шелковой куртке в обтяжку и таких же панталонах, и главное, когда он проделывает свои фокусы, руки у него почти до плеч обнажены. На женский пол они должны действовать еще более привлекательно, чем его кунштюки. Надо сознаться, он действительно красивый молодец, когда его подвижная фигура залита светом слишком полусотни высоких восковых свеч, стоящих, подобно сверкающему лесу светочей, перед длинным столом, уставленным причудливыми фокусническими аппаратами. Он перенес свои представления из зала Ягора в Английский дом и неизменно пользуется все тем же изумительно громадным успехом.

Вчера в Кафе-Рояль я разговаривал с камермузикусом. Он сообщил мне множество мелких новостей, из

коих я запомнил очень немногие. Большинство их, разумеется, из области музыкальной *chronique scandaleuse* *. 20 марта — экзамен у д-ра Штепеля, который преподает фортепианную игру и генерал-бас по методе Ложье. Граф Брюль накануне полного выздоровления. Вальтер из Карлсруэ выступит еще в новом фарсе «Свадьба Штаберле». Супруги Вольф гастрوليруют теперь в Лейпциге и Дрездене. Михаэль Беер написал в Италии новую трагедию «Арагонские невесты», и новая опера Мейербергера идет теперь в Милане. Спонтини пишет музыку на текст «Сафо» Кореффа. Многочисленные филантропы предполагают устроить здесь приют для бездомных мальчиков, подобный тому, который устроен тайным советником Фальком в Веймаре. В книжной торговле Шюппеля вышли «Безобидные заметки о путешествии по части России и Турции» Космели, которые едва ли окажутся столь безобидными, так как этот оригинальный ум повсюду видит вещи своими глазами и говорит о виденном неприкрыто и свободно. Библиотеки для чтения подвергнуты полицейскому надзору и должны представить свои каталоги; все совершенно непристойные книги, как большинство романов Альтинга, А. ф.-Шадена и т. п., будут изъяты. Последний, теперь уехавший в Прагу, только что издал брошюру «Светлые и темные стороны Берлина», содержащую, говорят, много враз и возбуждающую много недовольства. Фабрикант Фритше изобрел новый род восковых свечей, которые на треть дешевле обыкновенных. К предстоящему тиражу выигрышного государственного займа сделаны хорошие дела с продажей билетов. Один банкирский дом Л. Липке и К^о продал уже около десяти тысяч штук. Здесь ожидают Беттихера и Тика. Остроумная Фанни Тарнов живет теперь здесь. Новый «Берлинский ежемесячник» прекратился с января. Генерал Мену Менутули прислал из Италии рукопись своего путевого дневника проф. Идлеру, чтобы тот позаботился о его напечатании. Проф. Бопп,

* скандальной хроники

лекции которого о санскрите попрежнему возбуждают значительный интерес, пишет теперь большой труд о всеобщем языкознании. Около тридцати студентов, среди них много поляков, арестовано за революционную деятельность. Шадов закончил модель статуи Фридриха Великого. Смерть молодого Шадова в Риме принята здесь с большим участием. Художник Вильгельм Шадов написал недавно прекрасную картину, изображающую принцессу Вильгельмину с детьми. Вильгельм Гензель только в мае едет в Италию. Кольбе занят рисунками для цветных окон в Мариенбургском замке. Шинкель рисует эскизы декораций для «Мильтона» Спонтини. Это уже старая одноактная опера, которая будет поставлена здесь впервые в ближайшем времени. Скульптор Тик работает над моделью статуи Веры, которая будет поставлена в одной из двух ниш у входа в Собор. Раух все еще занят барельефами к статуе Бюлова; вместе с уже готовой статуей Шарнгорста они будут поставлены по обеим сторонам новой гауптвахты (между зданием университета и цейхгаузом). Сословные дела, повидимому, быстро идут вперед. Нотабли Восточной и Западной Пруссии будут на этих днях распущены нашим правительством и затем сменены нотаблями наших саксонских провинций. Последними, говорят, будут призваны нотабли рейнских провинций. О переговорах нотаблей с правительством ничего неизвестно, так как они принесли, как говорят, *juramentum silentii* *. — Наши недоразумения с Гессеном, вызванные нарушением территориальных прав при похищении принцессы в Бонне, как видно, не улажены; поговаривают даже, что наш посланник в Касселе отозван. — Здесь ожидается новый саксонский посланник. Здешний португальский посланник граф Лобрау окончательно уволен своим правительством; новый португальский посланник ожидается со дня на день. Наш прусский посланник в Португалии, граф ф.-Флемминг, племянник государственного канцлера, все еще здесь. Наши

* присягу молчания

посланники при королевском саксонском и великогерцогском дармштадтском дворах, г. ф.-Иордан и барон ф.-Оттерштедт, тоже еще здесь. Ожидают нового французского посланника. — Здесь много говорят о бракосочетании принца шведского Оскара с красивой княжной Элизой Радзивилл. О браке нашего кронпринца с дочерью одного из немецких государей больше ничего не слышно. Ожидаются большие празднества по случаю бракосочетания принцессы Александрины. Спонтини пишет к этим торжествам «Праздник роз в Кашемире», где выступают *два* слона. Вечерние ассамблеи у министров теперь закончены; единственные еще продолжающиеся — у князя Витгенштейна по вторникам. Наш государственный канцлер совершенно оправился от болезни и живет частью здесь, частью в Глинике. — К пасхальной ярмарке выйдут в свет «Ежегодники королевских прусских университетов». Библиотекарь Шпикер издает торжественное представление «Лалла Рук». Великан, которого показывали на Королевской улице, перебрался теперь на Павлиний остров. Девриен все еще не совсем поправился. Буше и его жена выступают теперь в концертах в Вене. Новые оперы К.-М. фон-Вебера называются: «Эврианта», текст Гельмины фон-Чези, и «Два Пинто», текст советника Винклера. Бернгард Ромберг здесь.

Ах, господи, трудно с этими новостями. Самые важные часто нельзя сообщить, если не можешь поручиться за их достоверность. Мелкие сплетни тоже передавать нельзя; во-первых, потому, что они часто слишком глубоко затрагивают семейные отношения, а во-вторых, и самое главное, потому, что те из них, которые всего занятнее в Берлине, часто звучат в провинции скучно и нелепо. Ради небес, что интересного для дам в Дюльмене, если я расскажу, что такая-то танцовщица может говорить о себе теперь в двойственном числе, а у такого-то лейтенанта явно фальшивые икры и бедра? Не все ли равно этим дамам, одно или два лица вижу я в этой танцовщице и считаю ли я того лейтенанта состоящим из двух третей ваты и одной трети мяса

или двух третей мяса и одной трети ваты? Чего ради писать заметки о людях, которых совсем не стоит замечать.

Как жили здесь эту зиму, догадаться нетрудно. Не требуется особого описания, так как зимние развлечения одни и те же во всех столицах. Опера, театр, концерты, вечера, балы, чай (столь же *dansants*, сколь *médisants* — столь же с танцами, сколь со злословием), маленькие маскарады, любительские спектакли, большие костюмированные балы и т. д. — вот наши излюбленные вечерние развлечения зимой. Здесь необычайно развито увеселительное общение, но оно разорвано на лоскутки. Рядом друг с другом кипит множество маленьких кружков, которые больше стараются замкнуться, чем расшириться. Достаточно обратить внимание на различные здешние балы; можно подумать, что весь Берлин сплошь разделен на цехи. Двор и министры, дипломатический корпус, чиновники, купцы, офицеры и т. д. и т. д., все дают свои балы, на которых бывают исключительно лица, принадлежащие к данному кругу. Собрания у некоторых министров и послов — собственно большие чайные вечера, даваемые по определенным дням недели — при более или менее значительном стечении гостей обращаются в настоящие балы. Все балы высшего круга с большим или меньшим успехом стремятся походить на придворные или княжеские балы. Господствующим теперь на последних почти во всей культурной Европе является один и тот же тон, или, точнее говоря, они устраиваются по образцу парижских. Таким образом, наши здешние балы не имеют ничего характерного; как курьезно бывает подчас зрелище, когда живущий, быть может, лишь на жалование подпоручик и питающийся черным хлебом барышня в лоскутном мишурном наряде выступают на таких балах с ужасающе барственным видом, а трогательно-жалкие лица резко, точно в театре марионеток, контрастируют с прищурованными чопорными придворными котурнами.

Единовременный общий для всех сословий бал — это устраиваемые здесь с некоторыми пор подписные балы, или, как их в шутку называют, «немаскированные ма-

скарады», в концертном зале Нового драматического театра. Король и двор устаивают их своим присутствием, последний обыкновенно их открывает, и за небольшую входную плату всякий приличный человек может принять в них участие. Об этих балах и о придворных празднествах очень хорошо говорит остроумная и задушевная баронесса Каролина Фуке в своих письмах о Берлине, которые — ввиду глубины мысли, их проникающей, — горячо рекомендую вам. В этом году подписные балы не так блестящи, как в прошлом, когда они имели еще прелесть новизны. Наоборот, балы высоких сановников были в эту зиму особенно блестящи. Моя квартира расположена среди княжеских и министерских дворцов, и поэтому я часто не мог работать по вечерам из-за всего этого громахання карет, топота лошадей и шума. Иногда вся улица бывала запружена экипажами; бесчисленные их фонарики освещали обшитые галуном красные ливреи, метавшиеся между ними с криками и бранью, а из окон дворцовых бельэтажей, где гремела музыка, хрустальные люстры лили свой радостный яркий свет.

Мало снега было у нас в этом году, и, стало быть, почти не было перезвонов санных бубенчиков и щелканья бичей. Как во всех протестантских городах, рождество играет здесь главную роль в большой зимней комедии. Уже за неделю до этого дня все занято покупкой рождественских подарков. Все модные магазины и ювелирные и галантерейные лавки выставили свои лучшие товары — как наши хлыщии выставляють свои научные познания — в ярком освещении; на Замковой площади выстроено множество деревянных балаганчиков с одеждой, утварью, игрушками; и юркие берлинки порхают, как бабочки, от лавчонки к лавчонке и покупают, и болтают, и стреляют глазками, и показывают свой вкус, и себя показывают созерцающим их обожателям. Но самое главное разыгрывается по вечерам; тут видишь, как наши красотики, часто со всем семейством, с папашей, мамашей, тетушкой, сестрицами и братцами, паломничают из одной кондитерской

в другую, словно это места страстей господних. Уплатив свои два гроша за вход, эти милые человечки *con amore* * рассматривают «выставку» множества сахарных или конфетных фигурок, соответственно расположенных, освещенных со всех сторон, и — будучи скучены между четырех перспективно размалеванных стенок — представляют красивую картину. Более всего привлекает здесь то, что эти сахарные фигурки иногда изображают действительные, всем известные лица.

Я исходил множество этих кондитерских, так как для меня всего занятнее незаметно наблюдать, как развлекаются берлинки, как бурно вздымаются от восторга эти чувствительные груди и как эти наивные души возносят к небесам ликующие возгласы на берлинском наречии: «Ну, и чудно же!» У Фукса на выставке этого года можно было видеть картины из «Лалла Рук», как они были представлены в прошлом году на известном придворном празднике в замке. Мне не удалось увидеть у Фукса что-нибудь из этих прелестей, так как восхитительные дамские головки образовали непроницаемую стену пред четырехугольной картиной из сахара. Не стану томить вас, мой милый, обсуждением выставки у всех кондитеров; военный советник Карл Мюхлер, говорят, состоящий берлинским корреспондентом «Эlegantного света», уже дал в этой газете собственный отзыв.

О маскарадах в зале Ягора ничего особенного сказать не приходится, кроме того, что у него введен отличный порядок: всякому, кто боится умереть там от скуки, не возбраняется беспрепятственно удалиться.

Маскарадные балы в Оперном театре очень красивы и пышны. При устройстве их весь партер соединен со сценой, отчего получается громадный зал, освещенный сверху множеством овальных люстр. Эти пылающие круги кажутся чуть не солнечными системами, как они изображены в астрономических учебниках, они поражают и смущают глаз зрителя и льют свой ослепительный свет на пеструю, сверкающую человеческую толпу,

* с увлечением

которая, покрывая своим шумом музыку, танцую и прыгая и теснясь, переливается волнами по залу. Всякий должен здесь быть в маскарадном костюме, и никому не разрешается снимать маску внизу, в большом танцевальном зале. Не знаю, в каких еще городах это установлено. Только в коридорах и в ложах первого и второго ярусов можно расстаться со своей личиной. Низшим слоям предоставлено за небольшую входную плату созерцать все это великолепие с галереи. В большой королевской ложе можно видеть двор, большую часть без масок; иногда некоторые из придворных спускаются в зал и смешиваются с шумной толпой масок. Она состоит из представителей всех сословий. Трудно решить здесь, граф этот субъект или портняжный подмастерье; по внешним манерам это, пожалуй, можно узнать, но никак не по костюму. Почти на всех мужчинах здесь простые шелковые домино и шапо-кляки. Это легко объясняется эгоизмом обитателей большого города. Всякий хочет здесь позабавиться, а не быть, в качестве ряженого, предметом забавы для другого. По этой же причине дамы тоже замаскированы очень просто, главным образом летучими мышами. Толпа *femmes entretenues* * и жриц низменной Вены порхает в этом виде по залу, завязывая деловые интрижки. «Я знаю тебе», — шепчет здесь одна из них, проносясь мимо. «И я тебе знаю», — слышится в ответ. *Je te connais, belle masque* **, — кричит здесь *une chauve souris* *** молодому шелопаю. — *Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose* ****, — громко отвечает злодей, и оскандаленная донна исчезает, как ветер.

Не все ли равно, кто скрылся под маской? Здесь хотят повеселиться, а для веселья нужны только люди. И настоящим человеком становишься только в маскараде, где восковая маска покрывает нашу обыкновенную телесную маску, где простое *ты* возрождает перво-

* содержанок

** Я тебя знаю, прекрасная маска.

*** летучая мышь

**** Если ты меня знаешь, не велика тебе цена

бытную общественную непринужденность, где скрывающее все притязания домино создает прекраснейшее равенство и где царит прекраснейшая свобода — свобода масок. Для меня маскарадный бал — вещь в высшей степени занимательная. Когда грохочут литавры и гремят трубы и при этом упоительно поют милые голоса флейт и скрипок, — как неистовый пловец кидаюсь я в бурлящий, пестро освещенный людской поток и танцую, и ношусь, — и шучу, и всякого задеваю шалостью, и хохочу, и болтаю что в голову взбредет. На последнем маскарадном балу я был особенно весел, я чуть не на голове готов был ходить, вакхический дух охватил все мое существо, и встретиться мне на пути мой смертельный враг, я сказал бы ему: завтра мы будем с тобой стреляться, но сегодня я от всей души тебя расцелую. Чистейшее веселье есть любовь, бог есть любовь, бог есть чистейшее веселье! «*Tu es beau! Tu es charmant! Tu es l'objet de ma flamme, je t'adore, ma belle!*»* — вот слова, сотни раз произвольно срывавшиеся с моих губ. И всем встречным я пожимал руку и пред всеми учтиво снимал шляпу; и все были так же вежливы со мной. Только один истинно немецкий юнец стал грубиянить и ругаться по поводу моего поклонения французскому Вавилону и гремел древнетевтонским пивным басом: «Где веселятся ряженные немцы, должен немец разговаривать по-немецки!» О, немецкий юнец, какими греховными и бестолковыми кажется мне ты и твои слова в такие минуты, когда душа моя объемлет любовью весь мир, когда я в ликовании готов обнять русских и турок, и когда меня влечет упасть в слезах на братскую грудь скованного африканца! Я люблю Германию и немцев; но не меньше люблю и обитателей прочей земли, которых в сорок раз больше, чем немцев. Ценность человека определяется его любовью. Слава богу! Я, значит, стою в сорок раз больше тех, кто не в силах выбраться из болота национального эгоизма и любят только Германию и немцев.

* Ты красив! Ты восхитителен! Ты предмет моей страсти! Я обожаю тебя, моя красавица!

П И С Ь М О Т Р Е Т Ь Е

Берлин, 8 мая 1822 г.

Я облачился только что в мой парадный камзол, черные шелковые панталоны и такие же чулки и торжественнейше сообщаю вам: о высоком бракосочетании ее королевского высочества принцессы Александрины с его королевским высочеством наследным принцем великим герцогом Мекленбург-Шверинским.

Подробное описание свадебных празднеств вы сами, конечно, читали в «Фоссовой» или в «Гауде-Шпенеровой газете», и таким образом я могу к этому прибавить лишь очень небольшое. Есть, однако, и еще одна важная причина, по которой я могу рассказать об этом очень немного, а именно: дело в том, что я в самом деле очень немного из всего этого видел. Так как я очень часто передаю не новость, а ее дух, то оно и не очень важно. Я и недостаточно подготовился к собиранию новостей. Правда, давно уже было установлено, что 25-го состоится бракосочетание этих высоких особ.

Ходит слух, что торжество это будет отложено еще на некоторое время, и в самом деле, мне самому в прошлую пятницу не верилось, что уже завтра состоится венчание. Так было со многими. В субботу утром на улицах не было особенного оживления. Но на лицах отражались поспешность и таинственное ожидание. Беготня слуг, парикмахеры, коробки, модистки и т. д. Прекрасный день, не очень душный; однако люди были в поту. Около шести часов началось гроыхание экипажей.

Я не дворянин, не сановник, не офицер, следовательно не принят ко двору и не мог быть сам в замке на свадебных торжествах. Однако я пошел в замковый двор, чтобы повидать хоть всех особ, имеющих доступ ко двору. Никогда не видел я такого множества великолепных экипажей. На слугах были их лучшие одеяния, и в своих ярких пестрых ливреях, коротких штанах с белыми чулками они были похожи на голландские тюльпаны. На одежде многих из них было больше золота и серебра, чем на всей домашней прислуге североамерикан-

ского бургомистра. Но первенство принадлежало кучеру герцога Кумберлендского. Право, стоит съездить в Берлин уже ради того единственно, чтобы видеть, как парадирует этот цвет всех кучеров на козлах. Что Соломон в своей царственной пышности, что Гарун-аль-Рашид в своем калифском облачении, что триумфальный слон в «Олимпии» пред великолепием этого Великолепного! В менее высокаторжественные дни он уже внушает достаточное почтение своею истинно китайской фарфорностью, маятникообразными движениями своей напудренной с тяжелой косичкой головы, прикрытой волшебной треуголочкой, и удивительной подвижностью рук при управлении лошадьми. Но сегодня на нем был пурпурный наряд, не то фрак, не то сюртук, панталоны того же цвета, все обшито широким золотым галуном. Его благородная голова, белоснежно напудренная и украшенная нечеловечески огромным черным кошелом для волос, была покрыта черной бархатной шапочкой с большим козырьком. Совершенно так же были одеты четыре лакея, стоявшие на запятках, держась друг за друга братскими объятиями и являя глазеющей публике четыре болтающихся кошеля с волосами. Но на Его лице было обычное царственное величие. Он дирижировал шестиупряжной парадной каретой.

Мощно он возжи схватил, и быстро рванулися кони.

Чудовищная толкотня была на Замковой площади. Да, нечего сказать — берлинки не любопытны. Нежнейшие девы угощали меня такими толчками в бока, что я их и сегодня еще чувствую. Счастье, что я не беременная женщина. Но я добросовестно протолкался и счастливо добрался до подъезда замка. Осаживавший толпу полицейский пропустил меня, потому что я был в черном сюртуке и потому что он по виду моему понял, что на окнах моей квартиры висят красные шелковые портьеры. Теперь я превосходно мог видеть, как выходят из экипажей знатные господа и дамы, и меня очень занимали важные придворные наряды и придворные лица. Первых я не могу описать, так как недостаточно одарен портняжным гением, а вторых не хочу описывать по соображениям ку-

тузочным. Две хорошенькие берлинки, стоявшие рядом со мной, с энтузиазмом восхищались прекрасными алмазами и золотым шитьем, и цветами, и газом, и атласом, и длинными шлейфами, и прическами. Я же, напротив, восхищался еще больше красивыми глазами этих восхищенных красоток и несколько рассердился, когда кто-то сзади дружески ударил меня по плечу и предо мной засияло краснощекое личико придворного музыканта. Он был в чрезвычайном возбуждении, этот камермузикус, и прыгал, как лягушка. «Carissime» *, — квакал он, — видите там эту красавицу, графиню? Стройность кипариса, кудри — гиацинты, ротик — одновременно роза и соловей, вся она — цветок, а не женщина, и как бедный цветок, сдавленный между двумя листками пропускной бумаги, стоит она между двумя седыми тетками. Супругу, который поедает такие цветочки вместо репейника для того, чтобы убедить нас, что он не осел, пришлось остаться сегодня дома, — он простужен, он валяется на диване, я должен был занимать его, мы проболтали два часа о новой литургии, и мой язык истерся от этой продолжительной болтовни, и губы заболели от непрестанной улыбки». При этих словах уголки рта камермузикуса стянулись в кислую улыбку, которую он опять слизнул тонким язычком, и вдруг закричал: «Литургия! Литургия! Она полетит на крыльях Красного Орла 3-й степени от колокольни к колокольне jusqu'à la tour de Notre Dame**! Поговорим, однако, о разумных вещах; посмотрите-ка на этих двух нарядных господ, вот, что только что проехали: измятое, засушенное личико, тонкая головка с мягкими ватными мыслями, пестро расшитый жилет, парадная шпага, белые, шелковые, улыбающиеся ножки, и выражается он на французском диалекте, и если перевести это на немецкий язык, то выйдет глупость; наоборот, другой, усатый великан, титан, готовый взять приступом все небеса над кроватями***, —

* Дражайший

** до колокольни собора богородицы

*** Игра слов: Himmel — небо — значит также «балдахин».

бьюсь об заклад, что у него ума, как у Аполлона Бельведерского)... Чтобы навести болтуна на другие мысли, я указал ему на стоявшего против нас моего цырюльника, нарядившегося в новый старонемецкий сюртук. Тут побагровело лицо камермузикуса, и он заскрежетал зубами: «О, святой Марат! Такая мразь разыгрывает борца за свободу! О, Дантон, Коллод'Эрбуа, Робеспьер...» Напрасно напевал я песенку:

Шпандау, о, господь,
Великая твердыня, и т. д.

Все напрасно, — я еще ухудшил дело, пустослов ушел в старые революционные рассказы и стал болтать о гильотинах, фонарях, сентябрьской резне, пока мне, к счастью, не вспомнилась его забавная боязнь пороха, и я сказал: «А знаете, сейчас в Люстгартене будет дан салют из двенадцати пушек?» Не успел я произнести эти слова, как камермузикуса и след простыл.

Я стер холодный пот с лица, когда, наконец, избавился от этого болтуна, поглядел еще на последних выходивших из экипажей гостей, отвесил моим восхитительным соседкам поклон, сопровождаемый милой улыбкой, и направился к Люстгартену. Здесь, действительно, были установлены двенадцать пушек, из которых должно было быть произведено три залпа в тот момент, когда высокая чета будет обмениваться кольцами. В одном из окон замка стоял офицер, который должен был подать пушкарям в Люстгартене знак к стрельбе. Здесь собралась толпа народа. На лицах можно было прочесть особенные, почти противоречащие друг другу мысли.

Одной из прекраснейших черт в характере берлинцев является совершенно неописуемая любовь их к королю и королевскому дому. Принцы и принцессы здесь главный предмет разговоров в самых мелких бюргерских домах. Настоящий берлинец иначе и не выражается, как «наша» Шарлотта, «наша» Александрина, «наш» принц Карл и т. д.

Берлинец как бы вживается в королевское семейство, все члены которого представляются ему добрыми знако-

мыми; он знает особенности каждого и всегда с восхищением замечает в них новые прекрасные стороны. Так, например, берлинцы узнают, что кронпринц очень остроумен, и потому всякое удачное словечко немедленно начинает ходить под именем кронпринца, и одному Геркулесу с разящей палицей остроумия приписываются остроумия всех прочих Геркулесов.

Можете поэтому представить себе, как должен здешний народ любить прекрасную, сияющую Александрину; и этой любовью вы также можете объяснить себе противоречие, запечатлевшееся на лицах берлинцев, когда они в ожидании смотрели на высокие окна замка, где венчалась наша Александрина. Огорчения они не смели высказывать: ведь это праздник любимой принцессы. Радоваться по-настоящему они тоже не могли: ведь они ее теряют. Рядом со мной стояла старушка, на лице которой было написано: да, вот, выдала я ее замуж, но ведь теперь она покинет меня. На лице моего молодого соседа читалось: в сане герцогини Мекленбургской она ведь будет не так высока, как здесь, где она была царицей всех сердец. На алых губках одной хорошенькой брюнетки я прочитал: ах, добратся бы и мне до этого!.. Тут грянули вдруг пушки, дамы вздрогнули, колокола зазвонили, поднялись облака пыли и дыма, мальчишки заорали, люди потащились по домам, а солнце в кровавом зареве закатилось за Монбизу.

Свадебные торжества не были особенно шумны. На утро после венчания высокие новобрачные присутствовали на богослужении в соборе. Они ехали в запряженной восьмериком золотой карете с большими стеклами, и огромная толпа глазела на них. Если не ошибаюсь, в этот день вышеупомянутые лакеи были без кошельков для волос. Вечером был прием поздравляющих, а затем бал с полонезом в Белом зале. 27 марта состоялся обед в Рыцарском зале, а вечером высокие и высочайшие особы были в оперном театре, где исполнялась написанная для этого торжества опера Спонтини «Нурмагал, или Праздник роз в Кашемире». Многие с величайшим трудом добыли билеты на эту оперу. Я полу-

чил билет в подарок, однако не пошел. Правда, следовало пойти для того, чтобы написать вам о ней. Но разве вы думаете, что я ради моих корреспонденций должен приносить себя в жертву? С содроганием вспоминаю еще об «Олимпии», на которой мне по особым обстоятельствам пришлось недавно побывать вторично и с которой я выбрался чуть ли не с разбитыми членами. Но я отправился к камермузикусу и спросил его, что за штука эта опера. Он ответил: «Лучшее в ней то, что там нет ни одного выстрела». Однако я не могу в этом деле положиться на камермузикуса, так как, во-первых, он сам сочиняет музыку и, по его мнению, лучше, чем Спонтини, и, во-вторых, его уверили, что тот собирается написать оперу с обязательными пушками *. Но вообще о «Нурмагале» слышно не много хорошего. Шедевром он быть не может. Спонтини вставил сюда много кусочков из своей предыдущей оперы. Поэтому в новой опере есть, правда, очень хорошие места, но целое состряпано из лоскутков и лишено последовательности и единства, составляющих главное достоинство прочих опер Спонтини. — Высокие новобрачные были встречены всеобщим ликованием. Великолепие постановки, говорят, невиданно. Декоратор и театральные костюмы превосходят себя. Стихи для музыки сочинены театральным поэтом: следовательно, они должны быть хороши. Слонов на сцене не было. «Правительственная газета» от 4 июня говорит с порицанием об одной статье магдебургской газеты, где сообщалось, что в новой опере появятся два слона, и замечает с шекспировским остроумием, что эти слоны «пока что сидят, вероятно, в Магдебурге». Если магдебургская газета почерпнула это сообщение из *моего* второго письма, то я с глубочайшим прискорбием приношу извинение, что я, злосчастный, навлек на нее перуны этого остроумия. Я беру обратно то, что сказал, и с таким смирением и скорбью, что «Правительственная газета» должна лить слезы умиле-

* Игра слов: mit obligaten Kanonen — музыкальный термин — значит также: с обязательными канонами (церковными песнопениями).

ния. Вообще, я раз навсегда заявляю, что готов брать обратно все, что потребуют, лишь бы это не стоило мне большого труда. Я, действительно, слышал, что в «Празднике роз» примет участие пара слонов. Потом мне говорили, что это будет пара верблюдов, потом говорили, что там выступит пара студентов, и, наконец, оказалось, что это будет пара ангелов невинности.—28-го был бесплатный маскарад. Уже с половины девятого начали съезжаться маски в оперный театр. В предыдущем письме я описал здешний маскарадный бал. На этот раз он отличался тем, что черные домино не допускались, что все присутствующие были в башмаках, что разрешено было с часа ночи снимать в зале маски и что входные билеты и угощение были даровые. В последнем было все дело. Если бы я не носил в груди непоколебимого убеждения, что берлинцы — образец образованности, тонкого обращения и с полным правом презрительно взирают на неотесанность моих земляков; если бы я не убедился во многих случаях, что самый нищий берлинец дошел до высочайшего искусства голодать пристойно и научился мастерски втискивать вопиющий желудок в формы благородного благоприличия, — то я очень легко мог бы составить об этих людях самое неблагоприятное мнение, видя, как на этом бесплатном балу они обступили буфет плотной стеной в шесть человек толщины, как они лили в глотку стакан за стаканом, набивали брюхо пирожными, и все это с таким изящным обжорством и героической настойчивостью, что порядочному человеку почти невозможно было прорвать строй этой буфетной фаланги, чтобы при духоте, царившей в зале, освежиться стаканом лимонада. Король и весь двор присутствовали на этом балу. Вид новобрачной привел в восторг всех присутствующих. Она больше блистала своей прелестью, чем роскошным бриллиантовым убором. На короле было темногубое домино. Принцы были главным образом в староиспанских и рыцарских костюмах.

Я давно уже заметил, что порядок, в котором я сообщая вам о здешних событиях, определяется моей

•

прихотью, а не их хронологией. Если бы я следовал последней, мне пришлось бы начать мое письмо с юбилея тайного советника Гейма. Вероятно, вы достаточно знаете из газет, как чествовали здесь этого заслуженного врача. Целых два дня говорили об этом в Берлине, а это много значит. Повсюду рассказывали анекдоты из жизни Гейма, и некоторые из них чрезвычайно забавны. Самым смешным из них кажется мне рассказ о том, как он мистифицировал своего кучера, когда тот однажды заявил ему, что доволен его возил, теперь он сам хочет стать врачом и учиться медицине. Отмечено также много других служебных юбилеев, и у Ягора хлопали пробки бутылок шампанского. Вообще, не успеешь оглянуться, как человек здесь уже отслужил пятьдесят лет. В этом виноват климат. — Был отпразднован также юбилей одной служанки, и в «Элегантном свете» было рассказано, как чествовали и воспевали горничную-юбиляршу. Даже одна матрона с улицы Невинности праздновала, как мне рассказывали вчера, свой юбилей. Она была увенчана розами и лилиями; один чувствительный португей-юнец поднес ей энергичный сонет, совершенно в духе обычной юбилейной поэзии, где рифмовалось увлечение, побуждение, мление, трение и где двенадцать девственниц поют:

Мой меч, о, друг мой старый,

Что значит блеск твой ярый? и т. д.

Как видите, стихи Теодора Кернера распеваются попрежнему. Конечно, не в кругах с хорошим вкусом, где давно уже открыто признали исключительной удачей то, что в 1814 году французы не понимали по-немецки и не могли читать эти вялые, пустые, плоские, прозаические стихи, так воодушевлявшие нас, добрых немцев. Но эти освободительные вирши часто еще декламируются и распеваются на задушевных вечеринках, где греются зимою у невинного огонька тлеющей соломы, потрескивающей в этих патриотических песнях; и как престарелый белый конь великого Фридриха вновь юношески становился на дыбы и проделывал всякие

воинские маневры, так подымается высокое чувство в сердце иной берлинки, когда она слышит песню Кернера; она грациозно прижимает руку к груди, выпускает бездонный вздох упоения, мужественно подымается, как Иоганна де-Монфокон, и говорит: «Я — немецкая девственница».

Я замечаю, мой милый, вы смотрите на меня кисло-вато из-за горького, язвительного тона, каким я иногда говорю о вещах, которые дороги и должны быть дороги другим людям. Но я не могу иначе. Слишком пылает моя душа жаждой истинной свободы, чтобы не охватил меня гнев, когда я смотрю на наших мелко-травчатых, велеречивых героев свободы в их сером убожестве; слишком сильны в моей груди любовь к Германии и преклонение перед немецким величием, чтобы я стал подтягивать бессмысленной дребедени грошовых людишек, кокетничающих немецким национальным чувством; и, подчас, почти судорожно вспыхивает во мне желание сорвать бесстрашной рукой ореол с головы старой лжи и подергать самого льва за шкуру, потому что я чую скрывающегося под нею осла.

О драме сообщу вам и на этот раз немного. Комик Вальтер имел здесь некоторый успех; что до меня, то мне его юмор не по вкусу. Напротив, Лебрен из Гамбурга, недавно выступавший здесь несколько раз, поистине, восхитил меня. Это один из лучших наших немецких комиков, несравненный в жизнерадостных ролях, и он вполне заслуживает тех похвал, которыми осыпали его здесь все знатоки. Карл-Август Лебрен как бы рожден быть актером, природа в полной мере одарила его всеми талантами, потребными для этого дела, а искусство развило их. Но что сказать мне о Нейман, которая очаровала всех берлинцев и даже рецензентов. Чего не сделает смазливое личико! Счастье еще, что я близорук, а то эта Цирцея и меня так же превратила бы в серую скотинку, как одного из моих приятелей. У этого несчастного теперь такие длинные уши, что одно торчит в «Фоссовой газете», другое в «Гауде-Шпенеровой газете». Некоторых юнцов эта дама уже свела с ума;

один из них страдает водобоязнью и больше не пишет стихов. Всякий чувствует себя счастливым, лишь приблизившись к красавице. Один гимназист, платонически влюбившийся в нее, преподнес ей каллиграфический образец своего почерка. Ее муж тоже актер и блистал как лощенный холст в комедии «Треска и колотушки». Милой женщине, конечно, досаждают чрезмерное внимание ее обожателей. Рассказывают, что один больной, живущий рядом с нею, не имел покоя от людей, ежеминутно врывающихся к нему в комнату с вопросом: «Здесь живет мадам Нейман?» — пока, наконец, он не вывесил на своей двери надписи: «Мадам Нейман здесь *не* живет».

Красавицу даже отлили из чугуна, и продаются маленькие железные медали с ее изображением. Говорю вам, энтузиазм к Нейман свирепствует здесь, как скотский падеж. В то время как я пишу эти строки, я сам чувствую влияние заразы. Еще звучат в моих ушах восторженные выражения, в которых вчера превозносил ее один седовласый. Ведь и Гомер не мог сильней изобразить красоту Елены, как рассказом о восхищении, охватившем при ее виде седых старцев. Очень многие медики тоже увиваются вокруг красавицы, и здесь в шутку называют ее «Венерой Медицинской». Но что тут много рассказывать, вы сами, конечно, внимательно читаете наши театральные рецензии и заметили, как правильно движется в них стихотворный размер — и как раз размер сафической оды к Венере. Да, это Венера, и даже Венера женского пола, как выразился один альгонский купец. Только проклятый наборщик подбрасывает иногда осиное жало в чашу гиметского меда, приносимого нашей богине преклоняющимся рецензентом. «Справочный листок» (самое название есть ирония)* сообщает, что в рецензии «Шпенеровой газеты» (№ 63, от 25 мая) о гастролях г-жи Нейман вкрадлась опечатка. В строчке 26 напечатано: «подвижная лю-

* Газета называется «Intelligenz-Blatt», а Intelligenz по-немецки значит и деловое общение и разум.

бовная игра», тогда как следует: «подвижная игра лица» *. Вчера красавица выступала в новой комедии Клаурена «Жених из Мексики». В этой пьесе грациознейшим образом брызжет легкая, оригинальная, почти сказочная веселость, которая должна прийтись по душе всякому любителю радостного расположения духа. Комедия и в самом деле понравилась многим, да и вообще все выходящее из-под пера этого писателя встречается здесь с необычайным восхищением. Сочинения его имеют много противников, но они выдерживают одно издание за другим.

На Александровской площади строится народный театр. Некто, по фамилии Церфф, получил на это привилегию, но уступил ее другому лицу и получает отступных три тысячи талеров в год. Вести дело будет бывший актер Бетман. Заведывание литературной частью в этом театре предложено, как мне сообщали, профессору Губицу. Было бы желательно, чтобы он взялся за это дело, так как он отлично знает сцену и ее хозяйство и в то же время знаменит как драматург, критик и мастер в изобразительных искусствах, соединяя, таким образом, в этой многосторонности все, необходимое для такого руководства. Сомневаются, однако, чтобы он взял на себя таковое, так как он совершенно поглощен редактированием журнала «Der Gesellschafter», которому он отдался душой и телом. Журнал этот очень распространен, расходуется в количестве, кажется, 1 500 экземпляров, читается здесь с необычайным интересом и может, полагаю, быть назван самым содержательным и лучшим во всей Германии. Губиц ведет его с рвением и добросовестностью, часто близкой к мнительности. В стремлении к корректности и пристойности он чересчур уж строг. Не вообразите, однако, что дело идет о педанте. Этот человек в цвете лет, независимый, жизнерадостный, энтузиаст всего прекрасного, и в личности его жив тот же веселый анакреонтический

* Игра слов: Minne значит любовь, Miene — мина, выражение лица.

дух, который так отличает его позицию. Недавно здесь у нас появился еще один еженедельник; предназначенный для народа, он выходит под редакцией лейтенанта Лейтгольда, не так давно возвратившегося из путешествия в Бразилию, называется «Диковинки и редкости» и снабжен наивным эпиграфом. Лучшие здешние издания для народа — «Наблюдатель на Шпре» и «Бранденбургский вестник». Последний — скорее для образованных слоев. Я с изумлением заметил, что в нем опять перепечатана часть моего второго письма из «Вестфальского указателя». Хотя я очень тронут этой честью и присовокупленной сюда похвалой, однако это причинило бы мне, пожалуй, великую неприятность, если бы здешняя галантная цензура не вычеркнула того, что я говорил там о берлинках. Если бы эти ангелы прочитали сказанное там, мне бы дюжинами полетели в голову цветочные корзины. Но я и в этом случае не сбегал бы на Собачий мост; прекрасная барышня Фортуна давно уже поднесла мне такую огромную железную корзину *, что я едва бы мог наполнить ее корзиночками всех берлинских дам. Змею, и притом весьма редкостную, можно теперь видеть за 8 грошей в д. № 24 Под Липами. Замечу вам при этом случае, что я переехал. — Блонден со своей трупой все еще дает за Бранденбургскими воротами свои прекрасные и собирающие множество посетителей представления высшей верховой езды. У него Колумб высаживается в Отаити. — Боско закончил, наконец, свои предпоследние, последние и самые последние представления, дав несколько в пользу бедных. Говорят, он подражает Буше: но это неверно, — Буше подражал ему, фокуснику. Статуи Бюлова и Шарнгорста будут на-днях поставлены по обеим сторонам новой гауптвахты. Их можно теперь видеть в мастерской Рауха. Я уже раньше смотрел их там и нашел прекрасными. Статуя Блюхера, сделанная Раухом для Бреславля, отправлена туда. Я видел новую

* Игра слов: «поднести корзину» по-немецки значит «отвергнуть любовное предложение»,

биржу. Она устроена прекрасно. Множество просторных, роскошно отделанных комнат. Все сделано на широкую ногу. Мне говорили, что создатель этого учреждения — благородный любитель искусств, сын великого Мендельсона, Иосиф Мендельсон. Берлин давно нуждается в таком учреждении. Не только коммерсанты, но и служащие, ученые и люди всех званий посещают биржу. — Особенно притягательна читальня, где я нашел сотню с лишком немецких и заграничных газет и журналов. Среди них видел я и наш «Вестфальский указатель». Научно образованный руководитель д-р Берингер заведует читальней, умея заслужить признательность всякого посетителя своей предупредительной любезностью. — Иости ведет ресторан и кондитерскую. Прислуга — в коричневых ливреях с золотыми галунами, а швейцар внушает особое почтение своим большим маршальским жезлом. — Постройки «Под Липами», удлиняющие Вильгельмштрассе, быстро идут вперед. Вырастут прекрасные колоннады. На днях происходила также закладка нового моста. — В музыкальном мире очень тихо. — В la capitale de la musique дело происходит, как и во всякой иной capitale: в столице потребляют то, что производится в провинции. Кроме юного феникса Мендельсона, который по отзыву всех музыкантов есть музыкальное чудо, второй Моцарт, я не мог бы указать среди *проживающих здесь* автохтонов* ни одного музыкального таланта. Большинство выдающихся здесь музыкантов — из провинции, а то и из-за границы. С невыразимым удовольствием должен я упомянуть здесь, что наш земляк Иосиф Клейн, младший брат композитора, о котором я говорил в моем предыдущем письме, подает самые большие надежды. Многое из написанного им вызывает похвалы знатоков. Скоро выйдут его песни, имеющие здесь большой успех и часто исполняемые в обществах. Поражающая оригинальность отличает их мелодии, они близки всякому сердцу, и можно предвидеть, что этот юный художник

* туземцев

некогда станет одним из прославленнейших немецких композиторов. Спонтини покидает нас надолго. Он едет в Италию. Он послал в Вену свою «Олимпию», которая, однако, не будет там поставлена, так как требует слишком больших расходов. — Итальянские буффоны пробыли здесь лишь несколько дней. «Под Липами» выставка восковых фигур. — На Королевской улице (угол Почтовой) показывают диких зверей и Минерву. — Процесс Фонка также составляет здесь предмет общественных разговоров. Впервые привлекла здесь к нему внимание очень хорошо написанная брошюра Крейзера. После нее вышло еще много брошюр, сплошь высказывавшихся *за* Фонка. Между ними выделялась книга барона ф.-д.-Лейена. Эти книги вместе со статьями о процессе Фонка в «Вечерней газете», «Литературном журнале» и сочинением самого обвиняемого распространили здесь благоприятное мнение о Фонке. Лица, втайне настроенные *против* него, публично высказываются все же за него, из сострадания к несчастному, промучившемуся уже столько лет. Мне пришлось в одном обществе упомянуть об ужасном положении его ни в чем неповинной жены и о страданиях их благородной, уважаемой семьи, и когда я рассказывал, что, по слухам, кельнская чернь оскорбляла бедных малолетних детей Фонка, одна дама упала в обморок, а одна красивая девушка принялась горько плакать и, рыдая, говорила: «Я уверена, что король помилует его, если его и осудят». Я тоже убежден, что наш добрый король воспользуется своим прекраснейшим и божественнейшим правом, чтобы спасти такое множество хороших людей от несчастья; я желаю этого так же сердечно, как берлинцы, хотя не разделяю их взглядов на самый процесс. Относительно последнего я слышал необычайное множество беспочвенных разглаговольствований. С наибольшей основательностью говорят о нем господа, не имеющие о деле никакого понятия. Мой приятель, горбатый секретарь суда, говорит, что, будь он на Рейне, он немедленно выяснил бы дело. Вообще, по его мнению, тамошнее судопроизводство

никуда не годится. «К чему, — говорил он вчера, — эта публичность? Какое дело Петру или Христофору до того, убил ли Ценена Фонк или кто-либо другой? Поручите мне дело, я закурю трубку, просмотрю документы, доложу о них, присутствие при закрытых дверях будет иметь о них суждение и вынесет приговор и оправдает молодца или осудит его — и ни одна ворона о том не каркнет. На что эти присяжные, этот кум сапожник и этот кум перчаточник? Я думаю, я, человек с высшим образованием, слушавший логику у Фриза в Иене, имеющий отметку о прослушании всех его юридических лекций и выдержавший экзамен, я ведь больше могу судить, чем этакие необразованные люди? В конце концов этакий человек возомнит себя невесть какой важной особой, потому что столь много зависит от его *да* или *нет*! И хуже всего этот Code Napoléon, этот скверный кодекс, не позволяющий даже дать служанке по уху»... Но довольно говорить премудрому секретарю суда. Он является представителем множества людей, которые здесь стоят за Фонка потому, что они *против* прирейнского судопроизводства. Из-за этого последнего завидуют прирейнцам и охотно избавили бы их от этих «оков французской тирании», как некогда называл французский закон *незабвенный* Юстус Гренер — упокой господи его душу. Пусть долго еще дорогая страна прирейнская носит эти оковы и пусть закуют ее еще в такие же! Пусть долго еще цветет на Рейне эта подлинная любовь к свободе, основанная не на ненависти к французам и национальном эгоизме, эта подлинная сила и юность, струящаяся не из водочной бутылки, и эта подлинная христова вера, ничего общего не имеющая с обличительным религиозным пылом или ханжеским прозелитизмом.

В нашем университете ровно ничего нового, только тридцать два студента исключены за участие в недозволенных кружках. Быть исключенным — вещь очень тягостная; даже простое увольнение имеет, говорят, неприятные стороны. Полагаю, что строгий приговор против тридцати двух будет еще смягчен. Я совсем не

собираюсь защищать недозволенные кружки в университетах; это остатки старого корпорационного строя, который мне хотелось бы видеть совершенно изгнанным из нашего времени. Однако я считаю, что эти кружки — необходимое следствие наших университетских порядков, или, вернее, беспорядков, и что они, вероятно, исчезнут не раньше, чем к нашим студентам будет применена милейшая и любимейшая оксфордская система стойлового откармливания. Польских студентов *видишь* теперь здесь не больше полдюжины. Над ними было наложено широкое следствие. Многие, говорят, уехали отсюда без большого желания вернуться, а значительная часть, кажется, человек около двадцати, содержится в наших городских тюрьмах. Большинство их — из *русской* Польши и провинились в революционной деятельности, направленной против их правительства.

Говорят, Людвиг Тик в скором времени придет сюда и будет читать лекции о Шекспире. 31-го прошедшего месяца был день рождения князя, государственного канцлера. На днях здесь ожидается прибытие гессенского посольства, которому надлежит уладить наши разногласия по поводу известного нарушения территориальных прав. В Померанию отправлена комиссия для обследования тамошнего сектантства. Шерстяная ярмарка открыта, и сюда прибыло множество помещиков, привезших для продажи шерсть и в шутку прозванных здесь «состоятельными» *. Даже улицы становятся честолюбивыми. «*Последняя улица*» желает теперь именоваться Доротеевской. Говорят, Фридриху Великому будет поставлена статуя на Оперной площади. У семьи танцоров Коблер сгорел багаж на шоссе у Блюмберга. При постройке нового моста применяется паровая машина.

Литературных новостей в настоящую минуту очень мало, хотя Берлин их главный рынок. В отношении овощей я иду вперед вместе с моим временем. Спаржи

* Игра слов: wohlhabend значит «состоятельный» и в то же время может означать «имеющий шерсть».

я больше не ем, а ем гороховые стручья. Но в литературе я отстал. Да, я не читал еще даже подложных «Годов странствия», наделавших и до сих пор продолжающих делать столько шума. Эта книга представляет особый интерес для Вестфалии, так как теперь все утверждают, что автор ее — наш земляк, д-р Пусткухен из Лемго*. Не знаю, почему он хотел отречься от авторства, ведь ему, конечно, не приходится стыдиться этой книги. Долго ломали себе голову над тем, кто ее автор, и называли разные имена. Гофрат Шютц публично заявил, что это не он. Некоторые голоса называли советника министерства иностранных дел ф.-Фарнгагена; но он сделал такое же заявление. К тому же такое предположение на его счет было совершенно невероятно, так как он принадлежит к величайшим почитателям Гете, и сам Гете в последнем выпуске своего журнала «Искусство и старина на Рейне» заявил даже, что Фарнгаген глубоко понял его и ему самому не раз уяснял его. Право, после радости ощущать себя самим Гете я не знаю более радостного чувства, чем получить такое свидетельство от Гете, человека, стоящего на вершине своей эпохи. Кроме того, говорят о немецком «Жиль Блазе», вышедшем четыре недели тому назад под редакцией Гете. Эта книга написана одним бывшим слугой. Гете отдал ее и приложил к ней весьма замечательное предисловие. Этот могучий старец, Али-Паша нашей литературы, издал также еще одну часть своей автобиографии. По завершении это будет одно из замечательнейших созданий, как бы великая эпопея эпохи. Ибо такая автобиография есть также биография эпохи. Гете рисует по преимуществу последнюю и ее воздействие на него, тогда как другие автобиографии, например Руссо, имеют в виду исключительно свою неприятную субъективность.

Но часть биографии Гете появится лишь после его смерти, так как он говорит в ней о всех своих веймарских отношениях, особенно же о касающихся великого

* См. примечание на стр. 259.

герцога. Эта дополнительная часть, конечно, привлечет наибольшее внимание. В скором времени мы получим также мемуары Байрона, которые, однако, по слухам, богаты, подобно его драмам, не столько действием, сколько изображением его душевного состояния. В предисловии к его трем новым драмам содержатся весьма замечательные слова о нашем времени и его революционности. Очень жалуются еще на безбожие его поэзии, и поэт-лауреат Соути в Лондоне называет Байрона и близких ему по духу «сатанинской школой». Но Чайльд-Гарольд мощно взмахивает отравленным бичом, которым хлещет увенчанного поэта. — Большое внимание возбуждает другая автобиография. Это «Мемуары Джакомо Казанова-да-Сенегалья», издаваемые Брокгаузом в немецком переводе. Французский оригинал еще ненапечатан, и судьбы манускрипта пребывают еще во мраке неизвестности. Подлинность его не подлежит сомнению. «Fragment sur Casanova» в сочинениях принца Шарля де-Линя — достоверное свидетельство, и по книге сразу видно, что она не сфабрикована. Моей возлюбленной я бы ее не предложил, но зато всем моим друзьям рекомендую. Итальянская чувственность знойно дышит на нас из этой книги. Герой ее — жизнерадостный, крепкий венецианец, истый пройдоха, объездивший весь свет, состоит в близких отношениях с самыми выдающимися людьми и еще в гораздо более близких — с женщинами. В этой книге нет ни строки, совпадающей с моими чувствами, но также ни строки, которую я читал бы без удовольствия. Вторая часть должна выйти уже в скором времени, но здесь ее пока достать нельзя, так как со вчерашнего дня, как мне сообщали, издательство Брокгауза опять подчинено цензуре. Хороших беллетристических произведений здесь за эти дни не появилось. Фуке выпустила в свет новый роман, под заглавием «Преследуемый». В мире поэтического дела идет здесь так же, как в музыкальном. Поэтов достаточно, но хороших стихотворений мало. Будущей осенью, однако, мы можем ожидать кое-чего хорошего. Кехи (не берлинец), недавно давший нам очень содер-

жательную работу о сцене, скоро выступит с томом стихов, и образцы, с которыми мне довелось познакомиться, дают мне основание питать очень большие надежды. Они проникнуты чистым чувством, необычайной нежностью, глубокой сердечностью, не омраченной никакой горечью, одним словом, истинной поэзией. Избытка в подлинных драматических талантах теперь как раз нет, и я многого жду от ф.-Ихтрица (не берлинца), молодого поэта, написавшего ряд драм, изумительно расхваливаемых знатоками. Одна из них, «Иоанн Златоуст», скоро появится в печати и, полагаю, привлечет общее внимание. Я слышал из нее отрывки, достойные величайшего мастера. — О «Мастере Блохе» Гофмана я обещал в прошлом письме написать побольше. Возбужденное против автора следствие прекращено. Он все еще хворает. Я, наконец, прочел этот нашумевший роман. *Ни строчки* не нашел я в нем, указывающей на демагогические интриги. Сперва заглавие книги показалось мне очень неприличным; при упоминании о нем в обществе щеки мои покрывались девственным румянцем, и я всегда лепетал: «С позволения сказать, роман Гофмана». Но в «Обхождении с людьми» Книгге (часть 3, гл. 9, об обхождении с животными; гл. 10 трактует об обхождении с писателями) я нашел место, которое касается обхождения с блохами, и из которого я узнал, что последние не столь неприличны, как «некоторые другие маленькие животные», коих этот великий знаток людей и тварей сам не называет. Эта гуманистическая цитата оправдывает Гофмана. Сошлюсь на песню Мефистофеля:

Жил был король когда-то,
При нем блоха жила.

Однако герой романа — не блоха, а человек, по имени Перигрин Тис, живущий в состоянии сновидения, случайно встретившийся с повелителем блох и ведущий с ним забавнейшие разговоры. Этот повелитель, по прозванию Мастер Блоха, — весьма рассудительный человек, немножко трусоватый, но очень воинственный

и носит на тощих ногах высокие золотые сапоги с алмазными шпорами, как и изображено на обложке книги. Его преследует некая Дертье Эльвердинк, которая, говорят, должна изображать собою демагогию. Прекрасная фигура — студент Георг Пепуш, который, собственно, есть репейник Цехерит и некогда процветал в Фамагусте и влюблен в Дертье Эльвердинк, которая, впрочем, есть принцесса Гамагея, дочь царя Секакиса. Возникающие таким образом контрасты между индусским мифом и повседневностью не так пикантны в этой книге, как в «Золотом горшке» и других романах Гофмана, где автор применяет тот же натурфилософский *coup de théâtre* *. Мир задушевности, изображать который Гофман умеет так чудесно, вообще представлен в этом романе чрезвычайно трезво. Первая книга его божественна, прочие невыносимы. В книге нет устойчивости, нет большого средоточия, нет внутреннего цемента. Если бы переплетчик произвольно перепутал ее листы, этого, наверное, никто бы не заметил. Великая аллегория, в которой в конце концов сливается все, не удовлетворила меня. Пусть другие тешатся ею; по моему убеждению, роман не должен быть аллегорией. Вот в том-то и источник суровости и горечи, с которыми я говорю об этом романе, что я так ценю и люблю предыдущие произведения Гофмана. Они принадлежат к замечательнейшим созданиям нашего времени. Все носят печать необычайного. Каждого должны увлечь «Фантастические рассказы». В «Элексире дьявола» заключено самое страшное и самое ужасающее, что только способен придумать ум. Как слаб в сравнении с этим «The monk» ** Льюиса, написанный на ту же тему. Говорят, один студент в Геттингене сошел с ума от этого романа. В «Ночных рассказах» превзойдено все самое чудовищное и жуткое. Дьяволу не написать ничего более дьявольского. Маленькие новеллы, большинство которых объединено под заглавием «Серапионовы братья»

* нежданная развязка

** монах

и к которым надо присоединить также «Крошку Цахеса», не так резки, иногда даже грациозны и веселы. «Театральный директор» — довольно посредственный плут. В «Стихийном духе» основная стихия — вода, а духа нет никакого. Но принцесса Брамбилла — восхитительное создание, и у кого от ее причудливости не закружилась голова, у того совсем нет головы. Гофман совершенно оригинален. Те, кто называют его подражателем Жан-Поля, не поняли ни того ни другого. Произведения обоих имеют прямо противоположный характер. Роман Жан-Поля всегда начинается в высшей степени гротескно и шутовски, и так оно идет дальше, и вдруг, прежде чем успеешь оглянуться, выплывает из глубины прекрасный и чистый мир задумчивости, озаренный месяцем, красновато расцветший пальмовый остров, который со всем своим тихим благоухающим великолепием вновь быстро погружается в уродливые, резко скрежещущие волны эксцентрического юмора. Передний фон романов Гофмана обыкновенно весел, цветущ, часто мягко-трогателен, невиданно таинственные создания проносятся в пляске, простодушные образы шагают мимо, забавные человечки кивают приветливо, и неожиданно из всей этой увлекательной сумятицы скалит зубы отвратительно-уродливая старушечья харя, с жуткой быстротой старуха корчит свои страшнейшие рожи и исчезает и опять уступает место вольной игре спугнутых резвых фигурок, которые опять несутся в своих забавнейших прыжках, но не могут разогнать охватившего нашу душу мрачного раздражения. — О романах других здешних писателей я поговорю в дальнейших письмах. Все отличаются одним характером. Это характер немецких романов вообще. Понять это легче всего, сравнивал их с романами других народов, например французов, англичан и т. д. Здесь видно, как внешнее положение романистов сообщает особенный характер романам известного народа. *Английский* писатель путешествует, как лорд или как апостол, уже обогащенный гонораром или еще бедный, но все равно, он путешествует,

молчаливый и замкнутый, он наблюдает нравы, страсти, поступки людские, и в романах его отражаются действительный мир и действительная жизнь, часто весело (Гольдсмит), часто мрачно (Смоллет), но всегда правдиво и верно (Фильдинг). *Французский* писатель постоянно живет в обществе, и притом в большом свете, как бы он ни был беден и *нетитулован*. Принцы и принцессы ласкают переписчика нот Жан-Жака, и в парижском салоне министра именуют *monsieur*, а герцогиню *madame*. Поэтому в романах *франгузов* царит этот легкий общественный тон, эта подвижность и утонченность и обходительность, достижимые только в общении с людьми, и отсюда это фамильное сходство между французскими романами, язык которых кажется всегда одним и тем же по той именно причине, что это — язык общества. Но бедный *немецкий* писатель, который, получая в большинстве случаев ничтожный гонорар и редко располагая своими средствами, не имеет денег на путешествие или, во всяком случае, начинает путешествовать поздно, когда он уже пишет по выработавшейся у него манере, который редко имеет звание или титул, открывающий ему благодать доступа в высшее общество, не всегда могущее у нас назваться наилучшим, который часто даже не имеет черного сюртука, чтобы бывать в обществе среднего класса, — бедный немец запирается на своем одиноком чердаке, сочиняет целый мир и на чудаческом самодельном языке пишет романы, где движутся образы и люди, которые, может быть, великолепны, божественны, высоко поэтичны, но нигде не существуют. Этим фантастическим характером запечатлены все наши романы, хорошие и плохие, от старых времен Шписа, Крамера и Вульпиуса до Арнима, Фуке, Горна, Гофмана и других, и этот характер романов сильно повлиял на национальный характер, и мы, немцы, среди всех народов наиболее восприимчивы к мистике, тайным обществам, натурфилософии, науке о духах, любви, бессмыслице и — поэзии!



О ПОЛЬШЕ

I

Несколько месяцев тому назад я вдоль и поперек объездил прусскую часть Польши; по русской части я проехал недалеко, в австрийской совсем не был. Людей я узнал очень многих, и из всех частей Польши. В большинстве это были, правда, дворяне, и притом самые знатные. Но если тело мое вращалось лишь в сферах высшего общества, в замкнутом круге польских магнатов, то дух все же часто витал и в простонародных хижинах. Вот вам исходная точка зрения для оценки моих суждений о Польше.

О внешнем виде страны я не смог бы рассказать много заманчивого. Нет здесь острых горных кряжей, романтических водопадов, соловьиных рощ и т. д.; здесь есть обширные равнины пахотной земли, большей частью плодородной, и густые, хмурые сосновые леса. Польша живет земледелием и скотоводством; заводов и промышленности почти нет здесь следа. Печальное зрелище представляют польские деревни: низенькие глиняные сараи, покрытые жидким гонтом или тростником. В них ютится польский мужик вместе со своим скотом и прочим семейством, наслаждаясь бытием и меньше всего размышляя об эстетических пышках*. Нельзя, однако, отрицать, что у польского мужика больше разума и чувства, чем у немецкого крестьянина в иных землях. Нередко у самого незаметного поляка

* Игра слов: пышка — Pustkuchen — фамилия писателя, над которым Гёйне впоследствии издевался в «Романтической школе».

встречал я подлинное остроумие (не добродушное остроумие, не юмор), по всякому поводу брызжащее самыми причудливыми переливами красок, и ту мечтательную сентиментальность, тот сверкающий блеск оссиановского естественного чувства, внезапный взрыв которого при порывах страсти так же непроизволен, как прилив крови к щекам. Польский мужик ходит еще в национальной одежде: безрукавке, доходящей до половины бедер, и поверх нее полукафтане, расшитом светлыми шнурами. Этот полукафтан, обыкновенно светлосинего или зеленого цвета, грубый прототип изящных польских казакинов наших франтов. Голова покрыта маленькой круглой шляпой с белыми полями, наверху остроконечной в виде усеченного конуса, а впереди украшенной пестрыми бантиками или несколькими павлиньими перышками. В этом наряде часто можно видеть по воскресеньям польского мужика, являющегося в город, чтобы совершить там три дела: во-первых, побриться, во-вторых, быть у обедни, в-третьих, напиться пьяным. Человека, обретшего посредством совершения третьего дела блаженство, можно видеть по воскресеньям стоящим на четвереньках в уличной канаве в бессознательном состоянии и окруженным кучкой друзей, которые, обступив его группой, как будто в прискорбии размышляют о том, как мало может вынести на земле человек! Что есть человек, если... три кружки водки могут свалить его с ног! И все же поляки достигли по части питья сверхчеловеческих успехов. — Мужик хорошо сложен, крепок, статен, имеет солдатский вид и обыкновенно белокур; большинство носит длинные волосы. Поэтому у столь многих мужиков — *plisa polonica* (колтун), весьма привлекательная болезнь, которою, надо надеяться, будем некогда благословены и мы, когда мода на длинные волосы распространится по немецким градам и весям. Раболепство польского мужика перед дворянином возмутительно. Он склоняется головою чуть не к панским ногам и приговаривает при этом формулу: «целую ноги». Кто хочет видеть воплощен-

ную покорность, пусть взглянет на польского хлопа пред его паном; недостает только виляющего собачьего хвоста. При таком зрелище я невольно думаю: и бог создал человека по образу своему и подобию! — И беспредельная скорбь охватывает меня при виде такого унижения одного человека перед другим. Только пред королем можно склоняться; если не считать этой заповеди, то мое исповедание целиком исчерпывается североамериканским катехизисом. Не отрицаю, что дерево в лесу я люблю больше, чем родословное древо, что человеческое право чту больше, чем каноническое, и что заветы разума ценю выше, чем абстракции близоруких историков; но если вы спросите меня, в самом ли деле несчастен польский мужик и улучшится ли его положение, если угнетенные крепостные сплошь превращены будут теперь в свободных собственников, то я солгал бы, отвечая на такой вопрос безусловным утверждением. Приняв понятие счастья в его относительности и имея в виду, что нельзя считать несчастьем, если привык с детства к работе в течение целого дня и отсутствию жизненных удобств, о которых не имеешь понятия, должно признать, что польский мужик в собственном смысле слова не несчастен, — тем более, что он не имеет никакого имущества и, следовательно, живет в полной беззаботности, которая ведь многими изображается как высшее счастье. И без всякой иронии скажу, что, если бы польских мужиков сделали теперь вдруг самостоятельными собственниками, они, наверно, не замедлили бы очутиться в труднейшем на свете положении и многие из них, наверно, вскоре по этой причине впали бы в еще большую нищету. При беззаботности, сделавшейся теперь его второй натурой, мужик дурно управлялся бы со своей собственностью, и если бы его постигло какое-нибудь несчастье, он совсем бы погиб. Случись теперь неурожай, дворянин должен дать мужику хлеба из своего: ведь он сам пострадает, если мужик не сможет засеять или помрет с голоду. По тем же соображениям он должен обеспечить мужика скотом, если у него падет вол или корова. Он дает ему зимой

дрова, посылает ему врачей, лекарства, когда он или кто-нибудь в его семье заболеет; словом, дворянин — постоянный опекун мужика. Я убедился, что большинство дворян исполняет эту обязанность очень добросовестно и любовно, и вообще нашел, что дворяне обращаются со своими мужиками мягко и благожелательно; во всяком случае, остатки старинной суровости встречаются редко. Многие дворяне даже хотели видеть мужиков освобожденными от зависимости — величайший человек, какой создан был Польшей, и память которого жива еще во всех сердцах, Тадеуш Костюшко был пламенным поборником освобождения крестьян, и заветы любимца незаметно проникают во все сердца. Кроме того, влияние французских идей, легче чем где-либо воспринимаемых в Польше, оказало не поддающееся учету воздействие на положение крестьян. Вы видите, что им уже не так плохо живется и что есть надежды на постепенное их освобождение. И прусское правительство как будто последовательно стремится к тому же посредством целесообразных мероприятий. Пусть бы увенчалась успехом эта благотворная постепенность; она надежнее и в данное время полезнее разрушительной внезапности. Но иногда хороша и внезапность, как бы ни ратовали против нее

Между мужиком и дворянином стоят в Польше евреи. Они составляют с лишком четверть населения, занимаются всеми промыслами и, следовательно, могут быть названы третьим сословием Польши. Таким образом, наши составители статистических курсов, ко всему прилагающие немецкую или, по крайней мере, французскую мерку, не правы, утверждая, что в Польше нет никакого tiers-état *, потому что здесь это сословие резко отграничено от остальных, потому что членам его... угодно ложно толковать ветхий завет... и потому что внешность их еще очень далека от идеала бюргерской почтенности, как он столь мило в праздничной наряд-

* третьего сословия

ности представлен в одном «Нюрнбергском женском альманахе» в образе мещанства имперских городов. Вы видите, таким образом, что численность и положение евреев сообщают им в Польше большее экономическое значение, чем у нас, в Германии, и что для правильного суждения о них потребно нечто большее, чем величаво-кассо-ссудное мировоззрение чувствительных северных романистов или натурфилософское глубоко-мыслие остроумных южных приказчиков. Меня уверяли, что евреи великого герцогства стоят на более низкой ступени культуры, чем их восточные единоверцы; не стану поэтому вообще утверждать ничего определенного о польских евреях и укажу вам лучше на книгу Давида Фридлендера «Об улучшении быта израильтян (евреев) в королевстве Польском; Берлин. 1819». Со времени появления этой книги, написанной — если не считать слишком несправедливого отрицания заслуг и нравственного значения раввинов — с редкой любовью к истине и к людям, положение польских евреев, вероятно, не особенно изменилось. Некогда, говорят, исключительно они во всем великом герцогстве, как и до сих пор в остальной Польше, занимались всеми ремеслами; теперь же много ремесленников-христиан переселяется туда из Германии, да и польские крестьяне чувствуют как будто больше склонности к ремеслам и иным промыслам. Странно, однако, что поляк из простонародья обыкновенно становится сапожником или пивоваром и винокуром. В одном из предместий Познани Валиши я повсюду через дом натыкался на вывеску сапожника и вспоминал город Бредфорд из «Уэкфильдского полевого сторожа» Шекспира. В прусской Польше некрещенные евреи не получают государственной службы; в русской Польше и евреи допускаются ко всем должностям, так как там это признано целесообразным. Впрочем, в тамошних рудниках мышьяк еще не переносится в сверхнабожную философию, и волки в старопольских лесах еще не обучены завывать историческими цитатами.

Было бы желательно, чтобы наше правительство

постаралось целесообразными мерами внушить евреям вел кого герцогства больше любви к земледелию; ибо до сих пор здесь, говорят, было очень мало еврейских земледельцев. В русской Польше они встречаются часто. Нерасположение к хлебопашеству возникло у польских евреев, говорят, оттого, что некогда они видели крепостного крестьянина в столь печальном состоянии. Если крестьянство выйдет теперь из своей приниженности, то и евреи возьмутся за плуг. Заредкими исключениями, все трактиры в Польше в руках евреев, и их многочисленные винокурни очень вредны для страны, так как побуждают крестьян пьянствовать. Но я уже сказал, что водка — это путь мужика к блаженству. — У всякого дворянина есть в деревне или в городе свой еврей, которого он называет фактором и который исполняет все его поручения, покупает, продает, собирает справки и т. д. Оригинальный порядок, вполне рисующий любовь польских дворян к удобствам. Внешний вид польского еврея ужасен. Содрогаение охватывает меня при воспоминании о том, как за Мезе-рицем я в первый раз увидел польское местечко, населенное по преимуществу евреями. «В-ский еженедельник», сваренный в физически съедобную кашу, не вызвал бы во мне такого тошнотворного отвращения, как вид этих грязных оборвышей; и велеречивые разглагольствования вдохновленного патриотическим спортом и любовью к отечеству шестиклассника не так истерзали бы мои уши, как польский еврейский жаргон. Вскоре, однако, омерзение сменилось состраданием, когда я поближе всмотрелся в положение этих людей и увидел свинные конуры, где они живут, картавят, молятся, торгашествуют и... голодают. Наречие их — немецкая основа, затканная древнееврейским и вышитая польским языком. В давние времена, гонимые религиозными преследованиями, они переселились из Германии в Польшу; ибо поляки в таких случаях всегда отличались терпимостью. Когда ханжи советовали польскому королю принудить польских протестантов вернуться к католицизму, он отвечал: «Sum rex populorum,

sed non conscientiarum»*. Евреи принесли в Польшу промышленность и торговлю и получили при Казимире Великом значительные привилегии. Они как будто гораздо ближе стояли к дворянству, чем к крестьянам, так как по старому закону еврей, принявший христианство, eo ipso** становится дворянином. Не знаю, потеряли ли силу этот закон, и почему, и что здесь определенно понизилось в ценности. Однако в те далекие времена евреи по культуре и образованности стояли, конечно, гораздо выше дворянина, занимавшегося лишь грубым военным ремеслом и обходившегося еще без французского лоска. А те по крайней мере были поглощены своими древнееврейскими учеными и богословскими книгами, ради которых они и покинули свою родину и жизненный покой. Но они явно не пошли вперед вместе с европейской культурой, и их духовный мир погряз в тягостном суеверии, втиснутом хитроумной схоластикой в тысячу причудливых форм. Несмотря, однако, на варварскую меховую шапку, покрывающую его голову, и еще более варварские идеи, ее наполняющие, я ценю польского еврея гораздо выше иного немецкого еврея, носящего боливар на голове и Жан-Поля в голове. В его суровой исключительности характер польского еврея получил цельность; атмосфера терпимости, которую он дышит, наложила на этот характер печать свободы. Внутренний человек не сделался разнородной композицией из непримиримых чувств и не исчах под гнетом тесноты франкфуртского гетто, премудрых градских распоряжений и любвеобильных законодательных ограничений. Польский еврей со своей грязной шубой, населенной бородой, запахом чеснока и картавым жаргоном все же приятнее для меня, чем иной барин во всем своем государственно-ассигнационном великолепии.

Как я уже сказал, вы не встретите в этом письме никаких описаний восхитительных уголков природы,

* Я царь народов, а не совестей

** тем самым

чудесных созданий искусства и т. д.; только люди, и особенно люди благороднейшего разряда, дворяне, заслуживают здесь, в Польше, внимания путешественника. И право, на мой взгляд, при виде крепкого заправского польского дворянина или красивой высокородной польки в ее настоящем блеске душа так же может быть восхищена, как и при созерцании романтического замка на скале или медийского мрамора *. Я очень охотно представил бы вам характеристику польских дворян, и это была бы драгоценная мозаика из прилагательных: гостеприимен, горд, отважен, обходителен, фальшив (без этого желтого камешка не обойтись), вспыльчив, восторжен, азартен, жизнерадостен, великодушен, своенравен. Но сам я слишком часто восставал против наших писак, которые, едва посмотрев, как прыгает парижский танцмейстер, импровизируют в своих брошюрах характеристику целого народа или, повидав, как зевает толстый ливерпульский хлопчатобумажный оптовик, тут же дают оценку этого народа Эти общие характеристики — источник всех зол. Целой жизни человеческой мало для того, чтобы понять характер одного человека, а из миллионов отдельных людей состоит нация. Только углубляясь в историю человека, в историю его воспитания и его жизни, получаем мы возможность познать отдельные основные черты его характера, — тем не менее, в тех человеческих группах, отдельным членам которых воспитание и образование сообщили одинаковое направление, должны замечаться некоторые выступающие вперед черты характера. Так оно и есть у польских дворян, и только стоя на этой точке зрения можно обнаружить нечто общее в их характере. Самое воспитание всегда и везде обусловлено местом и временем, почвой и политической историей. В Польше первое ошутительнее, чем где-либо. Польша лежит между Россией и — Францией. Лежащую перед Францией Германию я в расчет не принимаю, так как зна-

* Венеры Медицейской

чительная часть поляков несправедливо считала ее как бы широким болотом, через которое надо поскорее перескочить, чтобы добраться до благословенной земли, где изготавливаются тончайшие нравы и тончайшие помады. Поэтому Польша была подвержена разнороднейшим влияниям. Проникновение варварства с Востока вследствие враждебных соприкосновений с Россией; проникновение сверхкультуры с Запада вследствие дружественных соприкосновений с Францией; отсюда — эти своеобразные сочетания культуры и варварства в характере и в домашнем быту поляков. Я не утверждаю, что все варварство проникло с Востока, — очень значительная доля его, возможно, была уже в стране; но в новейшее время это проникновение было очень заметно. Главное влияние на характер польских дворян оказывает деревенская жизнь. Лишь малая часть их воспитывается в городах; мальчики большею частью живут в поместьях у родных; пока не подрастут и, благодаря не слишком усердным стараниям домашнего учителя или не слишком долгому посещению школы или просто воздействию любезной природы, не получают возможности поступить на военную службу или в университет или воспринять благодать высшей культуры в облизывающей своих медвежат Лютеции. Так как не все располагают одинаковыми для этого средствами, то ясно, что надо делать различие между бедными дворянами, богатыми дворянами и магнатами. Первые часто ведут самую жалкую жизнь, почти как мужики, и не изъявляют особенных притязаний на культурность. Между богатыми дворянами и магнатами разница не велика, иностранцу она очень мало заметна. Само по себе достоинство польского дворянина (*civis polonus*) как по объему, так и по внутреннему значению равно для всех дворян, от самого бедного до самого богатого. Но с именами некоторых родов, всегда отличавшихся большими земельными владениями и заслугами пред государством, соединилось представление о высшем достоинстве, и их обыкновенно называют магнатами. Чарторийские, Радзивиллы, Замойские, Сапегы, Понятовские,

Потоцкие и т. д. хотя тоже считаются просто польскими дворянами, подобно иному бедному дворянину, быть может, ходящему за плугом, однако, если не *de nomine**, то *de facto*** они представляют собою высшее дворянство. Их высокое значение даже устойчивее, чем значение нашего высшего дворянства, потому что они сами облекли себя высоким достоинством и потому что их родословную знает на память не только какая-нибудь зашнурованная старая барышня, но весь народ. Название «староста» встречается теперь редко и обратилось в простой титул. Графское звание у поляков тоже только титул, каких несколько пожаловано лишь Пруссией и Германией. Дворянской надменности по отношению к городским условиям у поляков нет, и она может возникнуть лишь в странах, где возвышается сильный и выступающий с известными притязаниями буржуазный класс. Лишь тогда, когда польский мужик начнет покупать землю и польский еврей будет не так услужлив пред дворянином, в последнем зашевелится дворянская гордость, которая, таким образом, явится доказательством развития страны. А так как евреи здесь поставлены выше мужиков, то они первые столкнутся с этой дворянской гордостью; но явление это, конечно, получит тогда более религиозное название.

Этим лишь, в беглых чертах намеченным здесь существом польского дворянства, конечно, объясняется в высшей степени необходимый ход политической истории Польши; а ее влияние на воспитание поляков, и таким образом на их национальный характер, было почти еще важнее, чем вышеуказанное влияние почвы. Благодаря идее равенства развилась в польских дворянах национальная гордость, столь удивляющая нас своей величавостью, столь раздражающая часто также своим пренебрежением ко всему немецкому и столь непохожая на кнутом вколотенное смирение. Именно благодаря этому равенству развилось общеизвестное высокое

* номинально

** фактически

честолюбие, воодушевляющее низшего и высшего и часто в самом деле стремившееся к вершине власти: ибо Польша чаще всего была государством с выборной властью. Власть была сладким плодом, к которому манило каждого поляка. Не умственным оружием старался добыть ее поляк: слишком медленно ведет оно к цели; смелый удар меча должен сбить этот сладкий плод для немедленной улады. Вот почему предпочитают поляки воинское звание, к которому привлекал их горячий и задорный нрав; вот почему у поляков хорошие солдаты и генералы, но совсем мало умелых государственных людей и еще меньше выдающихся ученых. Любовь к отечеству у поляков — великое чувство, в которое вливаются все прочие чувства, как река в океан; и, однако, это отечество не имеет особенно привлекательной внешности. Один француз, которому была непонятна эта любовь, глядя на тоскливую болотистую равнину Польши, выбил ударом ноги кусок земли и, насмешливо покачивая головой, сказал: «Вот что эти чудаки называют отечеством!» Но не из самой земли, лишь из борьбы за самостоятельность, из исторических воспоминаний и из злосчастия родилась у поляков эта любовь к родине. Она все еще пылает теперь так же горячо, как в дни Костюшко, быть может, еще горячее. Почти до смешного чтут теперь поляки все отечественное. Как умирающий в судорожном страхе борется со смертью, так возмущается и борется их душа против мысли об уничтожении их национальности. Эти предсмертные судороги польского народного тела представляют ужасающее зрелище! Но всем народам Европы и всей земле придется пережить эту предсмертную борьбу, чтобы из смерти возникла жизнь, из языческой национальности — христианское братство. Я имею здесь в виду не полное растворение прекрасных особенностей, в которых привлекательнее всего отражается любовь, но всеобщее братание людей, то первоначальное христианство, к которому больше всего стремимся мы, немцы, и которое нашло наилучших выразителей в наших благороднейших

народных глашатаях — Лессинге, Гердере, Шиллере и т. д. От этого братания польские дворяне еще так же бесконечно далеки, как и мы. Значительная часть живет еще в мире католических форм, не ощущая, к сожалению, великого духа этих форм и их нынешнего перехода к всемирно-историческому; большинство исповедует учение французской философии. Я, разумеется, не стану здесь порочить ее; бывают часы, когда я ее почитаю и очень почитаю; я сам в известной степени ее дитя. Однако я думаю все же, что ей недостает главного — любви. Где не светит эта звезда, там ночь, хотя бы все светочи энциклопедии сверкали блеском своих огней. — Если отечество — первое слово поляка, то второе его слово — свобода. Прекрасное слово! Несомненно, прекраснейшее на ряду с любовью. Но, на ряду с любовью, это слово чаще всего толкуется неправильно и должно служить обозначением для совершенно противоположных вещей. Такой случай пред нами. Свобода большинства поляков не божественная, вашингтоновская; лишь незначительное меньшинство, лишь такие мужи, как Костюшко, понимали и стремились распространить ее. Многие, правда, с энтузиазмом говорят об этой свободе, но не собираются освободить своих крестьян. Слово свобода, так прекрасно и полно звучащее в польской истории, было лишь девизом дворянства, стремившегося возможно больше прав отобрать у королей с целью увеличить свою власть и таким образом вызвать анархию.

*C'était tout comme chez nous**, где тоже германской свободой некогда называлась не что иное, как пустить императора по миру для того, чтобы дворянство могло тем пышнее бражничать и тем неограниченнее властвовать. И не могло не погибнуть государство, правитель которого сидел связанный на престоле и в конце концов держал в руке лишь деревянный меч. В самом деле, польская история есть история Германии в миниатюре; разница только в том, что в Польше магнаты не так окон-

* Это было совсем как у нас

чательно оторвались от главы государства и не достигли такой самостоятельности, как у нас, и что благодаря немецкой осмотрительности анархия все же была замедлена внедрением некоторого порядка. Если бы Лютер, муж господень и Катеринин, держал ответ пред Краковским сеймом, ему, конечно, не дали бы так спокойно высказаться, как в Аугсбурге. Тот принцип, что буйная свобода лучше спокойного рабства, несмотря на все свое великолепие все же погубил поляков. Но, как подумаешь, достойна изумления та сила, с которой одно слово свобода действует на их души; они воспаляются и горят, едва услышав, что где-нибудь борются за свободу; сверкая, устремлены их взоры на Грецию и Южную Америку. Однако в самой Польше под угнетением свободы понимают, как я уже сказал, лишь ограничение прав дворянства или даже постепенное уравнивание сословий в правах. Мы решаем это иначе: делом отдельные свободы там, где должна развиться всеобщая, законом обеспеченная свобода.

А теперь — на колени или, по крайней мере, шапки долой: я говорю о польских женщинах. Дух мой витает над берегами Ганга, отыскивая нежнейшие и прелестнейшие цветы для сравнения с ними. Но что пред этими чаровницами все прелести маллики, кувалайи, ошадди, цветов нагакесары, священного лотоса и всяких там — камалаты, педмы, камалы, тамалы, сириши и т. д.!! Если бы к услугам моим были кисть Рафаэля, мелодии Моцарта и язык Кальдерона, то мне, быть может, удалось бы колдовством вызвать в груди вашей чувство, которое охватило бы вас, когда бы вашим высокой милостью благословенным взорам явилась истая полька, Афродита Вислы. Но что вся цветистая мазня Рафаэля пред этим запрестольным образом красоты, который живописует, ликуя, господь в радостнейшие часы свои! Что бренчание Моцарта пред словами, начиненными конфетами для души, падающими с розовых уст этих сладостных созданий! Что все кальдероновы звезды земли и цветы неба пред этими чаровницами, которых я также на кальдероновом языке

именую ангелами земли, потому что самих ангелов называю польками неба. Да, друг мой, кто смотрит в их газеты глаза, верит в небо, хотя бы он был пламеннейшим последователем барона Гольбаха; Если надо еще что-нибудь сказать о характере полек, то ограничусь замечанием: они — женщины. Кто возьмется изобразить характер последних?

Весьма заслуженный философ, написавший десять томов *in octavo* «Женские характеры», в конце концов застал свою собственную жену в объятиях военного. Я совсем не хочу этим сказать, что женщины лишены всякого характера. Упаси бог! Наоборот, у них ежедневно новый характер. Не стану также порицать эту непрестанную смену характера. Это даже преимущество. Характер возникает из системы стереотипных правил. Если они ложны, то жизнь человека, систематически проводящего их, будет лишь большой, продолжительной ошибкой. Одобрительно называем мы «человеком с характером» того, кто поступает согласно твердо установленным правилам, и не принимаем в соображение, что в таком человеке погибла свобода воли, что дух его не движется вперед и что он сам — слепой раб своих отживших мыслей. Мы называем также последовательностью, когда человек держится того, что раз навсегда установил для себя и высказал, и часто мы достаточно терпимы, чтобы удивляться дуракам и прощать злодеям, раз о них можно сказать, что они поступили последовательно. Но это моральное самоподчинение встречается почти исключительно у мужчин; в духе женщин всегда пребывает живую и в живом движении стихия свободы. Ежедневно меняют они свои мировоззрения, в большинстве случаев не сознавая этого. Они встают по утрам простодушными детьми, в полдень строят систему взглядов, которая вечером разваливается, как картонный домик. Если у них сегодня дурные правила, то завтра, бьюсь об заклад, будут наилучшие. Они меняют мнения так же часто, как платья. Если в их уме нет в данное время господствующей мысли, то пред нами самое приятное —

междоусобица духа. И это имеется у женщин в наиболее чистом и наиболее сильном виде и руководит ими вернее, чем рассудочно-абстрактные фонари, так часто заводящие нас, мужчин, на ложные пути. Не подумайте, что я хочу сыграть здесь роль *advocatus diaboli* * и даже восхвалять женщин за отсутствие устойчивого характера, на которое с таким вздохом жалуются наши желторотые и наши седовласые, — одни обиженные Амуром, другие — Гименеем. Мы должны также заметить, что это общее суждение о женщинах относится главным образом к полькам и немецких женщин почти не касается. Природная глубина натуры создает во всем немецком народе особое предрасположение к твердости характера, и на женщин также перешел некоторый налет этого свойства, который с течением времени все сгущается, так что у пожилых немки, даже у женщин средневековых, то есть сорокалетних, характер представляет собою довольно толстое чешуйчатое затвердение. Бесконечно различие между польками и немками. Объясняется это, вероятно, славянской натурой вообще и польским бытом в частности. В отношении привлекательности не буду ставить польку выше немки: они несравнимы. Кто станет превозносить Венеру Тициана за счет Марии Корреджо? В залитой солнцем цветущей долине я избрал бы в спутницы польку; в озаренной лунным светом липовой роще я предпочел бы немку. Путешествовать по Испании, Франции и Италии я хотел бы с полькой; странствовать по путям жизни я хотел бы с немкой. Образцов хозяйственности, воспитательного руководства детьми, благочестивого смирения и всех этих тихих добродетелей немецких женщин мы мало найдем у поляк. Но и у нас эти семейные добродетели присущи по преимуществу лишь среднему сословию и части дворянства, примыкающей по нравам и склонностям к буржуазии. В прочей части немецкого дворянства недостаток этих семейных добродетелей

* адвоката дьявола

часто чувствуется сильнее и гораздо болезненнее, чем у женщин из польского дворянства. Да, у них мы никогда не встречаемся с таким явлением, что этот недостаток почитается даже чем-то ценным, что им гордятся, — как это бывает у многих немецких знатных дам, не обладающих ни достаточным богатством ни умом для того, чтобы стать выше буржуазии, и старающихся выделиться хоть презрением к бюргерским добродетелям и сохранением скверных стародворянских недостатков. К тому же, польские женщины не так чванятся своими предками, и польской барышне не придет в голову гордиться тем, что несколько сот лет тому назад ее предок, грабивший по большим дорогам рыцарь, сумел ускользнуть от... заслуженного наказания. Религиозное чувство глубже у немцев, чем у поляков. Эти живут более внешней, чем внутренней жизнью; это веселые дети, которые крестятся пред образами святых, и шалят, и смеются, и танцуют, и очаровательны в жизни, словно в прекрасном балльном зале. Я, право, не решился бы назвать ветренностью ни даже легкомыслием ту поверхностность поляков, которая так поддерживается легкостью польских нравов вообще, примешанными к ним легким французским тоном, легким французским языком, на котором охотно и почти как на родном языке говорят в Польше, и легкой французской литературой, десерт которой, романы, жадно поглощают поляки; а что касается чистоты нравов, то я убежден, что поляки в этом не уступают немцам. В разные времена распущенность некоторых знатных поляков привлекала своим размахом общее внимание, а наша чернь, как я заметил выше, судит о целом народе по нескольким грязным экземплярам, с которыми ей пришлось познакомиться. Кроме того, надо принять во внимание, что поляки красивы и что красивые женщины по понятным причинам особенно легко становятся жертвами клеветы и никогда не ускользают от нее, если, как поляки, живут радостно, в легкой, милой беззаботности. Поверьте мне, люди в Варшаве несколько не менее добродетельны, чем

в Берлине, только волны Вислы несколько бурнее, чем тихие воды мелкой Шпре.

II

От женщин я перехожу к настроению поляков, и должен сознаться, что не перестаю замечать в этом экзальтированном народе, как болезненно сжимается сердце польского дворянина, когда он подумает о событиях последнего времени. Сочувствием проникается сердце и у неполяка, когда перебираешь политические страдания, выпавшие за немногие годы на долю поляков. Многие наши журналисты легко отделались от этого чувства, попросту утверждая, что поляки своими раздорами сами навлекли на себя свою судьбу и их, стало быть, жалеть нечего. Это глупое амоутешение. Народ как целое никогда не бывает виноват; его поведение вытекает из внутренней необходимости, и судьбы его суть всегда ее следствия. Исследователю открывается возвышенная мысль, что история (природа, бог, провидение и т. д.) как с отдельными людьми, так и с целыми народами связывает свои особенные великие цели и что некоторые народы обречены на страдания для того, чтобы сохранилось и, процветая, развивалось целое. Уже пограничное положение поляков — славянского племени у входа в германский мир — как бы предназначает их к исполнению известных целей в мировом круговороте событий. Их моральная борьба против гибели их нации всегда вызывала явления, сообщающие целому народу иной характер, и должна была также воздействовать на характер соседних народов. — Характер поляков, как я заметил выше, был до сих пор воинственный; каждый польский дворянин был солдатом, и Польша — большой военной школой. Но теперь это не так, на военную службу идут немногие. Однако польская молодежь требует дела, и вот, многие предпочли военной службе иное поприще, а именно — науку. Во всем проявляются следы этого нового направления умов; многообразно благоприятствуемое

временем и местом, оно в течение нескольких десятилетий сообщит, как было уже указано, новый облик всему национальному характеру. Еще недавно вы видели в Берлине отрадное стечение польской молодежи, которая с благородной жаждой знания и образцовым прилежанием углубилась во все отрасли наук, особенно черпая философию из ее источника, в аудитории Гегеля, — теперь же, к сожалению, вынуждена в связи с некоторыми прискорбными событиями покинуть Берлин. Приятным признаком является то, что поляки постепенно отделяются от слепого предпочтения французской литературы, начинают ценить по достоинству в течение долгого времени пренебреженную ими более глубокую немецкую литературу и, как упомянуто выше, сумели увлечься как раз глубокомысленнейшим немецким философом. Последнее служит доказательством, что они поняли дух нашего времени, печать и тенденция которого — научность. Многие поляки учатся теперь по-немецки, множество хороших немецких книг переведено на польский язык. Патриотизм также причастен этим явлениям. Поляки опасаются полного исчезновения их национальности; они замечают теперь, насколько важна в деле ее сохранения национальная литература, и (в какой бы мере оно ни звучало забавно — это правда, как серьезно уверяли меня многие поляки) в Варшаве работают над созданием польской литературы. Разумеется, великое недоразумение заключается в мысли, будто в столичной литературной теплице ученым обществом может быть написана литература, которая должна быть органическим порождением целого народа; но все же этим благим стремлениям положено начало, и прекрасное должно расцвести в литературе, когда на нее смотрят как на дело патриотическое. Этот патриотизм должен повести, конечно, к своеобразным ошибкам, главным образом, в поэзии и в истории. Поэзия получит возвышенную окраску, однако, надо надеяться, отрешится от французского покроя и приблизится к духу немецкой романтики. Чтобы особенно подразнить меня, один мой милый друг поляк сказал:

«У нас, так же как у вас, есть романтические поэты, но у нас они пока сидят... в сумасшедшем доме!» — В истории политическая скорбь поляков не всегда приведет к беспартийности, и история Польши слишком односторонне и слишком несоразмерно выдвинется из всеобщей истории; но тем больше заботы будет приложено к сохранению всего важного для польской истории, и это будет делаться тем тщательнее, что безобразное обращение, которому подверглись в последнюю войну книги Варшавской библиотеки, возбуждает тревогу, как бы не погибли все польские национальные памятники и документы; вероятно ввиду этого недавно один из Замоиских основал библиотеку польской истории в далеком... Эдинбурге. Обращаю ваше внимание на многие новые произведения, которые вскоре выйдут из печатных станков в Варшаве, а это касается уже существующей польской литературы; укажу вам на весьма проникательную книгу Каульфуса. — Я возлагаю величайшие надежды на этот духовный переворот в Польше, где весь народ напоминает мне старого солдата, который вешает свой испытанный меч с лаврами на гвоздь, обращается к более кротким искусствам мирного времени, размышляет об истории прошлого, исследует силы природы, измеряет звезды или даже краткость и долготу слогов, как это делает Карно. Поляк будет так же хорошо владеть пером, как пикой, и выкажет в области знания такую же храбрость, как и на знакомых ему полях сражения. Именно потому, что умы так долго оставались невозделанными, посев принесет в них плоды тем более разнообразные и роскошные. У многих народов Европы ум именно вследствие частого трения порядком уже притупился, и торжество его усилий — достигнутое им самопознание — привело его кое в чем к саморазрушению. Кроме того, поляки овладеют конечными результатами многовековых умственных усилий прочей Европы, и между тем как народы, до сих пор напряженно трудившиеся над сооружением Вавилонской башни европейской культуры, истощают свои силы, наши новые пришельцы с их

славянской подвижностью и не замершей бодростью двинуто дело вперед. К этому присоединяется еще то, что лишь незначительнейшая часть этих новых работников трудится ради хлеба насущного, как оно происходит у нас в Германии, где науки — цеховой промышленности и где даже муза — дойная корова, которую до тех пор доят ради гонорара, пока она не станет давать только воду. Поляки, обратившиеся теперь к наукам и искусствам, — дворяне и в большинстве случаев достаточно обеспечены, чтобы не иметь необходимости жить на заработок от своих знаний и научных работ. Это огромное преимущество. Великолепно многое, что уже создано голодом, но гораздо великолепнее то, что создано любовью. И обстановка — а именно, деревенское воспитание поляков — благоприятствует их умственным успехам. Деревенская жизнь в Польше не так бесшумна и уединенна, как наша, так как польские дворяне ездят к знакомым в гости за десять часов расстояния, часто по неделям вместе со всей семьей живут друг у друга, разъезжают, подобно кочевникам, со своими постелями; таким образом, все великое герцогство Познанское представлялось мне единым большим городом, где дома только разделены расстоянием в несколько миль друг от друга, а в некотором смысле даже небольшим городом, потому что все поляки между собой знакомы, каждый точно знает все о делах другого и его семейных отношениях, которые слишком часто бывают предметом самых провинциальных пересудов. Однако эта шумная суматоха, время от времени царящая в польских поместьях, не так вредна в воспитании юношества, как городская шумиха, ежеминутно изменяющаяся в тоне, отвлекающая молодую душу от созерцания природы, угнетающая своим разнообразием и притупляющая чрезмерным возбуждением. Это временное нарушение покоя в сельском быту даже благотворно для молодежи, так как вновь встряхивает и будоражит душу, готовую заплесневеть, или, как говорится, закиснуть в непреходящей внешней тишине: опасность, столь часто встречаемая у нас. Непосредственная при-

вольная деревенская жизнь в молодости, несомненно, всего более содействовала образованию у поляков того большого, сильного характера, который они обнаруживают на войне и в несчастии. Она дает им здоровый дух в здоровом теле; в этом ученый так же нуждается, как солдат. История учит нас, что большинство людей, совершивших что-либо великое, провело молодость в тихом быту. — В последнее время мне пришлось слышать чрезвычайные восхваления средневековому воспитанию монахов; прославляли методу монастырских школ и называли вышедших из них великих людей, ум которых имел бы некоторое значение даже в наше особо умное время; забывали при этом, что не монахи, а монашеское уединение, не метод монастырских школ, а сама монастырская тишь воспитали и вскормили эти умы. Если бы наши воспитательные учреждения обнести стеною, то это оказалось бы действительнее всех наших педагогических систем как идеально-гуманистических, так и практически-базедовских. Если бы то же самое было сделано с нашими женскими пансионами, так привольно стоящими теперь между театром и танцклассом в созерцании вахтпарада, то наши пансионерки освободились бы от своей калейдоскопной фантастики и неодраматической водянистой сентиментальности.

Об обитателях прусско-польских городов распространяться не буду: это смесь из прусских чиновников, переселившихся немцев, силезцев, поляков, евреев, военных и т. д. Прусские чиновники-немцы не избалованы особенной любезностью со стороны польских дворян. Многие немецкие чиновники часто переводятся в Польшу против воли, но стараются как можно скорее выбраться отсюда; других удерживают в Польше домашние обстоятельства. Есть среди них и такие, которым по душе то, что они отрезаны от Германии, которые стараются как можно скорее отделаться от скудных познаний, приобретаемых чиновником ввиду необходимости выдерживать экзамен; которые построили свою жизненную философию на хорошем обеде и за

кружкой скверного пива изливают ярость против польских дворян, ежедневно пьющих венгерское вино и не обязанных корпеть в канцелярии. О прусских военных, находящихся в этой местности, сказать нечего; как и везде, они храбры, исполнительны, вежливы, простодушны и честны. Поляк уважает их потому, что сам полон солдатского духа, и бравый молодец всегда знает цену молодцу; но о более глубоком чувстве еще нет речи.

Познань, главный город великого герцогства, имеет вид угрюмый, унылый. Привлекательно в нем только большое количество католических церквей. Но красивой нет ни одной. Тщетно паломничал я каждое утро из костела в костел в поисках хороших старых картин. Старые картины здесь не хороши, а сколько-нибудь хорошие не стары. У поляков есть несносное обыкновение обновлять свои храмы. В древнем соборе в Гнезне, бывшей столице Польши, я нашел сплошь новые образа и новые украшения. Внимание мое привлекли здесь только чугунные церковные двери со множеством фигур, некогда бывшие воротами Киева и вывезенные в качестве добычи победоносным Богуславом; удар его меча до сих пор виден на них. Будучи в Гнезне, император Наполеон забрал кусок, выпиленный по его приказу из дверей, выигравших в значении от этого высокого внимания. После ранней мессы в Гнезненском соборе я услышал четырехголосный гимн, сочиненный, по преданию, св. Адальбертом, похороненным здесь, и исполняемый каждое воскресенье. Собор в Познани новый, по крайней мере с виду, и, следовательно, мне не понравился. Рядом с ним — дворец архиепископа, который есть также архиепископ Гнезненский и, следовательно, также римский кардинал и, следовательно, ходит в красных чулках. Это очень образованный, французски учтивый человек, седой и низенький. Вышнее духовенство в Польше всегда принадлежит к знатнейшим дворянским родам; низшее выходит из простонародья, грубо, невежественно и любит выпить. Ассоциация идей ведет меня прямо к театру.

Прекрасное здание отвели здешние обитатели музам для жительства; но божественные дамы не поселились здесь и послали в Познань лишь своих горничных, которые наряжаются в одежды своих барынь и орудуют на выносливых подмостках. Одна пыжится, как павлин, другая носится, как кулик, третья клохчет, как индюк, четвертая подпрыгивает на одной ноге, как аист. Но публика в восторге разевает рот, как бочку, человек в эполетах орет: «Честью клянусь, Мельпомена! Та-лия! Полигимния! Терпсихора!» — Есть здесь и театральный рецензент, словно несчастному городу мало театра! Превосходные рецензии этого превосходного рецензента появляются пока только в «Познанской городской газете», но вскоре будут собраны и выйдут в качестве продолжения Лессинговой «Драматургии»!! Возможно, впрочем, что мне этот провинциальный театр кажется таким плохим потому, что я приехал прямо из Берлина, где перед самым отъездом видел Шрек и Штих. Нет, я не предам осуждению весь познанский театр; я признаю даже, что в нем есть одно выдающееся дарование, два хороших исполнителя и несколько недурных. Выдающееся дарование, о котором я говорю, — это девица Пайен. Ее обыкновенное амплуа — первая любовница. Тут нет жалостной слезливости и жеманного тараторения тех чувствительных исполнительниц, которые считают сцену своим призванием потому, что в жизни, быть может, с некоторым успехом, сыграли сентиментальную или кокетливую роль, и которых хочется свистками прогнать со сцены именно потому, что в уединенном кабинете от души поаплодировал бы им. Девица Пайен одинаково удачно исполняет и самые разнообразные роли, «Елизавету», как «Марию». Всего же больше она понравилась мне в комедии, в салонных пьесах, особенно в веселых, шаловливых ролях. В восхищение привела она меня в роли Полины в «Заботах без нужды и нужде без забот». Здесь я увидел ту свободную игру на внутренне пережитой основе, ту отрадную уверенность, ту увлекательную смелость, почти дерзновенность игры, которые мы встречаем

лишь у подлинного большого таланта. С восторгом смотрел я ее также в нескольких мужских ролях, например в «Объяснении в любви» и в «Чезарио» Вольфа; я указал бы только на несколько угловатое движение рук, — недостаток, относимый мною, впрочем, на счет тех мужчин, которые служили ей образцом. Мадемуазель Пайен также поет и танцует, имеет счастливую наружность, и было бы жаль, если бы эта даровитая девушка погибла в трясине бродячих труп.

Полезный исполнитель на познанской сцене — г. Карлсен; он не портит никакой роли; хорошей актрисой должно назвать также г-жу Пайен. Она выдается в ролях комических старух. Особенно она понравилась мне в роли возлюбленной Шиберле. Она играет также развязно и свободно и не имеет обычного недостатка актрис, которые с большим, правда, искусством исполняют роли старух, но очень хотят показать нам, что в такой старушенции все еще скрывается очень приятная женщина. Г. Ольденбург, красивый мужчина, в качестве любовника в комедии невыносим — образец деревянности и беспомощности; в роли трагического героя он сносен. В нем, несомненно, есть задатки трагика, но за его длинными руками, качающимися мимо колен наподобие маятника, я не могу признать никакого сценического таланта. Однако в роли Ричарда в «Розамунде» он мне понравился, и временами я не обращал внимания на ложный пафос, так как он присущ самой пьесе. В этой трагедии мне понравился даже г. Мунш в роли короля, в конце второго действия, в неподражаемой сцене с трескучими эффектами. Впадая в страсть, г. Мунш имеет обыкновение издавать возгласы вроде с обачего лая. Девушка Франц, тоже первая любовница, играет плохо вследствие скромности; в ее физиономии есть нечто, говорящее вам, а именно рот. Г-жа Фабрициус — изящная фигурка и, конечно, очаровательна везде, кроме театра. Ее муж, г. Фабрициус, в комедии «Приказ герцога» так мастерски пародировал Великого Фрица, что следовало бы вмешаться полиции. Г-жа Карлсен — супруга г-на Карлсена. Но комик

в труппе — г. Фохт: он заявляет об этом сам, так как он составляет афишу. Он любимец галереи, придерживается правила, что одну роль следует играть так же, как другую, и я с изумлением смотрел, как он остается верным этому правилу и в качестве «Фельса фон-Фельзенбурга», и глупого «барона» в «Альпийской розочке», и «вожака обывателей» в «Состязании стрелков», и т. д. Неизменно это был все один и тот же г. Эрнест Фохт со своим фальцетным комизмом. Другого комика приобрела недавно Познань в лице г. Акермана, в исполнении которого я с большим удовольствием видел «Штаберле» и «Поддельную Каталани». Г-жа Лейтнер стоит во главе познанской труппы и отнюдь не может похвалиться доходами. До нее здесь играла труппа Келера, теперь выступающая в Гнезне, где она находится в самом плачевном положении. Вид этих несчастных сирот немецкого искусства, без хлеба и поощрительного внимания скитающихся по чужой холодной Польше, исполнил мою душу тоскою. Я видел в Гнезне, как они играли за городом на открытой лужайке, романтически окруженной высокими дубами; они исполняли пьесу под заглавием «Бианка Толедская, или Осада Кастиельnero», большую рыцарскую драму в пяти действиях, сочинение Винклера; в ней много стреляли, звенели шпагами, скакали на лошадях, и до глубины души растрогали меня бедные трепещущие принцессы, подлинная скорбь которых заметно сквозила из-под их прискорбной декламации, домашняя нужда которых явно выглядывала из их царственного мишурного одеяния и на щеках которых нищета не вполне была замазана белилами. Недавно выступала здесь также польская труппа из Кракова. За двести талеров г-жа Лейтнер уступила им театр на четырнадцать представлений. Поляки давали главным образом оперы. Конечно, дело не могло обойтись без параллелей между ними и немецкой труппой. Хотя познанские немцы признавали, что польские актеры играют лучше немецких и поют лучше и имеют лучший гардероб и т. д., однако замечали: у поляков нет манер. И это

верно: полякам были чужды традиционный театральный этикет и помпезная, изысканная и грациозная величавость немецких актеров. Поляки выступали в комедии, в мещанской драме и в опере по легким французским образцам, однако с оригинальной польской непринужденностью. К сожалению, я не видел их в трагедии. Думаю, что главная их сила в чувствительном. Это я заметил в исполнении «Записной книжки» Коцебу, которая шла здесь под заглавием: «Ян Грудзинский, староста Равский», драма в трех действиях в перedelке с немецкого Л.-А. Дмушевского. Я был поражен захватывающей нежностью, излитой в скорбных речах «Ядвиги», дочери обвиненного старосты, роль которой исполняла г-жа Шимкайло. Речь г. Влодека, любовника «Ядвиги», отличалась той же сентиментальной окраской. Нюхающего табак старика заменил чихающий домашний учитель «Тадеуш Телемпекий», довольно бесцветно представленный г. Цебровским. Невыразимо прелестны были польские певицы, и грубый польский язык показался мне в пении благозвучным, как итальянский. Г-жа Скибинская очаровала мою душу в ролях «Принцессы Наваррской», «Зетульбы» в «Калифе Багдадском» и «Алины». Такой «Алины» я не слышал никогда. В сцене, где она убаюкивает своего возлюбленного и получает прискорбные известия, она показала и игру, какую редко встречаешь у певицы. Она и ее веселая Голконда долго будут носиться пред моими глазами и звенеть в моих ушах. Г-жа Завадская — премилая «Лорецца» — привлекательно-красивая девушка. Прекрасно поет и г-жа Влодко. Г. Завадский превосходно поет «Оливье», но играет его плохо. Г. Румановский удачно исполняет «Иоанна». Г. Шимкайло чудесный комик-буфф. Но у поляков нет манер! Быть может, прелесть новизны — причина того, что мне так понравились польские актеры. На каждом их представлении театр был переполнен. Все поляки, сколько их ни есть в Познани, посещали театр из патриотизма. Большинство польских дворян, усадьбы которых расположены не слишком далеко от города, приезжало

в Познань, чтобы видеть, как играют по-польски. Первый ярус был обыкновенно унизан польскими красавицами, которые, сидя веселой вереницей, цветок к цветку, представляли из партера дивное зрелище.

О древностях города Познани и великого герцогства вообще не стану рассказывать вам, потому что ими занимается гораздо более опытный, чем я, знаток старины, который, конечно, не замедлит сообщить о них публике много интересного. Это здешний профессор Максимилиан Шоттки, проживший, по поручению нашего правительства, шесть лет в Вене с целью собирания там материалов по немецкой истории и языку. Побуждаемый юношеским энтузиазмом к этим предметам и опираясь при этом на основательнейшие ученые познания, профессор Шоттки собрал и привез с собой литературную добычу, которую исследователь немецкой старины может считать неоценимой. С каким беспримерным прилежанием и неутомимой энергией, очевидно, работал он в Вене, если привез с собою целых тридцать шесть толстых и даже очень толстых и почти сплошь прекрасно написанных томов рукописей *in quarto*. Кроме цельных списков древненемецких стихотворений, хорошо подобранных и предназначенных для берлинской и бреславльской библиотек, в этих томах заключается также множество уже готовых к изданию больших, по преимуществу исторических, стихотворений и песен XIII века, сплошь сопровождаемых основательными комментариями — реальными и филологическими — и вариантами; затем в этих томах содержатся прозаические тексты некоторых романов, принадлежащих большей частью к циклу сказаний о короле Артуре и могущих привлечь внимание также широкого круга читателей; далее остроумно и осторожно проведенные сопоставления из печатных и рукописных документов, заглавия которых служат обозначением большинства важнейших жизненных отношений на протяжении средних веков; далее в этих томах содержатся чисто исторические памятники, среди коих особенно выдаются полная в главных частях копия памятных книжек

императора Максимилиана I за 1494—1508 гг., занимающая три толстых тома *in quarto*, и собрание старых документов, относящихся к более позднему времени; первые важны потому, что дают правильное освещение жизни великого императора и духа его времени, а последние, списанные с точным соблюдением старого правописания, проливают свет на многие семейные отношения австрийского дома и доступны не всякому, кому не были в виде особого исключения, как, например, профессору Шоттки, открыты архивы. Наконец, в этих томах содержится с лишком полторы тысячи песен, взятых из старых забытых сборников, из редких летучих листков и записанных из уст народа: материалы для истории австрийской поэзии, относящиеся сюда песни и более объемистые стихотворения, выписки из редких сочинений, любопытные устные сказания, пословицы, переснятые автографы австрийских государей, множество колдовских процессов в подлинных документах, рассказы о детской жизни, о нравах, праздниках и обычаях в Австрии и множество всяких иных очень важных и иногда курьезных заметок. Несмотря на то, что вышеупомянутые остроумные сопоставления под различными рубриками свидетельствуют о глубоком знакомстве с средними веками и проникновенном понимании их духа, все же этот метод имеет источником, собственно, недостатки бреславльской школы, к которой принадлежит профессор Шоттки. По моему мнению, понимание духовной жизни средневековья в ее совокупности теряется при распределении ее отдельных моментов по особым клеточкам, как бы ни было красиво и удобно для большой публики сразу находить — как это дано, например, в сопоставлениях профессора Шоттки — под рубрикой «рыцарство» собранным все, имеющее отношение к воспитанию, жизни, вооружению, турнирам и прочему быту рыцарства; или в разделе о женщинах получить всевозможные выдержки из поэтов и заметки, касающиеся женской жизни в средние века, и то же самое относительно охоты, любви, религии и т. д. Сочинение профессора

Шоттки о религии в средние века, под заглавием «Бог, Христос и Мария», скоро появится в издании Маркса в Бреславле. В журнале «Минувшее и современность», который будет выходить с будущего года (изд. Мунка в Познани) под редакцией профессора Шоттки, мы, конечно, найдем многие из его ценнейших работ о средних веках и важные результаты его исследований, хотя журнал этот должен охватить также большую часть самой животрепещущей современности и прежде всего поставить своей целью литературное сближение восточной Германии с южной и западной. Очень прискорбно все же, что этот ученый живет в таком месте, где не имеет пособий для обработки и окончательной редакции своего богатого собрания материалов. В Познани нет библиотеки, нет, во всяком случае, такой, которая заслуживала бы это название. В «Аллее», представляющей берлинскую «Под Липами» в миниатюре, строится теперь здание библиотеки, которое после окончания постройки будет понемногу снабжаться книгами, и было бы прискорбно, если бы собранию профессора Шоттки пришлось так долго оставаться необработанным и недоступным широкому кругу читателей. Кроме того, надо жить в настоящей Германии, когда отдаешься работе, со всей необходимостью требующей полного погружения в немецкий дух и немецкий склад. Над головой исследователя немецких древностей должны шуметь немецкие дубы. Опасно, как бы горячий энтузиазм ко всему немецкому не охладился или не испарился в сарматском воздухе. Пусть почтенный Шоттки не останется без тех внешних поощрений, без которых невозможна незаурядная работа. Она касается одного из святейших и важнейших наших дел — нашей истории. Правда, интерес к ней в народе теперь не очень силен. Можно даже сказать, что изучение памятников древне-немецкого искусства и истории вообще не в ходу в наши дни; именно потому, что в прошлые годы оно было предметом моды, потому что им похвалялся портняжный патриотизм и потому что непрощенные друзья повредили ему больше, чем злейшие враги. Пусть же

скорей придет время, когда к средним векам станут относиться справедливо; когда никакой тупоголовый апостол пошлого просвещения не станет составлять инвентарь темных частей в великой картине для того, чтобы тем сделать комплимент своей возлюбленной светлой эпохе; когда ученый школяр перестанет проводить параллели между Кельнским собором и Пантеоном, между «Песнью о Нибелунгах» и «Одиссеей»; когда великолепие средневековья будет понято в его органической связи и будет сопоставляться лишь с самим собою, и «Песнь о Нибелунгах» назовут собором в стихах, а Кельнский собор—каменной «Песнью о Нибелунгах».



I. «СТИХОТВОРЕНИЯ ИОАННА-БАПТИСТА РУССО»

(Крефельд, у Функе. 1823)

II. «СТИХИ ЛЮБВИ И ДРУЖБЫ» ЕГО ЖЕ

(Гамм, у Шульца и Вундермана. 1822)

Чувства, мысли и воззрения юношеского возраста — вот тема этих двух книжек. Мы не знаем, вполне ли уяснил себе автор значение этого возраста, однако несомненно, что в изображении его он не потерпел неудачи. — К чему стремится юноша? К чему это чудесное волнение его души? К чему эти расплывчатые образы, что влекут его сперва в людскую суету, а потом в уединение? К чему эти неясные желания, предчувствия и склонности, простирающиеся в бесконечность, исчезающие и вновь возникающие и побуждающие юношу к беспрестанному движению? Всякий отвечает на свой лад, и так как мы тоже имеем право избрать собственное выражение, то мы объясняем это явление такими словами: «Юноша хочет иметь собственную историю». Вот в чем смысл наших стремлений в юности. Мы хотим что-нибудь пережить, мы хотим созидать и разрушать, наслаждаться и страдать; в зрелом возрасте многое из этого уже достигнуто, и то бурное влечение, что, быть может, и является жизненной силой, уже несколько улеглось и вошло в спокойное русло. Но только старик, сидящий в кругу своих внуков под посаженным им дубом или возле трупов своих близких, на развалинах своего дома, чувствует, что это стремление, это желание иметь свою историю совершенно утолено и погасло. — Мы можем теперь достаточно охарактеризовать основную идею этих двух

названных выше книг, сказав, что автор изобразил в первой стремление иметь свою историю, а во второй первые начальные ее шаги. Мы назвали это изображение удачным, ибо автор представил нам не размышления о своих чувствах, мыслях и намерениях, а их самих с неизбежно возникающими из них суждениями, действиями и другими внешними проявлениями. Он спокойно предоставил внешнему миру воздействовать на себя и свободно, и просто, подчас великолепно-честно и детски-наивно высказал, как это все отразилось в его взволнованной душе. Автор следовал здесь высшему принципу романтической школы и, вместо того, чтобы стремиться к известной фальшивой идеализации, собрал в своих стихотворениях исключительные особенности простоватой буржуазной юности. Но что возмущает в нем поэта — так это то, что в этих особенностях снова проявляется общее, и даже в тех нидерландских картинках, которые иногда предлагает нам автор в своих сонетах, ясно выступает перед нами идеальное. Этот выбор и сочетание особенностей и служит ведь мерилom, которым мы можем определить величину таланта; ибо, подобно тому, как искусство живописца состоит в способности его глаза видеть своеобразно, и он, например, самый грязный деревенский кабаk воспринимает и изображает именно с той стороны, с какой тот отвечает своим видом чувству прекрасного и расположению души, так и истинный поэт наделен талантом видеть и сочетать самые ничтожные и безотрадные особенности повседневной жизни таким образом, что они слагаются в прекрасное подлинно поэтическое произведение. Поэтому всякое подлинное произведение обладает определенным местным колоритом, и в субъективном стихотворении мы должны узнавать местную обстановку, в которой живет поэт. От лежащих перед нами стихотворных сборников веет духом приречных земель, и мы повсюду видим на них отпечаток тамошней жизни и деятельности, тамошнего народного характера со всей его жизнерадостностью, грацией, любовью к свободе, подвижностью и неосоз-



ЖАН-БАТИСТ РУССО

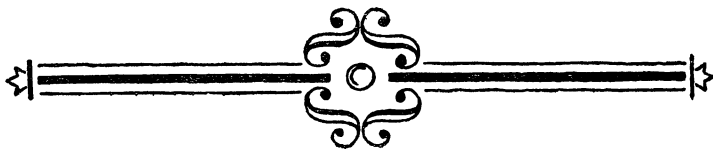
С гравюры Г.-Ф. Шмидта

нанной глубиной. Что касается степени художественности, то мы отдаем преимущество второй книге, хотя первая содержит больше привлекательного и сильного. В первой книге еще преобладает движение страсти, именно потому, что в ней выражает себя беспокойное стремление иметь историю; во второй уже просвечивает эпическое спокойствие, так как для этой истории уже накоплен некоторый материал, приобретающий определенные очертания. Но всякий ведь знает, — а кто не знает, пусть узнает об этом здесь, — что страсть столь же хорошо творит стихи, как и прирожденный поэтический гений. Оттого-то и видим мы столько немецких юнцов, мнящих себя поэтами, ибо их непребродившая страсть, — например взрыв наступившей половой зрелости, или патриотизма, или самого безумия, — произвела несколько сносных стихов. Оттого-то и многие захолустные эстетика, быть может, наблюдавшие нежного кучера или гневную кухарку, разразившихся поэтическими выражениями, пришли к безумному мнению, будто поэзия не что иное, как язык страсти. Повидимому, в первой книжке наш автор много стихотворений произвел рычагом страсти, однако о стихотворениях второй книжки можно сказать, что они отчасти — произведение гения. Труднее определить степень его силы, и размер этих листов не позволяет предпринять подобное исследование. Поэтому мы переходим к внешней характеристике. Первая книжка содержит сто отдельных и связанных между собой стихотворений различных размеров и тональности. Автор склонен подражать большинству южных форм с тем или иным успехом. Но им не забыты также формы простого немецкого изречения и народной песни. Стоит ради его краткости привести следующее изречение:

Противна мне упорная грусть
Теперешней молодежи,
И эта, затверженная наизусть,
Премудрость — противна тоже.

Народные песни хотя и выдержаны в настоящем народном тоне, однако ж, по нашему суждению, написаны

несколько тяжеловесно. Дело ведь в том, чтобы, уловив дух народной песни и пользуясь его знанием, создать новые формы применительно к нашим потребностям. Поэтому так безвкусно звучат титулованные народными песни тех господ, которые самый современный материал, почерпнутый в образованном обществе, облачают в форму, какую, быть может, находили подобающей для выражения своих чувств честные ремесленные подмастерья двести лет назад. Буква умерщвляет, но дух дает жизнь. — Вторая книжка содержит только сонеты, первая половина которых, озаглавленная «Храм любви», состоит из апологий друзей по духу. Среди сонетов любви мы считаем самыми удачными XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXVI. В «Храме дружбы» мы отмечаем сонеты Штраусу, Арниму и Брентано, А.-В. фон-Шлегелю, Гундесгагену, Сметсу, Крейзеру, Рюкерту, Бломбергу, Лебену, Иммерману, Арндту и Гейне. А среди них нам больше всего понравился сонет И. Крейзеру. Сонет Э.-М. Арндту мы находим заслуживающим похвалы, ибо автор, по известным соображениям, не боится, подобно многим прирученным людям, публично говорить об этом достойном человеке. В этом сонете нам непонятен второй стих: Вавилон вовсе не расположен на Сене, это отвратительная географическая ошибка 1814 г. В общем, кажется, ни один дух порицания не обитает в этом «Храме дружбы», и версифицированное благоволение здесь и там расточается чересчур щедро. В особенности это относится к сонетам, посвященным Г. Гейне, коему автор достаточно уделил внимания уже в первой книжке и которого, как мы видим здесь, он одарил восемью сонетами, тогда как другие лица почтены лишь одним. Голова Гейне будет украшена столь роскошным лавровым венком, что, поистине, г. Руссо придется в дальнейшем доставить себе удовольствие забросать эту так прекрасно увенчанную им голову деликатными комочками грязи; если же этого не случится, то будет страшно жаль и совсем против обычая и традиции, против самой сущности обыкновенной человеческой натуры.



АЛЬБЕРТ МЕТФЕССЕЛЬ

Наш добрый Гамбург, несколько лет тому назад понесший с кончиной старого, славного, неотесанного, простодушного, сведущего и антикаталанистического Швенка и поныне еще памятную потерю, теперь, по-видимому, будет достойно за нее вознагражден, ибо один из самых выдающихся немецких музыкантов возымел намерение здесь поселиться. Это Альберт Метфессель, чьи песни распространены по всей Германии, любимы всеми классами народа и звучат и отзываются как на собраниях мягкосердечных филистеров, так и в буйных погребках бражничающих буршей. Также и пишущий эти строки в свое время честно распевал немало прелестных песен из студенческого песенника Метфесселя и уже тогда высоко ценил композитора и книгу. Поистине, невозможно достаточно почтить тех композиторов, которые дают песням мелодии такого рода, что они находят доступ к народу и разносят истинную жизнерадостность и подлинное веселье. Большинство композиторов так внутренне вычурны, заплесневелы и изломаны, что неспособны произвести ничего простого, чистого, коротко говоря, ничего естественного, — а естественное, органически появившееся и отмеченное неподдельным знаком истины как раз и является тем, что придает песенным мелодиям то очарование, которое запечатлевается у всех на душе и делает их популярными. Правда, некоторые наши композиторы остаются еще настолько близки к природе, что могут сочинять подобные простые песенные произведения, однако часть их мнит себя слишком благородными для таких занятий, часть

довольствуется нарочитыми отступлениями от природы и, быть может, страшится, что их перестанут считать подлинными художниками, когда они не будут вытворять музыкальных кунштюков. Театры — вот ближайшая причина, по которой песня находится в пренебрежении; все, кто изучил, или наполовину изучил, или вовсе не изучил генерал-бас, устремились на подмостки. Тягостное обезьянство, гибель многих действительно одаренных! Слабодушные неженки желают раструбить и разбарабанить колоссальную слоновую музыку, дюжие крепыши желают испускать сладкую россиниевскую музыку Розины или даже обсахарившуюся музыку — Розины. Избави боже! — Мы же хотим почтить благодарным признанием таких композиторов, как Метфессель, и в особенности — его песенные мелодии.



«СТРУЭНЗЕЕ» МИХАЭЛЯ БЕЕРА

27 марта в здешнем Национальном театре состоялось представление «Струэнзее», трагедии в пяти действиях Михаэля Беера. Прежде чем высказать наше суждение об этой пьесе, да будет нам дозволено бросить беглый взгляд на предшествующие драматические произведения Беера. Только так, рассмотрев сколько-нибудь автора в его связи с самим собой и особо определив потом место, занимаемое им в драматической литературе, мы найдем твердое мерило, которое может служить для похвалы и порицания и имеет относительное значение.

Юношески незрелой, как и возраст ее сочинителя, была «Клитемнестра», ее поклонники принадлежали к тем избранным, которые почитают «Сафо» Грильпарцера наивысшим образцом в этом греческом роде; ее хулители частью принадлежали к тем, которые хотят только порицать, частью же к тем, которые были действительно правы. Невозможно отрицать, лица этой трагедии были наделены лишь внешней мнимой жизнью, а речи их также не что иное, как мнимая видимость. Тут не было подлинного чувства, а только одна традиционно-театральная напыщенность, ни одного вдохновенного слова, а только ходульные речи придворных комедиантов, и всё, за исключением нескольких живых фиалок, — было только искусственным изделием из бумажных цветов. Единственное, чего нельзя было не признать, — это драматургический талант, неоспоримо проявившийся, вопреки всей привитой неестественности и достойному сожалению ложному направлению.

Что сам автор почувствовал это, доказала его вторая трагедия — «Невесты Арагонии». В ней кое-где уже свер-

кает подлинное пламя, здесь и там прорывается подлинная страсть, нельзя отказать ей и в некоторой поэтичности, однакож, хотя и устранены бумажные цветочные убранства и появились цветы происхождения органического, они все же еще выдают взрастившую их почву, именно — театр; по ним видно, что созрели они не на вольном солнечном свете, а под чахлыми лампами оркестра, и цвет и аромат их сомнителен. Но драматургический талант здесь можно было отрицать еще менее.

Как отрадны были посему дальнейшие успехи автора! Было ли то сознание собственного заблуждения, или безотчетное естественное влечение, или даже внешняя подчиняющая сила, — это внезапно обратило автора на самый отличный и правильный путь. Вышла его «Пария». В этом образе не было ничего от жалкого дыхания театрального суфлера. Пламя этой души не было обыкновенным канифольным огнем, и в этом пламени не мелькали затверженные наизусть страдания. Тут были меткие слова, поражающие всякое сердце, тут были искры, воспламеняющие всякое сердце.

Господин Беер улыбнется, когда прочтет, что мы склонны приписать выбору фабулы для трагедии тот необычайный прием, какой оказала ей публика. Мы охотно признаем за ним, что в этой пьесе он обнаружил подлинную, несомненную поэтичность, да, и что мы как раз благодаря этому произведению побуждены были наделить его подлинным поэтическим достоинством, не сопричисляя больше к тем гомеопатическим стихотворцам, которые всыпают в свои водянистые трагедии лишь одну десятитысячную часть поэзии, — но все же мы должны указать на фабулу «Парии», как на главную причину ее успеха.

Поэзия сама по себе никогда не составляет славы произведениям поэта. Рассмотрим хотя бы гетевского «Вертера». Его первые читатели никак не ощущали его внутреннего значения, и большую публику привлекало или отталкивало только потрясающее, занимательность самого факта. Книгу читали из-за само-

убийства, и николаиты писали против нее тоже из-за самоубийства. Но в «Вертере» заключен еще один элемент, который привлек меньшее число читателей, я разумею рассказ о том, как юный Вертер был вежливейшим образом выпровожен высокоблагородным обществом. Появись Вертер в наши дни, эта часть книги возбудила бы умы куда больше, нежели весь эффект от пальбы из пистолета.

С развитием общественных отношений новоевропейского общества у бесчисленного множества людей возникло благородное недовольство неравенством сословий; с негодованием стали взирать на всякие привилегии, оскорбляющие целые классы; отвращение возбуждали предрассудки, подобные отжившим, уродливым истуканам времен варварства и невежества, которые все еще требовали человеческих жертв и перед кем все еще закалывали много прекрасных и добрых людей. Идея человеческого равенства согревает мечтой наше время, и поэты, как верховные жрецы, служащие этому божественному солнцу, могут быть уверены, что тысячи людей преклоняют с ними колена и тысячи людей плачут и ликуют вместе с ними.

Вот почему все те произведения, где выступает эта идея, собирают дань шумного одобрения. После гетевского «Вертера» первым, кто вывел эту идею на подмостки, был Людвиг Роберт, который и дал, нам на пользу, в «Силе обстоятельств» настоящую мещанскую трагедию, когда искусной рукой внезапно сорвал прозаические холодные повязки с пылающих сердечных ран современного человечества. С таким же успехом тревожили ту же тему — мы почти готовы сказать — ту же рану — и позднейшие авторы. Та же сила обстоятельств потрясает нас в «Урике» и «Эдуарде» герцогини фон-Дурас, в «Исидоре» и «Ольге» Раупаха. Франция и Германия нашли даже одинаковые одеяния для одинаковых скорбей, и Делавинь и Беер, оба дали нам «Парию».

Мы не станем исследовать, кто из обоих поэтов заслужил лавровый венок; довольно того, что мы

знаем, оба лавровых венка орошены благороднейшими слезами. Но да будет нам позволено заметить, что язык бееровской «Парии» хотя и напоен поэзией, однакож все еще отзывается некоторой театральностью и кое-где дает знать, что «Пария» скорее выросла среди деревьев берлинских кулис, нежели среди индийских баньянов, и по прямой линии состоит в родстве с прекрасной «Клитемнестрой» и еще лучшими «Невестами Арагонии».

Мы должны были предпослать эти рассуждения о прежних произведениях М. Беера, чтобы тем короче и отчетливей высказать свое суждение о его новой трагедии «Струэнзее».

Прежде всего признаемся, что упрек, от которого мы только что не могли избавить «Парию», отнюдь не коснется «Струэнзее», чей язык струится чисто и плавно и может служить образцом прекрасного слога. Здесь мы должны надуть паруса похвалы всей силой нашего дыхания, здесь Михаэль Беер является перед нами самым выдающимся из толпы наших так называемых театральных сочинителей, тех краснобаев, чьи образные ямбы вьются вокруг глупых мыслей, подобно цветочным гирляндам или ленточным глистам. Бесконечно отраднo было нам вновь приметить среди той сухой песчаной пустыни, которую называем мы немецким театром, чистый, свежий, живительный источник.

Что касается темы, то господина Беера и тут вела счастливая звезда, мы почти готовы сказать — счастливый инстинкт. История Струэнзее слишком недавнее событие, чтобы нам необходимо было ее пересказывать и, по обыкновению, раскрывать сюжет пьесы. Как легко угадать, он заключается отчасти в борьбе буржуазного министра с высокомерной аристократией, отчасти в любви Струэнзее к королеве датской Каролине-Матильде.

По поводу этой второй основной темы трагедии Беера мы не собираемся вдаваться в пространные рассуждения, хотя она и показалаcя сочинителю столь

важной, что он в четвертом и пятом действиях почти забыл ради нее свою первую основную тему, и, пожалуй, эта вторая тема, может быть, покажется столь же важной и другим людям, вследствие чего представление трагедии, возможно, встретит кое-где высочайшие препятствия. Достойно ли вообще либерального правительства противиться драматическому представлению документально засвидетельствованных истин — вопрос, которым мы собираемся заняться в свое время. Нашему народному театру пришлось бы совсем погибнуть без той свободы подмостков, которая еще древнее свободы печати и которая всегда была сполна там, где процветало драматическое искусство, например в Афинах во времена Аристофана, в Англии в правление королевы Елизаветы, которая даже позволяла к представлению мерзостные происшествия в ее собственной семье, даже ужасы, совершенные ее собственными родителями. Здесь, в Баварии, где мы видим свободный народ и, что еще реже, свободного короля, мы находим столь же возвышенные взгляды и посему осмеливаемся ждать также прекрасных плодов искусства.

Возвратимся к первой основной теме «Струэнзее» — борьбе бюргерства с аристократией. Нельзя отрицать, что эта тема родственна «Парии». Она должна была естественно вырасти из этой трагедии, и мы тем выше ставим внутреннее развитие автора и его острое чутье, которое всегда приводит его к принципу главнейших спорных вопросов нашего времени.

В «Парии» мы видели угнетенного, насмерть растоптанного железной ступней угнетателя, — и голос, что, разрывая души, проникал к нам в сердце, был воплем оскорбленного человечества. В «Струэнзее», напротив, видим мы прежнего угнетенного в борьбе со своими угнетателями, последние даже сломлены, и то, что мы слышим, — достойный протест, с каким человеческое общество домогается восстановления своих старых прав и требует гражданского равенства для всех своих сочленов. В беседе с графом Ранцау, представителем

аристократии, Струэнзее энергично говорит о тех привилегированных кариатидах трона, которые желали бы казаться его необходимой опорой, и метко изображает то сиятельное время, когда он еще не захватил государственного кормила:

— — — Надменность с самомнением

Делили меж собою блага власти
И оттесняли лучших, предоставив
Толпе простых наемников корпеть
На низших должностях. Страна кормила
Тогда немало сводников бесстыдных,
Которым были вверены все тайны
Альковные, чтоб свято их блюсти;
До времени стремилась молодежь,
Из знатных, ввысь, по ступеням отличья,
Обскакивая в гонке этой тех,
Кто родом был пониже, пробираясь
К верхушке тесной, той, что лишь немногих
Испытанных избранных вмещает.
Страна взирала с ужасом растущим,
Как знатные мальчишки оттесняют
Цвет родины в забвение и мрак.

Р а н ц а у (с улыбкою)

Возможно так — что выводок орлов
Смелее к солнцу крылья расправляет,
Чем воробьи, летающие низко.

С т р у э н з е е

Но я решился крылья пообрезать
Орлиной этой стае и законом
Связал неоперившуюся юность —
С тем, чтоб не вздумал новый Фазтон
Схватить бразды летящей колесницы.

Само собой разумеется, что трагедия, где герой декламирует подобные стихи, не обошлась без соответствующих превратных толкований; не удовлетворив-

пись тем, что преступник, отважившийся держать подобные речи, в конце концов был обезглавлен, кое-кто дал выход недовольству в художественной оценке трагедии, выставив эстетические принципы, согласно которым все недостатки пьесы были разобраны по косточкам. Между прочим, автору ставят в упрек, что в его трагедии нет глубоких и великолепных рассуждений и он ничего не дает, кроме действия и образов. Эти критики бесспорно не знакомы с «Клитемнестрой» и «Невестами Арагонии», где, по правде, нет недостатка в рассуждениях. Другим упреком был выбор темы, которая, как сказано, еще не совсем отошла в историю, и для ее разработки потребовалось вывести на подмостки лиц, еще здравствующих. Также считали недопустимым выражать интересы нынешних партий, разжигать страсти нынешнего дня, представлять в рамках трагедии современность, и притом тогда, когда эта современность пришла в самое опасное и бурное волнение. Однакож мы на сей счет другого мнения. Мерзостные происшествия при дворах не могут довольно скоро попасть на сцену, и тут надлежит, как некогда в Египте, творить суд над мертвыми королями и великими мира. Что же касается той теории полезности, по которой постановка трагедии судится по вреду или пользе, которую она может принести, то мы, разумеется, весьма далеки от того, чтобы разделять этот взгляд. Однако даже если придерживаться этой теории, то трагедия Беера все же больше заслуживает похвалы, нежели порицания, и когда она раскрывает перед нашими глазами картину кастовых привилегий, во всей ее ужасающей жизненности, то, быть может, это более целительно, чем предполагают.

В народе ходит легенда, что василиск самый ужасный и непоборимый зверь, ни огонь, ни меч не могут его уязвить, и единственный способ умертвить его состоит в том, чтобы кто-нибудь отважился подставить ему зеркало; ибо, узрев самого себя, зверь так устрашается собственного своего безобразия, что падает и умирает. «Струэнзее», точно так же и «Пария», было таким зер-

калом, которое отважный поэт подставил худшим вассилискам нашего времени, и мы благодарны ему за эту услугу.

Мы не будем разбирать те законы искусства, те эстетические плебисциты, которых добивалась многочисленная толпа по поводу бееровской трагедии. Довольно, если мы скажем, что господин Беер с честью выдержал этот суд. Мы не говорим этого в похвалу, напротив — в этих словах скорее скрыт тайный упрек, что поэт, при помощи средств, которые, быть может, и не совсем достойны поэта, сумел привлечь к себе широкую публику. Мы имеем в виду здесь театральное возбуждение, достигаемое высшей степенью напряженного ожидания, благодаря чему стало возможным заставить тот битком набитый зрительный зал, какой мы видели на представлении «Струэнзее», вы сидеть свыше четырех часов, скажем, четыре с половиной часа, и притом сохранить неослабевающий энтузиазм и дать выход всеобщему восторгу, так что большая часть публики еще была расположена долго ожидать, не появится ли господин Беер, которого бурно вызывали.

Быть может, мы были несправедливы к тем критикам, что упрекали господина Беера в отсутствии красивых размышлений; подобные упреки были, пожалуй, всего только ироническим порицанием, скрывавшим за собой самую тонкую похвалу. А ежели это было сказано всерьез, — все мы люди со слабостями, — то выражаем сожаление, что эти критики из-за деревьев не увидели леса. Они, по их словам, не увидели ничего, кроме действия и героев, и не заметили, что они-то и представляли собой прекраснейшие рассуждения, да и что все целое было одним единственным огромным рассуждением. Мы удивляемся драматургической мудрости поэта и его знанию сцены, благодаря чему он достиг столь великого. Он не только тщательно мотивировал, подготовил и выполнил каждую сцену, но каждая сцена сама по себе вытекает из органической необходимости и основной идеи пьесы; например, та народная сцена, которой открывается четвертое действие и которая

недальновидному зрителю могла показаться излишним грузом, — а многим и на самом деле так показалось, — настолько определяет всю катастрофу, что без нее эта последняя сцена была бы мотивирована лишь наполовину. Мы даже не принимаем в соображение, что душа зрителя столь глубоко взволнована страданиями в трех первых действиях, что для отдыха ей совершенно необходима комическая сцена. Однако ее собственный смысл — трагического свойства, из-за смеющейся комедийной маски смотрят замогильные, страдальческие глаза Мельпомены, и именно по этой сцене мы узнаем, что Струэнзее, который мог погибнуть от одной своей любви, повинной в оскорблении величества, ускорил свою гибель еще тем, что его новые учреждения были антинациональны, что народ его ненавидел, что народ еще не созрел для великих идей его либерального сердца. Мы позволим себе некоторые выдержки из той народной сцены, которой господин Беер нам показал, что он обладает талантом и для комедии.

Крестьяне сидят в шинке и рассуждают о политике:

Школьный учитель

По мне, так Струэнзее не стоит того, чтоб из-за него браниться. На нашу беду появился он в нашей стране. Всюду он вносит раздор и несогласие. Разве он не вмешался в дела благородного учительства? Не требует теперь от полноправных школьных учителей, чтобы они учили тому, что никак не подходит для башки ваших ребятишек? Коли все так пойдет, как он желает, так ваши мальчишки и девчонки скоро станут умнее вас самих. Но до этого не дойдет, о том я позабочусь.

Г о о г е (крестьянин)

Да, он хочет повсюду зажечь свет, где его надобно гасить; разве нынче не дозволено каждому печатать, что ему вздумается! Вам нынче нельзя как честному школьному учителю пропустить лишний глоток для утоления жажды, ведь Кистер завтра может тиснуть «вчера школьный учитель был пьян!»

Школьный учитель

Посмей он только! Хотел бы я посмотреть!

Гооге

И поглядели бы и не смогли бы препятствовать. Они называют это свободой печати, однакож, право, кто не ходит по одной половице, тот всегда может насильно попасть в печать.

Бабе (лекарь)

Ходите по одной половице, тогда это никому не повредит. Можете тем же манером поверять другим свои задушевные мысли и можете, коли вам нравится, говорить против Струэнзее и правительства.

Гооге

Э, что там говорить! Я вовсе не намерен говорить, я хочу сидеть молчком, но пусть и другие помалкивают. Всяк заботься о своих горшках в печке.

Школьный учитель

Не заводите таких бесчинных речей, кум Бабе! Для чего же править нами, когда мы захотим говорить против правительства? Хорошее правительство должно управлять всем, сердцами и кошельками, языками и перьями. В хорошем государстве главное правило, чтобы, как попросту, от всего сердца выразился Гооге, сидеть молчком, ибо кто говорит и печатает, тот должен иногда и думать, а для верных подданных нет ничего опаснее, как мысль.

Бабе

Ну, думать-то вы помешать не можете.

Флиис (крестьянин)

Нет, этому помешать никто не может, и я подумываю о многом.

Школьный учитель

А ну-ка, Флинсушка, давай послушаем, о чем ты думаешь. (Тихо Свенне). Это самый большой пентюх во всей деревне.

Флинс

Я думаю, мне все ладно, когда бы только не дошло до исполнения плана, который, как говорят, замыслил Струэнзее.

Бабе

А именно?

Флинс

Что он замыслил нас, мужиков, в Дании и в герцогствах, сделать свободными людьми. Я не желаю быть свободным и независимым. Что ж такого, ежели я должен пахать свое поле для дворянина? Зато он меня кормит и заботится обо мне, а взбучка в счет не идет. Когда бы мы сделались свободными, нам бы пришлось страдать и мучиться, мы бы стали господами над самими собой, и нам пришлось бы платить подати.

Бабе

А разве тебе не хочется позаботиться о своей собственности, о радости называть своим то, чем ты владеешь?

Флинс

Вот еще! Когда обо мне заботится кто-нибудь другой, так мне удобнее.

Школьный учитель

Это первая разумная мысль, Флинс, на которой я тебя ловлю. Со свободой пришло бы одновременно просвещение, современный яд, ваша смерть.

Помимо метких замечаний, что свобода печати находит столь же ярых противников среди низших классов, как и среди высших, и что упразднение крепостного права всего более ненавистно самим крепостным, помимо такого рода правдивых черт, каких

немало еще в этой сцене, мы отчетливо видели, как трагически одиноко стоял Струэнзее на высокой изоляционной скамейке своих идей и неминуемо должен был погибнуть в этой борьбе одного против всех. Тонкий вкус нашего поэта подсказал ему необходимость несколько смягчить чрезмерные страдания героя при такой гибели; он заставляет его предвидеть умственным взором то время, когда благодетели народа и сам народ придут к согласию; умирая, видит он утреннюю зарю этого времени и говорит прекрасные слова:

День занялся. Смирненно жизнь сложу
К его престолу вечному. Дела
Поблекнут, как земная блекнет скорбь,
И воссияет скрытая в нас воля.
Блаженная меня награда ждет:
Где я творил, там всходит мой посев.
Я эту жизнь недаром прожил; я
Не совратил страну ученьем ложным.
Настанет день, и воплотится в явь,
Чего хотел я; деспоты узнают,
Что близится их ярости конец.
Я вижу, воздвигаются помосты
Кровавые, оковы рвет народ;
В неистовстве разит он короля
И сам себя затем без счета ранит.
Топор косит за жизнью жизнь усердно,
Как жатву жнец; — и вдруг смиряет ярость
Слепую чья-то мощная рука.
Палач отходит в сторону, но тот,
Другой, пришел не с пальмовою ветвью,
Мечом своим народы он разит.
И снова мир: пустынный океан
Могилу одинокую объемлет.
И дни настанут светлые, народы
И короли в одно соединятся,
Они придут, придут неотвратимо
И непреложно, как сама премудрость.
Лишь короли дают народам мощь,
И лишь в народах — королей величие.

После того, как мы высказали свое суждение об основной идее, словесной технике и действии новой трагедии Беера, нам остается еще подробнее осветить образы, которые в ней выступают. Однако недостаток места не позволяет нам приступить к такому критическому разбору и едва разрешает привести несколько коротких замечаний о главных действующих лицах. Мы намеренно употребили слово «образы» вместо «характеры», обозначая первым внешнее, вторым внутреннее явление. Струэнзее — да простит нам поэт это суровое порицание — не образ. Расплывчатость, недосказанность, чрезмерная мягкость, которые мы видим в нем, должны, пожалуй, представить его характер, мы даже склонны считать их проявлением его характера, однако они лишают его всякой внешней образности. То же самое применимо и к графу Ранцау, более благородному, нежели аристократичному, подобно Струэнзее, растекающемуся в чистой сентиментальности, этом наследственном пороке бееровских героев; только когда мы заглянем к нему в сердце, мы увидим, что это все-таки характер, хотя и бледно обозначенный, но все же характер. Его ненависть к королеве Юлиане, с которой он, однако, заключает союз против Струэнзее, и другие подобные черты дают ему внутреннюю жизнь, индивидуальность, одним словом, характер. Сказанное до известной степени распространяется и на пастора Струэнзее; он, — кого один из наших друзей, разумеется, несправедливо, хотел объявить копией с отца делавиньевской «Парии», — приобрел свой внешний облик, быть может, не столько от самого поэта, сколько благодаря личности исполнителя. Высокая фигура Эслера в подобной роли, именно в роли реформатского пастора, предстала перед нами подобно колоссальному старокатолическому собору, перестроенному для протестантских богослужений; на стенах прелестные картины, частью отбитые, частью замазанные свежей известкой, пилястры, голые и холодные, но слова, что так глухо и трезво раздаются со вновь сколоченной кафедры, все же слово божие. Таким пред-

•

стал перед нами Эслер в особенности в сцене, где пастор Струэнзее, почти в литургическом тоне, благословляет своего сына.

Характер королевы Каролины-Матильды, как это само собой разумеется, — очаровательная женственность, и, если мы не ошибаемся, навеян поэту образом несчастной Марии-Антуанетты, как и сцена осады, в которой мятежные войска идут на приступ королевского замка, многозначительно вызывая в памяти штурм Тюильри. Свой внешний облик королева также получила благодаря своей исполнительнице, m-lle Гаген, которая в начале второго действия, сидя на красном золоченом кресле, выглядела столь же прелестной, как на картине Штилера, которой мы недавно восхищались на выставке здешнего художественного общества.

Мы не наделены талантом говорить прекрасным дамам что-либо огорчительное, разве только, что мы их любим, и мы воздержимся от суждения об игре m-lle Гаген в роли королевы Каролины-Матильды, тем более, что, по общему мнению, она играла в ней лучше, чем когда-либо, и наше возможное порицание вообще относилось бы ко всей той школе неестественности, откуда вышло столько прекрасных актеров. За исключением г-ж Вольф, Штих, Шредер, Пехе, Мюллер и еще нескольких дам, наши актеры всегда старались говорить тем напыщенным, певучим, фальшивым, лицемерным тоном, подобие которому можно найти только на лютеранской кафедре и который пародирует вольное искреннее чувство. Самые естественные, неиспорченные девушки, коль скоро они вступили на подмостки, считают своим долгом настроиться на этот тон, и коль скоро усвоят они эту традиционную неестественность, то называют себя артистками. Ежели мы в этом смысле назовем нашу королеву Каролину-Матильду еще не вполне законченной артисткой, то выразим этим самую высшую похвалу, которую она может от нас ожидать. Так как она еще молода и, можно надеяться, обращает внимание на доброжелательные указания, то, пожалуй, со временем ей удастся отделаться от стремления к этой роковой

артистичности, и она найдет в нас дружественную готовность воздать ей подобающую честь. Но сегодня принуждены мы присудить венец другой, лучшей королеве, и вопреки нашему антиаристократическому образу мыслей мы присягаем на верность королеве Юлиане-Марии. Вот образ, вот характер, здесь не придерешься ни к рисунку ни к краскам, здесь нечто новое, нечто совсем своеобразное, и здесь проявляет поэт свое величайшее божественное полномочие, свое полномочие творить людей. Здесь, повидимому, господин Беер возвещает о способности, которая больше того, что мы обыкновенно называем талантом, и мы бы охотно назвали ее почти гениальностью, если бы были менее скупы на это слишком драгоценное слово.

Старая, вкрадчиво-сильная, пленительно-ужасная королева — своеобразнейшее создание поэта, которое не поддается сравнению ни с одним из существующих образов. Госпожа Фрис сыграла эту роль так, как ее надлежало сыграть. Она с полным правом заслужила то шумное одобрение, которое выпало на ее долю, и с того вечера мы причислили ее к той кучке лучших актеров, которых поименовали выше. Странные беспокойные движения ее рук живо напомнили нам Семирамиду, исполняемую г-жей Жорж. Ее костюм, ее голос, ее походка, все ее существо наполнили нас тайным ужасом; в особенности во время той сцены, где она раздает заговорщикам приказания на ночь, стало нам так жутко, как в детстве, когда однажды вечером слепая служанка рассказала нам страшную историю о ночном замке, где заколдованная королева кошек, диковинно разряженная, восседает в кругу придворных котов и кошек и они, наполовину человеческими голосами, наполовину мяуча, замышляют беду.

Мы заканчиваем эти заметки сожалением, что размеры этого издания не позволяют нам подробней разобрать новую трагедию господина Беера. Мы сами чувствуем, что осветили преимущественно одну ее сторону, политическую. Мы полагаем, что другие рецензенты, по обыкновению, однобоко разберут ее другую

сторону, романтическую, любовную. Ожидая такого дополнения, мы хотим только выразить нашу благодарность за то высокое наслаждение, которое нам доставил поэт. По той откровенной оценке, которую мы дали его творению, пусть увидит он наш лишенный зависти, доброжелательный образ мыслей, и нас порадует, ежели наши слова, быть может, поспособствуют тому, что он надолго еще останется на том прекрасном пути, на который он вступил с такой славой.

Поэты — непостоянный народ, на них нельзя положиться, и лучшие из них часто меняли лучшие свои взгляды из чистой страсти к переменам. В этом смысле философы куда надежнее, куда больше, чем поэты, привержены к истине, которую они некогда высказали; куда более стойко борются они за нее, ибо сами с трудом извлекли эту истину из глубины своего мышления, в то время как к праздным поэтам они приходят как легкий подарок. Пусть же будущие трагедии господина Беера будут так же, как «Пария» и «Струэнзее», пронизаны дыханием того бога, что более велик, чем великий Аполлон и все другие медиатизированные боги Олимпа, — мы говорим о боге свободы.



НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вольфганга Менцеля, 2 части, Штуттгарт, у братьев Франк, 1828.

«Знай, что всякое произведение, достойное того, чтобы появиться на свет, не может найти своего судью тотчас же при своем появлении; сперва должно оно взрастить свою публику и воздвигнуть себе судилище... Спиноза пролежал более столетия, прежде чем о нем сказали верное слово, о Лейбнице, быть может, это слово еще не сказано, о Канте — наверное. Когда книга тотчас при своем появлении приобретает полномочного судью, то это верное доказательство того, что эта книга с тем же успехом могла бы остаться ненаписанной».

Это слова Иоганна-Готлиба Фихте, и мы как бы берем их эпиграфом к нашей рецензии о труде Менцеля, частью для того, чтобы показать, что мы меньше всего намереваемся написать рецензию, частью затем, чтобы утешить автора, если об основном содержании книги не будет сказано ничего существенного, а будет обсуждаться лишь ее отношение к другим книгам этого рода, ее внешние стороны и особенно выдающиеся мысли.

Когда мы, прежде всего, пытаемся подыскать среди существующих книг этого рода такую, с которой можно было бы сравнивая сопоставить разбираемое сочинение, нам приходят на память почти только одни лекции о литературе Фридриха Шлегеля. Также и эта книга не нашла еще своего полномочного судью, и как бы громко за последнее время раздавались иные голоса, отрицающие из мелочно-протестантских соображений его заслуги, однако еще никто не смог критикуя подняться над

великим критиком; и даже признавая, что его брат, Август Шлегель и некоторые новые критики, например Виллибальд Алексис, Циммерман, Фарнгаген-фон-Энзе и Иммерман значительно превосходят его остротой критического суждения, все же они до сих пор писали только монографии, тогда как Фридрих Шлегель величественно постиг всю совокупность духовных устремлений, как бы снова заключив все их проявления в первоначальное творческое слово, из коего они произошли, так что его книга уподобляется творческой песне духов.

Религиозные причуды, изобилующие в позднейших сочинениях Шлегеля, ради чего, казалось ему, он только и писал, составляют, однако, случайную особенность, и именно в его лекциях о литературе, быть может, более, чем он сам это сознает, — идея искусства все же является главенствующим центром, который своим золотым излучением пронизывает всю книгу. Ведь идея искусства является средоточием всего того литературного периода, который начался с Гете и только теперь достиг своего конца, ведь эта идея по-настоящему образует центр и в самом Гете, великом представителе этого периода, — и когда Шлегель в своей оценке Гете не находит в нем никакого центра, то эта ошибка, быть может, коренится в его простительном негодовании. Мы говорим «простительном», чтобы не употребить слова «человеческом»: ибо Шлегели, руководимые идеей искусства, признавали объективность высшим требованием художественного произведения, и так как они нашли ее в высшей степени у Гете, то подняли его на щит, новая школа преклонилась перед ним, как перед королем, а став королем, он отблагодарил их, как имеют обыкновение благодарить короли, — оскорбительно отстранив Шлегелей и растоптав в прах их школу.

«Немецкая литература» Менцеля — достойное дополнение к упомянутому сочинению Фридриха Шлегеля. То же величие взглядов, стремлений, силы и заблуждения. Оба сочинения дадут последующим литераторам материал для размышления, ибо в них не только заложено

жены прекраснейшие сокровища духа, но каждое из этих двух сочинений к тому же ярко характеризует время, в которое оно написано. Это последнее обстоятельство доставляет и нам наибольшее удовольствие при сравнении обоих произведений. У Шлегеля мы отчетливо видим все стремления, потребности, интересы, общее направление немецких умов за последние десятилетия и, как средоточие всего, — идею искусства. Однако если шлегелевские лекции образуют, таким образом, литературный эпос, то сочинение Менцеля, напротив, представляется нам взволнованной драмой, интересы времени выходят на подмостки и произносят монологи, высказываются страсти, желания, надежды, страх и сострадание, друзья подают советы, враги наступают, партии сходятся лицом к лицу, автор воздаст всем должное, как истый драматург, он не проявляет особого пристрастия ни к одной из борющихся партий, и если нам чего-нибудь недостает, то только хора, который бы спокойно пояснил конечное значение борьбы. Этого хора, однако, господин Менцель и не мог нам дать по той простой причине, что он еще не дожил до конца этого столетия. По той же причине мы скорее находим подлинное средоточие в книге более раннего периода у Шлегеля, нежели в книге настоящего времени. Насколько мы можем судить, главенствующей идеей менцелевской книги уже не является идея искусства. Менцель скорее пытается уяснить отношение жизни к книгам, открыть организм в литературном мире, иногда нам казалось, что он рассматривает литературу как растительность — и вот он бродит вместе с нами повсюду и ботанизирует, называет деревья их именами, отпускает шутки по адресу великих дубов, с юмором обнюхивает каждую грядку тюльпанов, целует каждую розу, приветливо наклоняется к какому-нибудь дружественному полевому цветочку и смотрит так умно, что мы готовы поверить, что он слышит, как растет трава.

С другой стороны, мы замечаем у Менцеля стремление к научности, что составляет также тенденцию новей-

шего времени, одну из тех тенденций, которыми оно отличается от предыдущего периода искусства. Мы сделали великие духовные завоевания, и наука должна упрочить их за нами как нашу собственность. Значение науки признано даже правительством некоторых немецких государств, в особенности в Пруссии, где в этом смысле всего ярче блистают имена Гумбольта, Гегеля, Боппа, А.-В. Шлегеля, Шлейермахера и др. — То же стремление, главным образом под влиянием немецких ученых, распространилось и во Франции; также и здесь признали, что всякое знание ценно само собой и само по себе, что его следует культивировать не ради минутной полезности, а для того, чтобы оно обрело свое место в том царстве мысли, которое мы как лучшее наследие передаем следующим поколениям.

У господина Менцеля скорее энциклопедический, нежели синтезирующе-научный ум. Но так как его воля направляет его на научность, то мы находим в его книге странное соединение природных способностей с предвзятым стремлением. Поэтому обсуждаемые им предметы не следуют единому внутреннему принципу, а скорее рассматриваются порознь, подчиняясь остроумному схематизму, однако дополняя друг друга, так что книга образует прекрасное, закругленное целое.

В этом отношении книга, может быть, выигрывает в глазах большой публики, которой легче обозреть все содержание и которая на каждой странице находит что-нибудь остроумное, глубокомысленное и привлекательное, что не приходится сперва соотносить к конечному принципу, а само по себе обладает полноценным достоинством.

В остроумии, которого мы вправе искать в произведении менцелевского ума, вовсе нет недостатка, оно тем достойней, что не кокетничает само с собой, но выступает лишь в интересах дела, — хотя нельзя отрицать, что часто принуждено служить господину Менцелю для заштопывания прорех в его знаниях. Бесспорно, господин Менцель — один из остроумнейших писателей Германии, он не может изменить своей природе, и если

бы даже он захотел, отбросив все остроумные выдумки, преподавать нам сухим тоном ученого парика, то им, по меньшей мере, овладело бы остроумие идей; и такой род остроумия — сопряжение мыслей, еще никогда не сталкивавшихся в человеческой голове, внебрачное сожителство шутки и мудрости — преобладает в сочинении Менцеля. — Еще раз воздадим хвалу остроумию автора, тем более, что на свете много сухих людей, которые охотно бы подвергли проскрипции остроумие, и каждодневно можно слышать, как Панталоне горячится против этой низшей душевной способности, остроумия, и как добрые граждане и отцы семейств требуют, чтобы его запретила полиция. Пусть остроумие принадлежит к низшей душевной способности, мы все же думаем, что оно имеет свою хорошую сторону. Мы по крайней мере не хотели бы обходиться без него. С тех пор, как вышло из обычая носить на боку шпагу, совершенно необходимо иметь в голове остроумие. И если даже кто-либо впадает в такую прихоть, что употребляет остроумие не только для необходимости защиты, но и как оружие нападения, то не возмущайтесь этим чрезмерно, вы, благородные Панталоне германского отечества. То атакующее остроумие, которое вы называете сатирой, приносит свою пользу в это скверное, никуда не годное время. Никакая религия больше не в состоянии обуздать похоть маленьких властелинов земли, они безнаказанно глумятся над вами, их кони топчут ваши посевы, и дочери ваши голодают и продают цветущее тело грязному парвеню, все розы этого мира становятся добычей ветреного племени игроков на бирже и привилегированных лакеев, и от высокомерия богатства и власти ничто не защитит вас — кроме смерти и сатиры.

«Универсальность — характер нашего времени», говорит господин Менцель на 63-й странице второй части своего сочинения — и так как это последнее, как мы заметили выше, вполне отвечает характеру нашего времени, то мы находим в нем то же стремление к универсальности. Отсюда его распространение на все

области жизни и знания, и именно под следующими рубриками: «Литература в целом, национальность, влияние школьной учености, влияние иностранной литературы, литературные связи, религия, философия, история, государство, воспитание, природа, искусство и критика». Позволительно усомниться, что молодой ученый так глубоко посвящен во всевозможные дисциплины, чтобы мы могли ожидать от него основательной критики современного их состояния. Господин Менцель сумел выйти из затруднения путем догадок и построений. Его догадки часто весьма удачны, его построения всегда остроумны. Если иногда его посылки произвольны и ошибочны, зато он непревзойден никем в сопоставлении подобного и противоположного. Он комбинирует и примеряет. Принимая во внимание цель этих страниц, мы приведем как образец менцелевского способа изложения следующее место из рубрики «государство»:

«Прежде чем мы приступим к рассмотрению литературы политической практики, окинем взглядом теории. Всякая практика исходит из теорий. Теперь уже не то время, когда между народами из некоторой чувственной гордыни или по случайному местному поводу возникали преходящие распри. Они вступают в борьбу скорее из-за идеи, и именно поэтому эта борьба более общая, она происходит в сердце каждого народа, и лишь в той мере одного народа против другого, в какой у одного из них берет перевес одна, а у другого другая идея. Борьба стала исключительно философской, равно как прежде она была религиозной. Теперь сражаются не за отечества и не за отдельного великого человека, а за *убеждения*, которым должны подчиняться как народы, так и герои. Народы побеждали идеями, но коль скоро они отваживались поставить свое имя на место идеи, они бесславно гибли; герои при помощи идеи завоевывали себе мировое господство, но коль скоро они отступали от идеи — они низвергались в прах. Люди сменялись, только идеи пребывали неизменными. История была только школой принципов. Прошлое

столетие было богаче спекуляциями, заключающими в себе предвидение, нынешнее богаче ретроспективностью и основанными на опыте принципами. В том и в другом заложены рычаги событий, ими объясняется все, что произошло.

Существуют только два принципа, или, лучше сказать, противоположных полюса политического мира, на обоих концах великой оси расположились *партии*, и они борются с возрастающим ожесточением. Правда, не всякий признак партии относится к каждому ее стороннику, правда, многие едва ли знают, что они принадлежат к определенной партии, правда, члены одной и той же партии борются между собой в той мере, в какой они из одних и тех же принципов делают различные выводы, — но в общем самый утонченный критик, равно как и простая газетная публика должны провести черту между *либерализмом* и *сервильизмом*, республиканизмом и автократией. Каковы бы ни были нюансы, это *clair obscur* * и эти смешанные до потери всякого цвета краски, когда оба основных цвета переходят один в другой, сами они нигде не исчезают, они образуют великую единственную противоположность в политике, и обычно мы замечаем их с первого взгляда как в людях, так и в книгах. Куда бы мы ни обратили взор в политической области, всюду мы встретим эти краски. Они всецело заполняют ее, вне их пустота.

Либеральная партия — та, что определяет собой политический характер новейшего времени, тогда как так называемая сервильная партия в сущности еще действует в духе средних веков. Поэтому либерализм шагает вперед тем шагом, что и само время, или же стеснен в своем движении в той же мере, в какой прошедшее еще тяготеет над настоящим. Он соответствует протестантизму — поскольку он протестует против средневековья, он только новое развитие протестантизма в светском смысле, подобно тому как протестантизм был духовным протестантизмом. Его партия —

* светло-темный

образованное среднее сословие, тогда как сервиллизм вербует свою партию среди знати и грубой черни. В среднем сословии постепенно все больше и больше растворяются твердые кристаллы средневековых сословий. Все новейшее просвещение возникло из либерализма или послужило ему, оно было освобождением от церковной веры в авторитеты. Вся литература — триумф либерализма, ибо даже его враги принуждены сражаться его оружием. Все ученые, все поэты содействовали ему, но своего величайшего философа он нашел в Фихте, своего величайшего поэта — в Шиллере».

Под рубрикой «философия» господин Менцель объявляет себя последователем Шеллинга, а под рубрикой «природа» он подобающим образом прославляет его учение. Мы вполне соглашаемся с тем, что он говорит об этом универсальном мыслителе. Геррес и Стефенс тоже находят свое признание в качестве шеллинговых приверженцев. Первый из них предпочтен признанием, его мистика слишком уж опоэтизирована. Однако нам всегда приятнее встретить преувеличенную оценку этого высокого ума, нежели его умаление в угоду партийности. Стефенс выведен представителем пиетизма, и даже если взгляды автора на мистику и пиетизм ошибочны, они всегда отмечены глубиной, творчеством и величием. Мы не ждем ничего хорошего от пиетизма, хотя господин Менцель старается напроорочить ему все лучшее. Мы разделяем мнение одного остроумного человека, который дерзко утверждает: среди сотни пиетистов девяносто девять мошенников и один осел. От ханжествующих лицемеров не ждать спасения, и ослиное молоко также не слишком подкрепит наше слабое время. Гораздо скорее можем мы ждать спасения от мистицизма. Пусть он в своем теперешнем проявлении противен и опасен; но результаты его могут быть благотворны. Так как мистик погружается в призрачный мир внутреннего созерцания и открывает в самом себе источник всякого познания, то он освобождается от власти над ним всякого внешнего авторитета, и самые правочерные мистики нашли таким путем в глубине

своих душ те предвечные истины, которые оказались в противоречии с предписаниями позитивного верования; они отвергали авторитет церкви и отвечали за свои взгляды душой и телом. Мистиком из секты ессеев был и тот равви, познавший в себе откровение отца своего и избавивший мир от слепого авторитета каменных законов и лукавых священников; мистиком был и тот немецкий монах, который в своей одинокой душе почувствовал истину, что давно исчезла из церкви; — и мистиками будут те, что вновь избавят нас от новейшего служения слову и вновь установят естественную религию, религию, в которой из лесов и камней вновь возникнут радостные боги и, подобно богам, возрадуются люди. Католическая церковь всегда глубоко чувствовала опасность мистицизма; поэтому в средние века она больше поощряла изучение Аристотеля, чем Платона; отсюда ее борьба с янсенизмом в прошлом столетии; и если в настоящее время она держит себя весьма благосклонно по отношению к таким людям, как Шлегель, Геррес, Галлер, Мюллер и т. д., то смотрит на них все же лишь как на гверильясов, которых в случае трудной войны, когда регулярная армия верующих несколько растает, можно смело пустить в дело, а впоследствии, в мирное время, приличествующим образом поработить. Мы зашли бы слишком далеко, если бы захотели проследить, как и на Востоке мистицизм подрывает веру в авторитет, например в новейшее время из суфизма возникли секты с самыми возвышенными религиозными представлениями.

Мы не можем достаточно похвалить проницательность, с какой господин Менцель говорит о протестантизме и католицизме, признавая в последнем принцип стабильности, а в первом принцип эволюции. В этом отношении он весьма верно замечает под рубрикой «религия»:

«Оцепенению должно противостоять движение, смерти — жизнь, неизменному бытию — вечное становление. В этом одном заключено великое всемирно-историческое значение протестантизма. С юношеской

силой, стремящейся к высшему развитию, он ополчился против седого оцепенения. Закон природы он признал своим законом и им одним может победить. Таким образом, теизм протестантов, которые сами впали в оцепенение другого рода, — ортодоксы — отступились от подлинных интересов борьбы. Они остановились и по праву не могут сетовать на то, что католики тоже остановились. Достигнуть чего-нибудь можно только вечным движением вперед и ничем больше. Где останавливаются, это безразлично, настолько безразлично, как то, где остановились часы. Они для того, чтобы идти».

Тема протестантизма приводит нас к его достойному поборнику, Иоганну-Генриху Фоссу, которого господин Менцель при всяком удобном случае позорит самыми жестокими словами и самыми едкими сопоставлениями. За это мы не можем достаточно твердо выразить наше порицание. Когда автор называет нашего покойного Фосса «неотесанным нижнесаксонским мужиком», — мы почти готовы подозревать, что он сам склоняется к партии тех рыцаришек и попов, с которыми так доблестно сражался Фосс. Эта партия слишком сильна, чтобы можно было сражаться против нее с тонкой щегольской шпагой, и нам нужен неотесанный нижнесаксонский мужик, который вновь откопал бы старый боевой меч времен крестьянской войны и стал бы им рубить на все стороны. Быть может, господин Менцель никогда не чувствовал, какие глубокие раны способен нанести неотесанному нижнесаксонскому мужицкому сердцу дружественный укол тонкой, гладкой, высокоблагородной гадюки — боги верно хранили господина Менцеля от подобных ощущений, иначе он находил бы жестокость фоссовских сочинений только в самих фактах, а никак не в словах. Может быть, и правда, что Фосс в своем протестантском усердии слишком далеко зашел в иконоборчестве. Однако подумайте о том, что церковь теперь повсюду союзница аристократии и даже кое-где состоит у нее на жалованьи. Церковь, некогда властительная дама, перед которой рыцари преклоняли колена и выезжали в честь ее на

турнир со всем Востоком, эта церковь стала немощной и состарилась, она готова теперь подрядиться к этим самым рыцарям на службу нянькой и обещает своими песнями убаюкать народы, чтобы легче было наложить оковы на спящих и потом остричь их, как овец.

Под рубрикой «искусство» скопилась большая часть выпадов против Фосса. Эта рубрика охватывает почти всю вторую часть сочинения Менцеля. Его суждения о наших ближайших современниках мы оставим без разбора. Восхищение автора Жан-Полем делает честь его сердцу. Точно так же и его восторг перед Шиллером. Мы тоже разделяем его; но мы не принадлежим к тем, кто, сравнивая Шиллера с Гете, намеревается умалить достоинства последнего. Оба — первоклассные поэты, оба велики, превосходны, необыкновенны, и если мы отдаем некоторое предпочтение Гете, то лишь благодаря тому незначительному обстоятельству, что Гете, по нашему мнению, ежели бы ему в его творениях потребовалось подробно изобразить такого поэта, со всеми относящимися сюда стихами, был бы способен сочинить всего Фридриха Шиллера, со всеми его «Разбойниками», «Пикколомини», Луизами, Мариями и Девственницами.

Мы не можем с достаточной силой выразить ужас перед той резкостью и язвительностью, с какой господин Менцель говорит о Гете. Подчас он высказывает, в общем, верные суждения, но они никак не применимы к Гете. При чтении тех страниц, где он говорит о Гете, или, вернее, оговаривает его, нам стало так жутко, как прошлым летом, когда один банкир в Лондоне показал нам ради курьеза несколько фальшивых банкнот; мы поспешили как можно скорей вернуть их обратно из опасения, как бы внезапно нас самих не обвинили в их изготовлении и без особых околичностей не повесили перед Old Baily. Только после того, как мы насытили наше злое любопытство чтением менцелевских страниц о Гете, пробудилось негодование. Мы ни в коем случае не намерены защищать Гете; мы полагаем, менцелевское положение «Гете не гений, а талант» найдет отклик у немногих, да и эти немногие все-таки

должны будут признаться, что Гете порой обладает талантом быть гением. Однако, даже если бы Менцель был прав, ему бы не приличествовало высказывать свой резкий приговор с такой резкостью. Это все-таки Гете, король, и рецензент, который опускает свой нож на короля поэтов, должен быть наделен куртуазностью в той же мере, как и тот английский палач, что обезглавил Карла I и, прежде чем отправить эту критическую должность, преклонил колени перед царственным деликвентом и испросил прощения.

Но откуда берется эта резкость, которую мы иногда замечаем по отношению к Гете даже у самых замечательных умов? Быть может, как раз потому, что Гете не мог быть никем, кроме *primus inter pares**, и стал тираном в республике умов, многие великие умы и смотрят на него с затаенной злобой. Они видят в нем даже своего рода Людовика XI, подавляющего высшее дворянство ума и в то же время возвышающего умственное *Tiers-état*, милую посредственность. Они видят, он льстит респектабельным корпорациям городов, он рассылает милостивые грамоты и медали любезным верно-подданным и создает бумажное дворянство из высочайше пожалованных, которые уже возомнили себя много выше тех подлинно великих, что получили свою знатность, равно как и сам король, божьею милостью, или, говоря языком вигов, мнением народным. Но пусть так. Ведь недавно мы видели в княжеских усыпальницах Вестминстера, что те великие мира, что при жизни враждовали с королем, по смерти все же погребены в королевской близости, — и точно так же Гете не в силах будет помешать тому, что те великие умы, которых он охотно удалял от себя при жизни, по смерти все же соединятся с ним и займут рядом с ним свое вечное место в Вестминстере немецкой литературы.

Брюзгливое настроение недовольных великих людей заразительно, и воздух становится удушливым. Принципы гетевского времени, идея искусства, рассеиваются,

* первый среди равных

восходит новое время с новыми принципами, и, странно, как позволяет заметить менцелевская книга, — оно начинается с восстания против Гете. Быть может, Гете и сам чувствует, что тот прекрасный объективный мир, который он создал словом и примером, силою необходимости разрушается, равно как идея искусства постепенно теряет свое верховенство, и что новые, свежие умы, вызванные к жизни новыми идеями нового времени, подобно ринувшимся на юг северным варварам, повергают в прах цивилизованный гетеизм и на его месте основывают государство необузданного субъективизма. Отсюда — стремление поставить на ноги гетевское ополчение. Повсюду гарнизоны и поощрительные раздачи чинов.

Старые романтики, янычары, муштруются для зачисления в регулярные войска, они принуждены оставить свои котлы, принуждены надеть гетевские мундиры, принуждены каждодневно выходить на ученье. Рекруты шумят и пьют, и кричат виват, трубачи трубят — будут ли в силах искусство и древность отбить наступление природы и молодости?

Мы не можем не указать с надлежащей настойчивостью, что под «гетеизмом» мы разумеем не произведения Гете, не те дорогие творения, что, быть может, будут жить и тогда, когда давно отомрет немецкий язык и Германия будет вопить под кнутом на славянском наречии, — под «гетеизмом» мы не разумеем также собственно гетевского образа мыслей, этого цветка, который все пышнее будет цвести на навозе нашего времени, как бы там ни досадовало на его холодную уравновешенность пламенное сердце энтузиаста; словом «гетеизм» мы обозначили выше скорее гетевские формы, какими их лепят толпы скудоумных юнцов, и унылое чириканье мелодий, насвистанных стариком. Та радость, какую доставляют старику эта лепка и это чириканье, вызывает наши сетования. «Старик! Каким ручным и кротким он стал! Как он исправился!» — изрек бы какой-нибудь николаит, знавший его еще в те бурные годы, когда тот написал удушливого «Вертера»

и «Геца с железной рукой». Каким грациозно-жеманным сделался он, как противна ему теперь всякая грубость, как неприятно тревожит его, когда ему напоминают прежнее штурмующее небо, время «Ксении». а то даже, вступив на его старую стезю, бурно проводят годы титанической молодости с той же заносчивостью. В этом смысле один остроумный иностранец весьма метко сравнил нашего Гете со старым атаманом разбойников, который отошел от своего ремесла, ведет честную жизнь бюргера в среде distinguished граждан провинциального городка, старается вплоть до мелочей соблюсти все филистерские добродетели и испытывает тягостную неловкость, когда какой-нибудь лесной собрат из Калабрии ненароком встретится с ним и пожелает возобновить былую дружбу.



ИОГАНН ВИТТ-ФОН-ДЕРРИНГ

В Вестминстерском аббатстве я видел надгробие Томаса Парра, из графства Салоп. Родился он в 1483 г., умер 15 ноября 1635 г., пробыв подданным десяти государей, а именно: Эдуарда IV, Эдуарда V, Ричарда III, Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI, королевы Марии, королевы Елизаветы, Якова I и Карла I. Примечательно, что сей муж в возрасте 130 лет предстал перед духовным судом по обвинению в нарушении супружеской верности, за что и был присужден к всенародному церковному покаянию. Передают, что в первый раз, когда его привели к Карлу I, этот суровый король спросил его: «Парр, ты жил дольше других людей, что совершил ты сверх того, что и они?» Тот сразу ответил, не задумываясь: «Когда мне было сто тридцать лет, я совершил церковное покаяние».

Не всегда мудрость обитает под седой кровлей, и часто старики говорят столь же крупные глупости, как и милая молодежь. Однако следует предположить, что столетние — и уж подавно, полуторастолетние — люди смотрят на мир иначе, чем наш брат, а их взгляды на ценность человеческих деяний на этом свете весьма разнятся от наших и, быть может, необычайность поступка сама по себе ставится ими выше всего. Эти люди всех глубже постигли ничтожество вещей, опыт показал им, какие никчемные последствия и низменные побуждения заложены в тех поступках, которые первоначально прославляют как чрезвычайно великие и благородные, и под конец они считаются лишь с заимательностью самого факта и судят обо всех событиях, происходящих на этой земле, не как моралисты, не как

политики, а как здравомыслящие зрители в большом театре, где актеров хвалят или порицают не за их роли, а за их игру.

Быть может, я припомню эти слова, когда мне вскоре придется говорить о необыкновенном человеке, чье политическое церковное покаяние вызывает к себе такое большое внимание, тем более, что ему далеко не сто тридцать лет. Сама роль, которую он играет в Германии, не должна подпасть критике. Пусть чувствительные души вменяют ему во зло, что он не выступает больше в черном сюртуке с длинными волосами, подобно энтузиастическому Мортимеру свободы. Совсем не требуется стотридцатилетнего опыта, чтобы усмотреть, что подобные Мортимеры с их кинжалами больше вредят, чем приносят пользу бедной плененной свободе. Пусть иные порицают этого человека за то, что он теперь играет Лейстера, который охотно полюбозничал бы тайком с прежней возлюбленной своей, свободой, однако ж публично отрекается от нее, бросаясь в объятия коронованной потаскушки. По правде, это не так называемая красивая роль, даже не благодарная, и какому-нибудь честного Ганса фон-Биркена или иных немецких рецензентов не осудишь, когда они больше прислушиваются к своему чувству, нежели к своему рассудку, и грубо всерьез захлопают. Но мы более рафинированы и критикуем не роль, а игру, и с этой точки зрения объявляем Иоганна Витт-фон-Дерринга редкостным мастером, прославляем его отважную ловкость, его удивительное умение владеть словом, его талант быть любезным и язвительным, его искусство щеголять благочестивыми фразами и, наконец, сверкающие перья на крыльях его ума, которые равно полезны ему как для полета, так и для блеска.



ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «КАЛЬДОРФ О ДВОРЯНСТВЕ В ПИСЬМАХ К ГРАФУ М. ФОН-МОЛЬТКЕ»

Галльский петух прокричал теперь во второй раз, и в Германии тоже рассвело. В отдаленные монастыри, замки, ганзейские города и тому подобные последние закоулки средневековья убегают жуткие тени и привидения, солнечные лучи сверкают, мы протираем глаза, милый свет врывается в наши сердца, бодрствующая жизнь грохочет вокруг нас, мы изумлены, мы спрашиваем друг друга: «Что сделали мы в течение минувшей ночи?»

Да, что мы делали? Мы грезили по нашему немецкому способу, т. е. мы философствовали. Конечно, не о вещах, которые нас ближе всего касались или происходили в ближайшее время, но мы философствовали о реальности вещей в самих себе, о конечных причинах вещей и тому подобных метафизических и трансцендентальных призраках, причем кровавая возня у наших западных соседей подчас немало мешала нам, а то даже становилась довольно неприятной, так как пули французских ружей нередко со свистом влетали в наши философские системы и вырывали из них целые куски.

Удивительно при этом, что практическая деятельность наших зарейнских соседей связана все же своеобразным сродством душ с нашими философскими сновидениями в безмятежной Германии. Достаточно сравнить только историю французской революции с историей немецкой философии, чтобы убедиться, что французы, занятые таким множеством реальных дел, никак не позволявших им заснуть, просили нас, немцев, спать в это время и грезить за них и что вся наша

немецкая философия есть не что иное, как сновидение французской революции. Таким образом, у нас произошел разрыв с существующим порядком и традицией в области мысли, точно так же, как у французов в области социальной; вокруг критики чистого разума сосредоточились наши философские якобинцы, не признававшие ничего, что не выдерживало этой критики; Кант был нашим Робеспьером... За ним пришел Фихте со своим *Я*, этот Наполеон философии, высшая любовь и высший эгоизм, самодержавие мысли, суверенная воля, импровизировавшая наскоро изготовленную всемирную империю, столь же быстро исчезнувшую, — деспотический, жутко одинокий идеализм... Под его последовательной поступью застонали сокрошенные цветы, пощажённые Кантовой гильотиной или незаметно расцветшие впоследствии, зашевелились придуренные подземные духи, содрогнулась земля, разразилась контрреволюция, и при Шеллинге вновь получило признание прошедшее со своими традиционными интересами, и не только признание, но и возмещение, и в мире новой реставрации, в натурфилософии вновь орудовали седые эмигранты, неустанно интриговавшие против господства разума и идеи, — мистицизм, пиетизм, иезуитизм, романтика, немецкий национализм, задушевность, — пока Гегель, Орлеанский герцог философии, не основал или, вернее, не упорядочил новое правление, правление эклектическое, в котором сам он, правда, значит немного, но поставлен во главе и отводит определенное, основными законами установленное место бывшим кантовским якобинцам, фихтевским бонапартистам, шеллинговским пэрам и своим собственным креатурам.

Итак, в философии мы счастливо закончили великий круговорот, и естественно, что теперь мы переходим к политике. Будем ли мы держаться здесь такого же метода? Откроем ли курс системой *Comité du salut publique** или системой *Ordre légal***? От этих вопросов

* Комитета общественного спасения

** Законного порядка

трепещут все сердца, и кто может потерять что-либо дорогое — будь то хоть собственная голова, — тот боязливо шепчет: «Будет немецкая революция сухой или влажно-красной?..»

Аристократы и попы неустанно грозят ужасами времен Террора, либералы и гуманисты, напротив, обещают нам прекрасные сцены «великой недели» и последовавших за нею мирных празднеств: — обе партии заблуждаются или хотят других ввести в заблуждение. Ибо из того, что французская революция была в девяностых годах так кровава и ужасна, а в прошедшем июле так человечна и мягка, нельзя вывести, что революция в Германии также должна принять тот или этот характер. Только при наличии тождественных условий можно ожидать тождественных явлений. Характер же французской революции был всегда обусловлен нравственным состоянием народа и особенно его политическим развитием. Правда, уже перед первым нарывом революции во Франции там была уже готовая культура, но лишь в высшем сословии и кое-где в среднем; низшие классы были духовно обездолены, и самый бессердечный деспотизм тормозил всякие благородные их порывы. Что же касается политического развития, то оно было чуждо не только этим низшим, но и высшим классам. В ту пору ничего и не знали, кроме мелких интриг соперничающих групп, системы взаимного ослабления, традиций рутины, искусства двусмысленных формул, влияния фавориток и тому подобного государственного убожества. Монтескье лишь относительно пробудил немногие умы. Так как он всегда исходил из исторической точки зрения, то он имел мало влияния на массы народа, восторженного, чувствительного по преимуществу к мыслям, свежо и безыскусственно выливающимся из сердца, как в сочинениях Руссо. Но когда Руссо, этот Гамлет Франции, увидев разгневанного духа и проникнув взором в гнусные души коронованных отравителей, в лицемерное ничтожество куртизанов, неуклюжую ложь придворного этикета и всеобщее разложение, с болью восклик-

нул: «Мир вышел из колеи, горе мне, которому придется его наладить!» — когда Жан-Жак Руссо в полупритворном, полудействительном безумии отчаяния выступил со своим великим воплем и великим обличением; когда Вольтер, этот Лукиан христианства, издевательством ниспроверг обман римского жречества и на нем основанное божественное право деспотизма; когда Лафайет, герой двух частей света и двух столетий, возвратился с аргонавтами свободы из Америки и привез Золотое руно — идею свободного государственного строя; когда Неккер подсчитывал, и Сийес строил определения, и Мирабо ораторствовал, и громы Учредительного собрания проносились над увядшей монархией и ее расцветшим дефицитом, и новые экономические и государственные мысли засверкали, подобно внезапным молниям, — тут лишь впервые пришлось французам изучать великую науку свободы — политику, и первые ее начатки достались им дорого, и они заплатили за них своей лучшей кровью.

В том, однако, что французам пришлось заплатить за обучение так дорого, была виновата идиотски-мракобесная деспотия, пытавшаяся, как я уже говорил, держать народ в умственном малолетстве, изгонявшая всякое политическое образование, поручившая цензуру книг иезуитам и обскурантам Сорбонны и, наконец, нелепейшим образом подавлявшая периодическую печать, это могущественнейшее орудие умственного развития народа. Стоит только прочесть в «Tableau de Paris»* Мерсье главу о дореволюционной цензуре, чтобы без всякого удивления отнестись к тому грубому политическому невежеству французам, которое в дальнейшем имело следствием то, что они были не столько просвещены, сколько ослеплены, не столько согреты, сколько разгорячены новыми политическими идеями, что они на слово верили всякому памфлетисту и журналисту и что всякий фантазер, обманывающий сам себя, и всякий интриган, состоящий на жаловании у

* «Картины Парижа»

Питта, мог довести их до самых безрассудных поступков. В том-то и заключается светлая сторона свободы печати, что она лишает смелую речь демагогов всякой прелести новизны; самое страстное слово нейтрализует она столь же страстным возражением и в самом зародыше уничтожает лживые слухи, которые, — посеяны ли они случайностью или злоумышлением, — с убийственной наглостью разрастаются в сумрачных закоулках, подобно тем ядовитым растениям, кои пышно произрастают лишь в темных лесных трясилах и в тени развалин старых замков и церквей, а при ясном свете солнца бессильно засыхают и гибнут. Разумеется, ясный солнечный свет свободы печати так же убийствен для раба, предпочитающего под покровом темноты получать высочайшие пинки, как и для деспота, которому не по душе освещение его одинокого ничтожества. Несомненно, что цензура очень приятна таким людям. Но столь же несомненно, что цензура, оказав в течение некоторого времени поддержку деспотизму, в конце концов губит его вместе с деспотом, что там, где поработало гильотинирование идей, вскоре вводят и цензурование людей, что тот же раб, который казнит мысли, впадении с тем же равнодушием вычеркивает своего собственного господина из книги жизни.

Ах, эти палачи мысли доводят нас самих до преступления, и писатель, болезненно возбужденный во время писания, подобно родильнице, очень часто совершает в этом состоянии детоубийство мысли, и именно вследствие безумного страха пред мечом цензора. Я и сам в эту минуту предал казни несколько невинных новорожденных соображений о терпении и душевном спокойствии, с которыми мои любезные соотечественники уже в течение столь многих лет терпят закон об убийстве мысли, который во Франции — стоило только обнародовать его Полиньяку — вызвал революцию. Я говорю о пресловутых ордонансах, худший из которых устанавливал строгую цензуру газет и ужасом исполнил все благородные сердца в Париже: самые мирные граждане взяли за оружие, улицы покрылись

баррикадами, сражались и штурмовали, гремели пушки, гудели колокола, свистали свинцовые соловьи, юные птенцы усопшего орла, Ecole polytechnique*, выпорхнули из гнезда с молниями в когтях, старые пеликаны свободы ринулись на штыки и кровью своею питали воодушевление молодежи, на коня сел Лафайет Несравненный, равного которому природа в силах была создать лишь однажды и потому со свойственной ей экономностью старается использовать его для двух стран света и двух столетий — и после трех героических дней рабство было низвергнуто во прах вместе со своими красными палачами и белыми лилиями; и священная троица — трехцветное знамя, озаренное ореолом победы, вознеслось над колокольной собора Парижской богоматери. Тут не произошло никаких ужасов, тут не было разнузданной резни, тут не встала никакая всехристианнейшая гильотина, тут не баловались ужасающими шутками, как, например, при знаменитом возвращении из Версаля, когда впереди толпы несли наподобие знамен окровавленные головы господ де-Дегютта и де-Варикура и в Севре сделали остановку, чтобы тамошний гражданин-парикмахер обмыл и хорошенько завил эти головы. Нет, с того — страшной памяти — времени французская печать сделала парижский народ восприимчивым к более добрым чувствам и менее кровавым шуткам, она выколола из сердец невежество и насадила там разумение, и плодом этого посева явились благородная, легендарная умеренность и трогательная человечность парижского народа в великую неделю — и, в самом деле, если Полиньяк впоследствии и физически не потерял головы, то этим он обязан исключительно смягчительному действию той самой печати, которую он глупо старался уничтожить.

Так сандальное дерево чудеснейшими своими благоуханиями услаждает именно того врага своего, который преступно ранил его кору.

Полагаю, что этих беглых замечаний достаточно для

* Политехническая школа

уяснения того, как всякий вопрос о характере, который приняла бы революция в Германии, должен обратиться в вопрос о культурности и политическом развитии германского народа, в какой совершенной зависимости находится это развитие от свободы печати, и как трепетно должны мы желать, чтобы при ее посредстве вскоре распространилось возможно больше света, прежде чем наступит час, когда темнота причинит больше зла, чем страсть, и взгляды и мнения, — чем меньше они обсуждались и выяснялись в прошлом, — с тем более ужасающей страстностью будут действовать на слепую массу и применяться партиями в виде лозунгов.

«Гражданское равенство» могло бы быть теперь в Германии, так же, как некогда во Франции, первым лозунгом революции, и кто любит отечество, тот, конечно, не должен медлить, если желает посодействовать тому, чтобы спорный вопрос «о дворянстве» был улажен или решен посредством спокойного обсуждения, раньше чем вмешаются неуклюжие диспутанты со слишком решительными доказательствами, с которыми не смогут справиться ни ценные силлогизмы полиции, ни самые меткие доводы инфантерии и кавалерии, ни даже *ultima ratio regis**, который легко может превратиться в *ultimi ratio regis***. В этом прискорбном отношении я считаю заслугой издание настоящего сочинения. Полагаю, что господствующий в нем тон умеренности соответствует указанной цели. С индусским терпением автор возражает против брошюры под заглавием:

«О дворянстве и его отношении к буржуазии. Графа М. ф.-Мольтке, королевского датского камергера и члена суда в Готторфе. Гамбург. Изд-во Пертес и Бессер. 1830».

Однако как в самой брошюре, так и в возражении на нее предмет отнюдь не исчерпан, и доводы за и против захватывают лишь общую, так сказать, догматическую часть спорного вопроса. Высокородный боец восседает на своем турнирном коне, отважно повторяет средне-

* последний довод короля

** довод последнего короля

вековую похабщину, будто от дворянских производителей получается лучшая кровь, чем от обыкновенных буржуазных, отстаивает привилегии рождения, преимущественное право на получение доходных придворных, посольских и военных должностей, которыми следует вознаграждать дворянина за то, что он дал себе великий труд родиться, и так далее; против этого выступает боец, последовательно, одно за другим опровергающий эти звериные и бессмысленные утверждения и прочие благородные воззрения, и арена покрывается блестящими ключьями предрассудка и гербовыми осколками стародворянского нахальства. Этот буржуазный рыцарь выступает как бы под опущенным забралом, на заглавной странице он является под заимствованным именем, которое впоследствии, быть может, станет его печатным *nom de guerre**. Сам я могу о нем сообщить лишь, что отец его был оружейник и ковал хорошие клинки.

Не вижу необходимости обстоятельно уверять в том, что я не автор этой книжки, а лишь способствую ее появлению. Я никак не мог бы рассуждать о дворянских притязаниях и наследственных враках с такой сдержанностью. Как разъярился я когда-то, когда один милый графчик, мой лучший друг, во время нашей прогулки по террасе одного замка пытался доказать мне преимущество дворянской крови! Мы еще не кончили спора, когда его слуга сделал какую-то маленькую оплошность, и высокородный господин дал низкородному рабу такую пощечину, что брызнула неблагородная кровь, да в придачу еще сбросил его с террасы. Я был в ту пору на десять лет моложе, чем теперь, и без замедления тут же сбросил и благородного графа с террасы — это был мой лучший друг, — и он сломал себе ногу. Когда после его выздоровления я свиделся с ним, — он только слегка прихрамывал, — он все еще, однако, не исцелился от своей дворянской спеси и бойко утверждал: дворянство поставлено посредником между народом и королем, так же, как бог поставил

* прозвищем

между собой и людьми ангелов, которые, стоя в непосредственной близости к его престолу, представляют собой как бы небесное дворянство. «Милейший ангел, — отвечал я, — сделай-ка несколько шагов взад и вперед»; он это сделал — и сравнение захромало.

Таким же образом хромает сравнение, которое приводит граф Мольтке по тому же поводу. Чтобы показать его приемы, приведу его собственные слова: «Попытка уничтожить дворянство, в котором проходящее уважение воплощается в устойчивом образе, изолировала бы человека, подняла бы его на шаткую высоту, лишенную средств, необходимых для связи с нижестоящей массой, окружила бы его орудиями его произвола, что, как неоднократно показала история Востока, ставит самое существование властелина в опасное положение. Берк называет дворянство коринфской капителью благоустроенных государств, и что это не только риторическая фигура, порукою служит возвышенный дух этого необыкновенного человека, вся жизнь которого была посвящена служению разумной свободе».

На это именно примере нетрудно было бы показать, как полужанания благородного графа вводят его в заблуждение. Как раз Берку отнюдь не подобает хвала, воздаваемая ему графом; ибо ему чужда та consistency*, которую англичане считают первой добродетелью государственного человека. У Берка были лишь риторические способности, дававшие ему возможность во вторую половину его жизни бороться против либеральных принципов, которые он исповедывал в течение первой половины. Стремился ли он посредством этой перемены убеждений снискать милость высоких особ, зависть ли и раздражение по поводу либеральных триумфов Шеридана в капелле св. Стефана побудили его выступить в качестве противника Шеридана и поборника средневековой старины, представлявшей более благородный источник для романтических описаний и риторических фигур, был он плут или дурак, — не

* устойчивость

знаю. Думаю, однако, что всегда подозрительно, когда человек меняет взгляды и переходит на сторону господствующей власти, и что в этом случае он уж никак не может почитаться хорошим авторитетом. Человек не этого склада сказал однажды: «Дворяне не опора престола, а его кариатиды». Это сравнение мне представляется более подходящим, чем капитель коринфской колонны. Мы вообще постараемся как можно меньше пользоваться этой капителью; а то чего доброго некоторым всем известным капиталистам придет в голову капитальная мысль забраться в качестве коринфских капителей на вершущи государственных колонн. А это было бы слишком уж отвратительное зрелище.

Здесь, впрочем, я затрагиваю пункт, подлежащий освещению в позднейшем сочинении; там, равным образом, подвергнута будет соответственному обсуждению особая, практическая сторона спорного вопроса о дворянстве. Ибо, как я уже упомянул, настоящее сочинение посвящено только основному, — оно оспаривает правовые притязания и показывает только, в каком противоречии с разумом, временем и самим собою оказывается дворянство. Особая же практическая сторона относится к тем победоносным притязаниям и фактическим узурпациям дворянства, которые ставят под столь великую угрозу и с каждым днем все больше и больше разрушают благополучие народов. Больше того, мне представляется даже, что само дворянство не верит в свои собственные притязания и бросает их лишь в качестве приманки для полемики со стороны буржуазии, с целью отвлечь во время этой возни ее внимание и силы от главной сути дела. Эта суть заключается не в институте дворянства, как таковом, не в определенных привилегиях, не в барщине и поборах в пользу дворянства, не в его судебных и иных традиционных преимуществах; суть дела в невидимом союзе всех тех, кто может предъявить такое-то и такое-то число предков и кто молча заключил соглашение овладеть всеми определяющими силами государства, каковая цель достигается тем, что эти люди,

сообща оттеснив буржуазных *roturiers**, занимают почти все высшие офицерские и все посольские посты и таким образом при посредстве подвластных им солдат держат народы в подчинении, а посредством дипломатических ухищрений имеют возможность натравить их друг на друга в том случае, когда народы вздумают сбросить с себя аристократические оковы или вступить для этой цели в братский союз.

С начала французской революции дворянство, таким образом, находится на военном положении в отношении к народам и открыто или тайно вело борьбу против принципа свободы и равенства и представителей его, французов. Английское дворянство, наиболее могущественное благодаря своим правам и богатству, сделалось знаменосцем европейской аристократии, и Джон Буль заплатил за это почетное звание своими лучшими гинейями и напобеждался до банкротства. Во время мира, последовавшего за этой позорной победой, Австрия воздымала благородный стяг и заботилась о дворянских интересах, и на каждом трусливом договорчике, заключенном против либерализма, красуется хорошо известная сургучная печать, и, подобно своему злополучному вождю, народы содержались в суровом заключении, вся Европа сделалась Св. Еленой, а Меттерних ее Гудсоном Лоу. Изливать свою месть можно было только над оболочкой революции; только ту воплощенную в образе человеческого революцию, которая в сапогах и шпорах, обрызганная кровью боевых полей, улеглась в постель к белокурой императорской дочери, запачкав белые габсбургские простыни, — только эту революцию можно было заставить умереть от рака в желудке; дух же революции бессмертен и не покоится под плакучими ивами Лонгвуда, и во время великих родов июльских дней вновь родилась революция, уже не в виде отдельного человека, а как целый народ, и в этом воплощении в народ она насмеяется над тюремщиком, у которого от страха выпадает из

* разночинцев

рук связка ключей. Сколь затруднительное положение для дворянства! За время продолжительного мира оно, конечно, несколько оправилось от былых неприятностей и с тех пор для укрепления здоровья ежедневно пило молоко от ослицы, и именно папской ослицы; однако достаточных сил для новой борьбы оно еще не набралось. Менее чем когда-либо способен, как в былые времена, взять врага на рога английский bull*, ибо он истощен больше всех, и от перемежающейся лихорадки вечной смены министров он чувствует бессилие во всех членах, и предписано ему лечение радикальное, если не лечение голодом, и вдобавок ему предстоит ампутация зараженной Ирландии. Австрия тоже не чувствует себя настроенной достаточно героически для того, чтобы выступить против Франции в качестве дворянского Агамемнона. Штаберле неохотно надевает военный мундир и отлично знает, что его дождевые зонтики не защищают от свинцового ливня, и притом его теперь пугают еще венгры со своими свирепыми усами, и в Италии ему приходится ставить часовых у каждого восторженного лимонного дерева, и у себя дома ему приходится заниматься производством принцесс, чтобы в случае нужды кормить ими чудище революции.

Но во Франции все могущественнее разгорается солнце свободы, озаряя своими лучами весь мир. Но с каждым днем она проникает все дальше, идея буржуазного короля-гражданина без придворного этикета, без пажей, без куртизанов, без сводников, без алмазных подачек «на-чай» и прочих великолепий... Но в палате пэров уже видят богадельню для неизлечимых старого режима, которых терпят пока только из сострадания и со временем также выбросят... Странное превращение! В этом тяжелом положении дворянство обращается к тому государству, в котором последнее время усматривало и ненавидело злейшего врага своих интересов, — оно обращается к России. Великого царя, еще недавно бывшего гонфалоньером либералов, так как он враждеб-

* бык

нейшим образом противостоял феодальной аристократии и казался вынужденным в ближайшем будущем вступить с нею в бой, — именно этого царя избрала теперь эта аристократия в свои знаменосцы, и он вынужден стать ее передовым бойцом. Ибо если русское государство, с одной стороны, и покоится на антифеодальном начале равенства всех граждан государства, которым звание дается не рождением, а заслуженным на государственной службе чином, то, с другой стороны, самодержавный царизм несовместим с идеями конституционной свободы, способной защитить последнего подданного даже от благодетельного царского произвола. И если император Николай I из-за этого принципа гражданского равенства был ненавидим сторонниками феодализма и вдобавок, в качестве явного врага Англии и тайного врага Австрии, явился во всей своей мощи фактическим представителем либералов, — то все же он сделался их злейшим противником с конца июля, когда их победоносные идеи конституционной свободы начали угрожать его абсолютизму, и именно как самодержца умело науськивает его европейская аристократия на борьбу против свободной Франции. Английский *bull* уже притупил в такой борьбе рога, теперь пусть русский волк заменит его в его роли. Европейская знать умело применяет к своим целям и должным образом приспособляет грозу московских лесов; и грубому гостю немало льстит то, что ему приходится защищать величие исконной божией милостью установленной королевской власти от крамольников и противников знати; благосклонно дает он облечь себя в изъеденную молью багряную порфиру со всякой мишурной рухлядью из византийского наследия и благоговейно приемлет от бывшего императора германского изношенные священные римские императорские штаны и надевает на голову древнефранкскую * алмазную шапку *Caroli Magni* **...

* Игра слов: *altfränkisch* значит и древнефранкский и старомодный.

** Карла Великого

Ах, волк надел на себя одежду старой бабушки и разоряет вас, бедные красные шапочки свободы!

Вот я пишу эти строки, — и ведь мне кажется, будто кровь Варшавы брызжет на мою бумагу, и будто доносится до меня радостное ликование берлинских офицеров и дипломатов. Не рано ли они ликуют? Не знаю; но мне и всем нам так страшен русский волк, и я боюсь, что и мы, немецкие красные шапочки, скоро на себе испытаем нелепо-длинные лапы и широкую пасть бабушки. И при этом мы еще должны быть в боевой готовности, чтобы идти на Францию. Господи боже! Идти на Францию? Да, ура! Вперед, на французов, и, верно, берлинские указуисты и кнутологи утврждают, что мы все еще те же спасители бога, короля и отечества, какими были в 1813 году, и что необходимо новое издание «Лиры и меча» Кернера, и Фуке присоединит еще несколько боевых песен, и Герреса вновь откупят у иезуитов для продолжения «Рейнского Меркурия», и кто добровольцем примет участие в этой священной войне, удостоится зеленой веточки на шапке и будет именоваться отныне «вы» и получит бесплатные театральные билеты или, уподобленный детям, заплатит только половину, — а за особые патриотические усилия всему народу будет особо обещана конституция.

Конечно, театральные контрамарки — вещь хорошая, но конституция тоже была бы неплоха. Да, временами нас могло страстно потянуть к ней. Не то, чтобы мы не доверяли абсолютной доброте или доброму абсолютизму наших монархов; наоборот, мы знаем, что это сплошь восхитительные люди, и если случается между ними такой, который не делает чести своему сословию, как, например, его величество король Дон Мигель, то он ведь представляет собой исключение, и если высочайшие коллеги до сих пор не собрались положить конец его кровавому озорству, то это делается лишь для того, чтобы на фоне контраста с таким коронованным мерзавцем показаться еще человеколюбиво-благороднее и вызывать еще большую любовь своих подданных. Да,

в хорошей конституции есть кое-что хорошее, и не приходится жаловаться на народы, если они даже от лучших монархов желают получить эдакий документец насчет жизни и смерти. И разумный отец поступает очень разумно, ограждая бездны самодержавной власти охранительной решеткой, дабы не приключилось когда-либо с его детьми несчастья, если бы им вздумалось слишком развязно гарцовать на коне высокомерия вместе с хвастливой свитой юных дворянчиков. Мне известен некий корольевич, уже наперед упражняющийся в размашистых прыжках в одной прескверной дворянской школе верховой езды. Для таких королевских сынков необходимо строить вдвое более высокие загородки и обматывать чем-нибудь их золотые шпоры, и давать им более спокойных коней, и приставлять к ним более буржуазно-смирненных сверстников. Знаю одну охотничью историю — клянусь св. Губертом! И знаю также кого-то, кто дал бы тысячу прусских талеров чистоганом за то, чтобы история эта оказалась враками.

Ах, вся история нашего времени — лишь охотничья история. Это время охоты на либеральные идеи, и высокопоставленные господа увлечены ею больше, чем когда-либо, и их ливрейные егеря палат во всякое честное сердце, где укрылись либеральные идеи, и нет недостатка в натасканных собаках, которые, как добрую добычу, подбирают окровавленное слово. Берлин выкармливает лучшую свору, и я слышу уже, как яростно лает вся стая на эту книгу.

ВАРИАНТЫ И ДОПОЛНЕНИЯ



ИЗ МЕМУАРОВ ГОСПОДИНА ФОН-ШНАБЕЛЕВОПСКОГО

Стр. 49. *После слов:* одни лишь солидные дома — *добавл.:* преимущественно банкирские...

Стр. 49. *Вместо слов:* высокий и премудрый сенат может также делать, что вздумается ему, — *слова:* это, к тому же, свободное государство, управляемое сенатом, члены которого называются «ваша высокая» и «ваша высочайшая мудрость»...

Стр. 51. *Вместо слов:* отличнейших из сограждан — *слова:* сограждан, отличившихся злостными банкротствами...

Стр. 51. *После слов:* трагедий Марра — *добавл.:* трактирщика, имеющего большие заслуги в качестве такового...

Стр. 51. *Вместо слов:* дом господень — *слова:* школу высшей морали...

Стр. 52. *Вместо слов:* промышленяют естествоиспытатели — *слова:* кормятся конгрессы естествоиспытателей.

Стр. 52. *Вместо слов:* бедным она... кроме своей влаги — *слова:* она отдавала все, что может дать красивая девушка, если она милосердна, но не больше этого. Бедная Минка!..

Стр. 53. *После слов:* и скатывалась [в мешок] — *слова:* в роковой мешок...

Стр. 55. *Вместо слов:* и прочие пасторские дочки — *слова:* девицы из хороших семейств...

Стр. 55. *Вместо слов:* господин Зелигман — *слова:* господин Моисей Оффенбах [также и дальше]...

Стр. 56. *Вместо слов:* «вдова блаженной памяти Зелигмана» — *слова:* «вдова Оффенбаха и Израиль Оффенбах сын»...

Стр. 56. *Вместо слов:* и скверной музыки — *слова:* в вихре танцев и скверной музыки непристойных заведений.

Стр. 57. *Вместо слов:* злая семерка — *слова:* наглая и смердящая надменностью семерка...

Стр. 59. *После слов:* ваточен в холодной луже — *добавл.:* в Гамбурге...

Стр. 70. *Вместо слов:* избавительницы — *слова:* дорогой супруги.

Стр. 78. *Вместо слов:* не сидел — *слова:* не размышлял бы.

Стр. 80. *Вместо слова:* темных — *слова:* со времен жалкой Палестины...

Стр. 92. *Вместо слов:* я тебе покажу... травить малыша — *слова:* Дриксен побагровел от гнева и возразил: «Я не знаю, из какого металла я сделан, но моя рапира не из золоченого олова». И он сейчас же перестал травить малыша.

Стр. 95. *После слов:* неблагодарнейшем из богов — *добавл.:* который оставляет свой народ веками прозябать в бедности...

Стр. 95. *После слов:* ты сегодня дрался — *добавл.:* он не удостоил защитить тебя в том поединке с нечестивцем.

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ

Стр. 106. *После слов:* прекраснейшей дамы неба и земли — *добавл.:* я стал холоден к богу-отцу — вполне простительное обстоятельство в том ложном положении, в каком я оказался по отношению к нему. К сыну, наоборот, я испытывал благосклонность — почти отеческую. Мна нравился его благородный характер энтузиаста. То, что он так бескорыстно принес себя в жертву за спасение человечества, — этого я, конечно, не мог одобрить вполне — из-за великой скорби, которую это причинило его матери...

Стр. 112. *После слов:* ад великого Данте — *добавл.:* при некоторых пассажах из Россини...

Стр. 117. *После слов:* на фортепиано звучали прекраснейшие мелодии — *добавл.:* хозяйка дома, прелестная маленькая фея, блистала больше, чем когда-либо, остроумием и весельем.

Стр. 118. *После слов:* преображенным от... палочки *вместо дальнейшего:* до не забуду — *слова:* улыбка его прелестной соотечественницы бросила отсвет идеала на его лицо: он был как бы

преображен божественным блеском этой улыбки. В это мгновение он сделался для меня симпатичным существом — я полюбил его... Увы!..

Стр. 119. *После слова:* глухой — *добавл.:* и безумный...

Стр. 143. *После слов:* на представлении «Tour de Nesle» — *добавл.:* Александра Дюма...

Стр. 149. *Вместо слов:* затем он сыграл... утром в день своей свадьбы — *слова:* затем он сыграл часть одной из этих фантастических симфоний Берлиоза, в которых гений молодого французского мастера является равным гению Бетховена, а иногда превосходит его пылом неистовства — «французской яростью». Берлиоз бесспорно величайший и оригинальнейший музыкант из всех, кого породила Франция. Вещь, сыгранная Листом, произвела большое впечатление...

Стр. 154. *После слов:* которого... принцесса Киритц начала на коленях — *добавл.:* который ездил верхом на собаках герцога Брауншвейгского, которому король Баварский читал свои стихи и который курил из одной трубки с германскими князьями...

Стр. 156. *После слов:* греческих причесок, славы — *добавл.:* великих полковых барабанщиков...

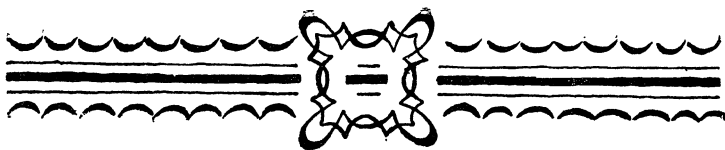
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «КАЛЬДОРФ О ДВОРЯНСТВЕ»

Стр. 331. *Вместо слов:* раб, который... вычеркивает... господина из книги, — *в первоначальной рукописи подробнее:* который с тем же равнодушием проделывает свое палаческое дело на людях, и что, когда мосье Сансон вычеркивал из книги жизни его христианнейшее величество короля французского, он лишь сменил, как естественный преемник в должности, парижского цензора.

Истину эту я осознал самым ужасающим образом недавно, когда беспорядки, потрясая Европу, достигли также места моего (временного) случайного пребывания и я мог вблизи наблюдать нечестивую дикость разнузданных народных масс. Дело ограничилось, слава богу, лишь швырянием камней и дребезжанием разбиваемых окон, и на другой день все вновь пришло в порядок благодаря премудрым мерам, принятым высокоумными отцами

города среди камней, брошенных в их дома, поистине, отыскавших философский камень. — Я же провел ночь, когда разразились эти беспорядки, очень плохо, — я не мог уснуть от неотвязных мыслей о революционных ужасах и все думал о Людовике XIV, а также о Карле I, и старался разгадать, кто был замаскированный палач, отрубивший ему голову; и когда я уснул, мне приснилось, что я стою в шумной толпе народа, плящей глаза вверх на большой дом, напоминающий видом Уайтхолл, и перед окнами его возвышается черный помост, где на черной плахе лежит голова в длинном парике с косичкой, и вот, когда замаскированный палач уже замахнулся мечом, с него упала маска, и открылось всем известное лицо всем известного цензора.

КОММЕНТАРИИ



БАХЕРАХСКИЙ РАВВИН

Впервые напечатано в четвертой книге «Салона» (Гамбург. 1840).

История возникновения «Бахерахского раввина» подробно освещена Л. Фейхтвангером (Lion Feuchtwanger, Heinrich Heines Fragment: Der Rabbi von Bacherach. Diss., München. 1907). План «Рабби» сложился, по всей вероятности, еще весной 1824 г. во время пребывания Гейне на каникулах в Берлине, когда вновь он сблизился с «Обществом культуры и науки евреев». В Геттингене Гейне деятельно собирал материалы по истории евреев в средние века, задумав «Рабби» как «историческую картину нравов» (см. письмо к Мозеру от 25 июня 1824 г.). Повесть осталась неоконченной. Значительная часть рукописи, которую Гейне все же предполагал (в 1825 г.) напечатать в приложении ко II тому «Путевых картин», сгорела во время пожара в доме матери Гейне в 1833 г. В 1840 г., нуждаясь в деньгах, Гейне напечатал оставшуюся у него часть повести в четвертой книге «Салона».

1. *Бахерах* — город на Нижнем Рейне. В 1814—1820 гг. Гейне студентом Боннского университета часто совершал прогулки вниз по Рейну и охотно останавливался в Бахерахе, славившемся своими винами (см. Friedrich Steinmann, «Taschenbuch für deutsche Literaturgeschichte», Münster 1834, S. 60—61). Но, кроме личного знакомства с городом, Гейне воспользовался также известным путеводителем Алоиза Шрейбера, «Handbuch für Reisende am Rein» (2-е изд. 1818 г.). В приложении к путеводителю даны «Народные легенды об окрестностях Рейна и Таунуса». В книге Шрейбера Гейне нашел подробное описание замков близ Бахераха: Зарек, Зонник, Шталек, описание церкви Вернера в Бахерахе и Обервезеле, скалы у Нидеррейнбаха, бингерского водоворота, Мышиной башни и др.

Наряду с новой формой Бахерах Гейне употребляет также старое начертание — Бахерах, которое приняли мы в нашем переводе.

2. *Фогт сеньера*. Бахерах был ленным владением фамилии Шталек и в XII веке перешел к курфюрсту Пфальца.

— *Зарек* — небольшой замок на Рейне. Гейне путает этот замок с замком владетельного сеньера (см. ниже).

2. *Флагеллянты*, или бичующиеся, — секта, возникшая в первых десятилетиях XIII века и особенно усилившаяся в 1349 году, во время эпидемии «черной смерти». Источником Гейне послужила здесь «Limburgische Chronik» («Лимбургская хроника») (составил Tielemann Elhen von Walfhagen, 1402 г., издал Johann Friedrich Faust von Aschaffenburg, 1617). Этой хроникой Гейне пользуется и в дальнейшем (см. ниже).

3. *Святой Вернер*. Легенда эта, приуроченная к 1286 или к 1287 году, приведена в путеводителе Алоиза Шрейбера.

5. *Агада* (буквально рассказ, рассказанное) — обширная область талмудической литературы, которая содержит в себе поучения, афоризмы, предания, легенды и пр. Переводы всех цитируемых мест из Агады прислал Гейне по его просьбе Мозес Мозер (см. письмо к Мозеру от 25 июня 1824 г.).

7. *Мицри*, т. е. египтянин (Библия, книга «Исход», гл. II, стр. 12).

8. «*Радуйся, моя царица*». Ср. стих. Гейне «Принцесса Сабат».

— ...установленными словами спросить отца... «Почему эта ночь не такая, как все другие ночи?»

— *Диковинное сказание* — легенда из Талмуда.

10. *Зоннек* — замок на левом берегу Рейна, между Трех-тлингсгаузенем и Нидерхеймбахом (последнее обозначено у Гейне ошибочно: Нидеррейнбах).

— *Шадаи* — древнеевр. всемогущий.

12. Легенду о горе *Кедрих* и о долине *Шопота* (Wispertal) Гейне мог найти у Шрейбера, а также в книге N. Vogt'a «Rheinische Geschichten und Sagen» (Frankfurt am Main. 1817, Bd. I—III). Последняя легенда подробно изложена Гейне в его книге «Духи стихий» (см. собр. соч. Гейне, т. VII, изд. «Academia»).

14. *Мышиная багня Гатто* — на скале, на Рейне у Бингена; была разрушена в 1635 г. шведами.

— *Гатто II* — архиепископ майнцский (968—970), согласно легенде, во время голода приказал сжечь в амбаре множество бедняков; в наказание на него были посланы крысы, сожравшие его живьем. (В русской литературе эта легенда разработана в стихотворении В. А. Жуковского).

15. *Мирра* — мирт, вечнозеленый кустарник, распространенный на побережье Средиземного моря и в Палестине. По традиции ветви мирта предписывается брать для целей богослужения в праздник кущей.

— *Каждому, кто принесет мертвую крысу, выплачивает шесть геллеров*. Речь идет о так называемом «Rattenpfennig», налоге, который принуждены были с 1498 г. платить франкфуртские евреи за то, что один из них переодетым пробрался на тур-

нир и был опознан (Schudt, «Jüdische Merkwürdigkeiten», Frankfurt am Main. 1718, II Bd., S. 321). При описании средневекового Франкфурта, кроме книги Schudt'a, Гейне послужила книга: Kirchner, «Geschichte der Stadt Frankfurt a. M.» (1807), откуда Гейне позаимствовал и другие детали.

18. *Король Максимилиан* (1454—1569) — с 1486 г. король римский, с 1493 г. — германский император. Кирхнер также сообщает о том, что король Максимилиан часто бывал во Франкфурте. Он дважды упоминает о турнире герцога Брауншвейгского и маркграфа Бранденбургского (1489) и рассказывает, как Петер фон-Марбург заслужил кличку Гольш (Lump). Гейне почти дословно берет у Кирхнера описание дома Лимбургга, шарлатана, фехтовальщиков и гулящих девок (Freudendirnen). У Кирхнера же упоминаются тюремщик (Stöcker) и Розенталь.

21. Строфы из гимна флагеллянтов взяты поэтом из «Лимбургской хроники» (см. выше).

— *Назентштерн*. Прообразом Назентштерна послужил Штерн из Франкфурта — биржевой спекулянт. См. книгу Гейне «Лютеция», гл. XXXII (31 марта 1841) и LVII (5 мая 1843), а также «Людвиг Берне», III книгу.

22. *Риндскопф* — фамилия франкфуртского банкира, у которого в 1816 г. учился Гейне. Карпелесом установлено, что все приводимые Гейне фамилии в то время были представлены во франкфуртском гетто.

— «*Воемнадцать благословений*» (или славословий) «Шемоне Эсре» — еврейская молитва, которую читают ежедневно в утренних, дневных и вечерних богослужениях. Чтение «Шемоне Эсре» нельзя было прерывать.

23. *Фонтанель* — гнойная рана, которую в старой медицине вызывали с врачебной целью.

24. ... *повесили его за ноги посреди двух собак*. Этот способ казни существовал в Германии еще в XVIII веке (J. J. Beck, «Tractatus de juribus Judaeorum», Nürnberg. 1741).

— ... *трижды сказав слово «свят»* — так наз. «кедушa» — гимн в честь святости бога, включенный в состав «Шемоне Эсре» (см. выше).

25. *История о жертвоприношении Исаака* (Библия, «Бытие», гл. I, стр. 22) читалась в синагоге на второй день нового года, а не на Пасху.

— *Песнь из Агады* — так наз. «Chad Gadjaa», заключительная песнь из Агады — была включена романтиками Арнимом и Брентано в раздел детских песен составленного ими фольклорного сборника «Des Knaben Wunderhorn» («Чудесный рог мальчика»). Гейне опускает последнюю строфу, в которой бог умерщвляет ангела смерти.

26. ...*кровь падет на Эдом*. Потомки Эдома — эдомиты — библейские заклятые враги евреев.

— *Он прекрасен, как баинья, обращенная к Дамаску*. Сравнение (так же, как и следующее) заимствовано из «Книги песен» Соломона.

27. ...*после большого пожара...* Анахронизм: пожар, истребивший весь еврейский квартал во Франкфурте, случился 14 января 1711 г.

28. *Нюрнбергские изгнанники*. На рубеже XV и XVI вв. во Франкфурт переселились евреи, изгнанные из Нюрнберга.

32. ...*на плащах желтые кольца*. Особая форма одежды для отличия от христиан предписывалась евреям с 1215 г. Она вновь была введена во Франкфурте в 1452 г. (Schudt, II, S. 247).

33. ...*ненавидят друг друга, как Мидиан и Моаб* — библейское сравнение, основанное на предании о вековой вражде двух соседних племен — мидианитов и моавитов.

37. *Абарбанель* — Исаак бен-Иегуда (1437—1508), еврейский богослов и дипломат, министр португальского короля Альфонса V. Бежал в Испанию, оттуда после изгнания евреев — в Италию. Известен своими комментариями к ветхому завету. Абарбанель был врагом всякого свободомыслия и защитником мессианской догмы. Его третий сын Самуил принял христианство. О племяннике Абарбанеля никаких исторических свидетельств не имеется.

40. *Астарт* — богиня Сирии и Финикии. Первоначально — богиня войны и смерти. Позднее ее стали смешивать с Афродитой. В этом смысле говорит о ней и дон Исаак.

42. *Трексхейт* (голл.) — маленькие суда, которые на голландских каналах тянут бечевой.

ИЗ МЕМУАРОВ ГОСПОДИНА ФОН-ШНАБЕЛЕВОПСКОГО

Напечатано впервые в первой книге «Салона» в начале 1834 г.

46. *Картуш*, Луи-Доминик (1693—1721) — атаман разбойников, промышлявших в окрестностях Парижа. Казнен в 1721 г. Жизнь Картуша послужила темой многочисленных разбойничьих романов.

— *Гнезен*, или Гнезно, — один из древнейших городов Польши. Служил местом коронования польских королей. В 1793 г. отошел к Пруссии.

— *Аллегри*, Грегорио (1590—1652) — композитор. «Miserere» Аллегри часто исполнялось на страстной пятнице.

49. *Дух Банко*. Здесь игра слов. Банко — родоначальник династии королей у Шекспира в трагедии «Макбет». Банко —

также особая денежная расчетная единица в гамбургской торговле до 1873 г. Марка банко была несколько больше полутора марок имперских.

49. *Лафайет*, Мари-Жозеф. Кроме участия в восстании североамериканских колоний против Англии и в начальном периоде Великой французской революции, сыграл немаловажную роль в установлении во Франции июльской монархии (1830).

— *Wandrahm, Dreckwall* — Стенная рама, Поганный вал — улицы в Гамбурге, где жило много евреев (ср. с поэмой Гейне «Германия», гл. XXI).

50. *Броунианцы* — последователи шотландца Джона Броуна (1735—1788), утверждавшего, что все болезни происходят от недостаточного или избыточного раздражения органов.

— *Иоганн Фауст*, или Фауст — компаньон первопечатника Гутенберга, которого Гейне принимает за одно лицо с легендарным доктором Фаустом.

— *Гамбург*. Основание города и крепости Гамбург приписывается Карлу Великому (ср. «Германия», гл. XXVI).

— *Аахен* — город Рейнской области. В 1815 г. отошел к Пруссии. В Аахенском соборе гробница Карла Великого (742—814), короля франков (ср. поэму «Германия», гл. III).

51. *Гаммония* — латинское наименование города Гамбурга.

— *Прекрасная Марианна* — трактирщица в Эймсбюттеле близ Гамбурга.

— *И. В. Марр* — актер; перевел и переработал для сцены множество иностранных пьес. Ср. книгу «Ле-Гран», гл. XIV.

51. *Канатный двор* — улица в Гамбурге, пользовавшаяся дурной репутацией (ср. «Германия», гл. XXIII).

— *Огинский*, Михаил-Клеофас (1765—1833) — литовский граф, политический деятель и композитор. В особенности известны его полонезы.

54. *Юнеферштег* — «Девичья тропа». На этой улице был дом дяди поэта, Соломона Гейне (см. автобиографические стих. поэта «Аффронтенбург»).

— *Швейцарский павильон* — излюбленное место прогулок Гейне.

55. *Альстер* — река в Северной Германии, на которой расположен Гамбург.

— *Пеннорожденной богини* — т. е. Афродиты.

60. *Песню о Вонведе* Гейне нашел в изданном Вильгельмом Гриммом переводном сборнике «*Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen*», Гейдельберг. 1811.

67. *Клопшток*, Фридрих-Готлиб (1724—1803) — знаменитый немецкий поэт, автор «Мессиады» (1745—1773). Молодой Гейне посещал могилу поэта (см. его письмо к Христиани от 6 июля 1816 г.). Позднее устанавливается отношение Гейне к Клопштоку как к отжившему, старомодному поэту, к тому же ставшему духовным знаменем немецких реакционеров.

— *Куксгафен* — местечко и гавань на левом берегу устья Эльбы.

68. *Каффамахерайе* (Caffamacherreihe) — улица в Гамбурге, славившаяся мастерскими, изготавливавшими шелк и бархат (cassa).

69. *Легенда о летучем голландце*, рассказанная здесь Гейне, легла в основу либретто оперы Вагнера.

72. *Юффрау* — голл. госпожа.

90. *Фасти* (библейск.) — в книге Эсфири, гл. I.

91. *Миронова корова* — была отлита из бронзы античным скульптором Мироном (V в. до н. э.). До нашего времени не дошла.

95. *Мы дошли до четырнадцатой главы*, т. е. до книги Судей (Библия).

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ

Впервые напечатаны в «Morgenblatt für gebildete Stände» № 83—91 (от 6—15 апреля) и в № 114—124 (от 12—25 мая) 1836 г. Вошло в третий том «Салона» (1837).

105. *Я возвращался из Лауренцианы...* Во Флоренции находятся два надгробия Лоренцо и Джулиано Медичи, работы Микель-Анджело. У подножия гробницы Джулиано — аллегорические изображения Дня и Ночи.

106. *В Кельне на Рейне*. Ср. стихотворение Гейне в цикле «Лирическое интермеццо».

— *Маленькая Верн*. Ср. «Маленькая Вероника» в книге Гейне «Идеи, книга Le Grand», гл. V, X, XVII и XIX. С середины апреля до конца июля 1829 г. Гейне действительно был в Потсдаме, его посетил брат Максимилиан (см. его письмо к Фридерике Роберт, май 1829 г.).

108. *Тортони* — знаменитое в начале XIX века кафе на Итальянском бульваре в Париже.

112. *Бедняга! В Павии...* Франциск I (1494—1547), французский король, был взят в плен в битве при Павии (24 февраля 1525 г.).

113. *Беллини*, Винченцо (1801—1835) — оперный композитор. Его преждевременная смерть (в Пюшо, близ Парижа) вызвала многочисленные литературные отклики.

113. *Россини* Джакомо Антонио (1792—1868) — итальянский композитор. Последнюю свою оперу «Телль» Россини создал в 1829 г. — с этого времени до самой смерти (в течение 38 лет) Россини почти ничего не написал.

116. ...*замок... принца из Пеллагони*. См. «Путешествие по Италии» Гете (Палермо, апрель 1787 г.).

117. ...*в доме одной великосветской дамы*. Имеется в виду Каролина Жюбер (см. письмо Гейне к ней от 22 апреля 1835 г.).

118. *Паганини*, Николо (1784—1840) — гениальный скрипач, представитель романтического и виртуозного исполнительства.

119. *Лизер*, Иоганн-Петер — немецкий художник, поэт и музыкант, с которым Гейне был знаком в Гамбурге. Оставил портрет Гейне и рисунок к «Флорентийским ночам».

120. *Реци*, Мориц (1774—1857) — немецкий рисовальщик, живописец и гравёр. Известен своими гравюрами к гетевскому «Фаусту» (26 листов, Штуттгарт. 1828).

121. *Гаррис*, Георг (1780—1838) — незначительный немецкий писатель. Его книга «Паганини в дорожной карете и дома, в часы досуга, в обществе и на концертах» (Брауншвейг 1830) дала Гейне отдельные черты для характеристики Паганини.

131. *Восемь лет тому назад я отправился в Лондон*. Ср. «Английские фрагменты» Гейне.

133. *Old Bailey* — улица лондонского Сити. Народное обозначение находящейся там тюрьмы, перед которой совершались (до 1868 г.) казни.

139. *Вестрис*, Август (1759—1842) — известный итальянский танцовщик. С 1772 г. в Большой опере в Париже. Выступал с успехом еще в 1835 г. Вестрис, как и Тальони, — знаменитые семьи, давшие театру много первоклассных балетных актеров.

141. *Болейн*, Анна (1503—1536) — вторая жена Генриха VIII. Была обвинена в нарушении супружеской верности, заключена в Тоуэр и приговорена судом пэров к смерти (15 мая 1536 г.).

143. «*Tour de Nesle*» («Нельская башня») — драма Александра Дюма (отца).

145. *Басня Лафонтена*. Басня Лафонтена «Le Corbeau et le Renard» переработана Крыловым под тем же названием: «Ворона и Лисица». В переработке Крылова строчки:

«Голубушка, как хороша!
Ну, что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так право сказки!»

соответствуют помещенным в тексте строчкам из басни Лафонтена.

148. *Виллис*. См. Гейне, «Духи Стихий», т. VII собр. соч. настоящего издания.

151. *Перье*, Казимир (1777—1832) — французский банкир и политический деятель. В 1831—1832 гг. был премьер-министром и министром внутренних дел в правительстве короля Луи-Филиппа. Подавил Лионское восстание рабочих (1831).

156. *Тальма*, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский актер. В эпоху революции вышел из состава «Французской комедии» и основал «Театр республики», осуществив целый ряд реформ в области постановки спектаклей.

— *Гро*, Жан-Антуан (1771—1835) — французский художник баталист. Один из создателей культа Наполеона в живописи.

— *Мори*, Жан-Сифрен (1746—1817) — кардинал, выдающийся проповедник, французский политический деятель. При Наполеоне был назначен парижским архиепископом.

— *Савари*, Анн-Жак-Мари-Рене, герцог де Ровиго (1774—1833) — французский политический деятель. Адьютант Наполеона Бонапарта. Директор тайной полиции. После 1830 г. главнокомандующий французским войском в Алжире.

— *Полина Боргезе* (1780—1825) — вторая сестра Наполеона Бонапарта.

РОМАНТИКА

Написано летом 1820 г., по поводу сатиры В. фон-Бломберга, появившейся впервые в 1810 г. в «*Heidelberger Taschenbuch*» Алоиза Шрейбера. Сатира называлась: «Новейшая комедия многоумного небесного посланца Фосфоруса Корфункулуса Солариса, которую он сам произвел на свет, играл и смотрел». В 1820 г. эта сатира была вновь напечатана в приложениях к «*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*». Там же появилась и статья Гейне 1820 г. («*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*», 1820, № 67. Beilage: «*Kunst- und Wissenschaftsblatt*», № 31).

167. ...*сатиры карфункелей и соларисов*. Гейне имеет в виду книгу пародий на романтиков: «Карфункель, или Трень-Брень альманах. Карманная книжка для законченных романтиков и начинающих мистиков, изданная Ф. Баггезен, Тюбинген. 1810».

— *Орифламма* — первоначально запрестольная хоругвь церкви в С.-Дени, главнейшая воинская хоругвь королевских французских войск.

СМЕРТЬ ТАССО

Впервые напечатано: «*Der Zuschauer*», Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung. Hrsg. von S. D. Symanski, Берлин. 1821, № 74, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 95.

170. *Сметс*, Вильгельм (1796—1848) — немецкий поэт и драматург. Сотрудник альманахов, которые издавали Рассман и

И.-Б. Руссо (см. ниже рецензии Гейне на «Рейнско-Вестфальский альманах муз»).

171. *Лирика — первый и древнейший род поэзии и т. д.* — положение, выдвинутое Гердером, развитое и подчеркнутое Шлегелем.

173—174. ...*чьи лирические стихи так часто восхищали нас...* Сборник стихов Сметса вышел в 1816 г.

174. ...*первая его трагедия.* Имеется в виду «Кровавая невеста» (в 4-х действиях), Кобленц, 1818.

— *Тассо*, Торквато (1544—1595) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).

— *Леонора д'Эсте* — дочь Эрколе и сестра Альфонса, герцогов Феррары. Легенда о любви Тассо у Леоноре д'Эсте не имеет никакого исторического основания.

— *Мансо*, Джиованни-Батиста — друг и один из первых биографов Тассо. Его «Жизнь Торквато Тассо» вышла в Неаполе в 1619 г. Согласно указанию Гейзеля, Мансо был основным источником и авторитетом Сметса.

178. *Эркер* — фонарный выступ в стене, угловая башенка.

183. *Лессинг*, Готтольд-Эфраим (1729—1781) — великий немецкий драматург и теоретик искусства. Первое имя, Иоганн, дано Гейне ошибочно (см. Гейне, «К истории религии и философии в Германии», т. VII собр. соч. наст. изд.).

— «*Торквато Тассо*» Гете начал писать в 1780 г. и окончил в 1789 г.

— *Эленслегер*, Адам-Готлиб (1779—1850) — датско-немецкий поэт и драматург. Его «Кореджио» напечатан в 1816 г. (Штуттгарт и Тюбинген).

190. *Мельпомена* — см. собр. соч. Гейне, стр. 489 т. VI наст. изд.

РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКИЙ АЛЬМАНАХ МУЗ НА 1821 ГОД

Впервые напечатано в «Der Gesellschafter, oder Blätter für Geist und Herz», Berlin, 13 August 1821. 129 Blatt. Beilage: Zeitung der Ereignisse und Ansichten.

192. *Рассман*, Фридрих (1772—1831) — немецкий издатель альманахов и литературных сборников. Писал стихи (преимущественно триолеты).

193. *Альманахи муз Фосса, Тика, Шлегеля и др.* — ежегодно издаваемые поэтические сборники и антологии. В последнюю треть XVIII века служили средством объединения различных поэтических групп. «Альманах муз», издававшийся Фоссом, выходил с 1776 по 1798 г. «Альманах муз» Тика и Шлегеля выходил в 1802 г.

193. *Клаурен* (1771—1854) — немецкий писатель, автор сентиментальных повестей.

— *Фуке*, Каролина — немецкая популярная в свое время писательница,

194. *Бломберг, В.* (1786—1846) — немецкий поэт и драматург. В упомянутой Гейне «Элегии» Бломберг прославляет художественный вкус герцогини Веймарской.

— *Бүэрен*, Бернгард-Готффрид (1771—1845) — незначительный немецкий поэт. «Ведьмы» — сцены, изображающие «Вальпургиеву ночь».

— *Теобальд*, т. е. Вильгельм Сметс (см. выше). Сюжет «Шельм фон-Берген» разработан впоследствии самим Гейне в одноименном стихотворении.

— *Гебауэр*, Христиан-Август (1792—1852) — немецкий писатель и издатель различных — в том числе и религиозных — альманахов. Профессор философии в Бонне (1818—1823).

— *Мейерс*, Николай (1775—1855) — немецкий поэт и переводчик. Врач. Друг Гете. Упоминаемое Гейне стихотворение обозначено как «перевод старопровансальской народной песни 1402 года».

195. *Штольтерфот*, Адельгейд (Цвирлейн), баронесса (1800—1875), — немецкая поэтесса, известна своими стихами, посвященными Рейну.

— *Куровский-Эйхен*, Фридрих (1780—1853) — немецкий поэт, новеллист и драматург. Был офицером русской службы.

— *Элиза фон-Гогенгаузен*. См. «Письма из Берлина».

ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

«Письма из Берлина» написаны Гейне для «*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*», где и напечатаны впервые (8 и 15 февраля, 12, 19 и 26 апреля, 3 мая, 28 июня, 5, 12 и 19 июля 1822 г.). Часть этих писем была включена Гейне в издание «Путевых картин» — II часть. 1827. В остальные издания «П. к.» берлинские письма не были включены.

196. *Ваше милейшее письмо*. Гейне обращается к Генриху Шульцу, редактору «*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*».

— *Сентябрь 1821 года*. Гейне путешествовал по Вестфалии в сентябре 1821 года, будучи студентом Геттингенского университета.

— *Фриц ф.-Б.* — Фридрих Бейгем, товарищ Гейне по юридическому факультету Боннского университета.

— *В.* — Вундерман, соредактор Генриха Шульца.

— *...древности в Зосте...* Зост — город в Пруссии. В средние века был значительным торговым центром,

196. *Арминий* (Герман). См. Гейне, т. IV собр. соч. наст. изд.
— *Бар* (58 г. до н. э. — 9 г. н. э.) — римский полководец. Начальствовал над всеми римскими войсками в Германии.

197. *Галлерия Джустиниани* собрана в первую половину XVII в. В 1815 г. была приобретена прусским королем.

198. *Длинный мост* — через Шпре — построен в 1692—1695 гг. Нерингом, первоначально проходил не только над рекой, но и над обширной болотистой низменностью, от чего и получил свое название.

— *Иости* — известная в то время кондитерская.

— *Бренны* — славянское племя, населявшее нынешний Бранденбург (Бреннабург).

— *Глаз видит отпертые двери*. Гейне пародирует в этих стихах «Песню о колоколе» Шиллера.

199. *Старый Дессауэц* — прозвище Леопольда I, князя Ангальт-Дессау (1676—1747), прусского генерала. Его статуя работы Шадова (1794) была в 1828 г. перенесена на площадь Вильгельма.

— *Кейт*, Якоб (1696—1758), — прусский фельдмаршал. Родом из Шотландии. Играл выдающуюся роль в Семилетней войне. Убит в сражении при Хохкирхене. Статуя Кейта — работы Тассарта (1794).

— *Цитен*, Ганс-Иохим (1699—1783) — прусский генерал. Статуя Цитена — работы Шадова (1794).

— *Зейдлици*, Фридрих-Вильгельм (1721—1773) — прусский генерал, организатор конницы в армии Фридриха Великого. Статуя Зейдлици — работы Тассарта (1781).

— *Шерин*, Курт-Кристоф (1684—1757) — прусский генерал-фельдмаршал. Погиб в сражении под Прагой.

— *Винтерфельд*, Ганс-Карл (1707—1757) — прусский генерал. Участвовал в войнах Фридриха Великого. Был смертельно ранен в сражении при Герлиусе.

— *Собор* в Люстгартене построен Иоганном Бауманом в 1750 г. Снесен в 1894 г. Башенки, о которых говорит Гейне, сооружены были в 1820 — 1821 гг. архитектором Шинкелем.

— *Филолог В.* — Август-Фридрих Вольф (1759—1824), основатель современного учения об античности. Знаменитый исследователь Гомера.

— *Ориенталист Г.* — фон-Гаммер-Пургшталь (1774—1856), переводчик и популяризатор восточных литератур (арабской, персидской, турецкой).

— *Бегасс*, Карл (1794—1845) — немецкий живописец. Гейне имеет в виду картину Бегасса «Сошествие святого духа» (1821) в алтаре собора в Люстгартене.

199. *Теремин* — с 1814 г. придворный проповедник.

— *Паулусянцы*. Гейдельбергский богослов *Паулу* считался тогда главой протестантских рационалистов.

200. *Мост*, который упоминает Гейне, был построен Шинкелем в 1822—1824 гг. на месте старого деревянного «Собачьего моста».

201. *Липы* — «Унтер ден линден» — одна из главных улиц Берлина, начинающаяся от Замковой площади. Обсажена на всем протяжении четырьмя рядами лип и каштанов.

— *Цейхгауз* — главная архитектурная достопримечательность «Унтер ден линден». Построен в 1698—1706 гг. архитектором Мильдом и скульптором Андреасом Шлюттером.

— *...король живет... просто и буржуазно*. Гейне имеет в виду Фридриха-Вильгельма III, импонировавшего буржуазным кругам скромным образом жизни.

202. *Иоганна Эвнике* и *Мильдер* — известные берлинские оперные певицы.

— *Сыны Германа и Туснельды* — германцы.

— «*Армения*» — студенческий союз, основанный в 1820 г., был распущен за связи с союзом «Полония» — объединением студентов-поляков.

203. *...в двенадцати пестрых жилетах...* Мода носить два жилета возникла примерно в 1818 г. и продержалась до 30-х годов.

204. *Цельтер*, Карл-Фридрих (1758—1832) — немецкий композитор. С 1800 г. дирижер певческой капеллы в Берлине. Был близок к Гете и написал музыку ко многим его песням, балладам и пр.

205. *Современные перуанцы*. Древние перуанцы поклонялись солнцу.

— *Штих* (Августа Крелингер) (1796—1865) — немецкая актриса.

— *Мильтон*, Джон (1608—1674) — великий английский поэт. Гейне приводит стихи из «Paradise Lost», VIII, 488—489.

— *Неандер*, Август (1789—1850), историк церкви и богослов. По происхождению еврей. Крестился в 1806 г. Входил в кружок Шамиссо — Фарнгагена, с которыми Гейне был тесно связан. Рассеянность Неандера давала повод ко многочисленным анекдотам.

— *Буше*, Александр-Жан (1778—1861) — скрипач-виртуоз.

206. *Спонтини*, Гаспаро (1774—1851) — итальянский композитор. С 1804 г. выступал в Париже, где после постановки оперы «Фердинанд Кортес» занимал место дирижера Итальянской оперы. В 1820 г. получил приглашение в Берлин, где стал главным капельмейстером прусского короля. Деспотическое и нетерпи-

мое поведение Спонтини, от которого зависела почти вся музыкальная жизнь Берлина, привело к враждебным демонстрациям публики, вынудившим его в 1842 г. покинуть Берлин.

206. *Лангганс*, Иоганн-Готгард (1733—1808) — архитектор. Построил Бранденбургские ворота в Берлине.

— *Богиня наверху*, конечно, достаточно известна вам из новейшей истории. Статуя Виктории (работы Шадова) была увезена французами в Париж и возвращена в 1814 г.

207. *Прадт*, Доминик де (1759—1837) — французский публицист.

208. *Космели* написал «Безобидные наблюдения во время путешествия через Петербург, Москву, Киев в Яссы» (Берлин. 1822), «Рапсодические письма с пути в Крым и Турцию» (Галле. 1813) и др.

— *Вольф*, разорвавший на куски Гомера, — Авг.-В. Вольф. Выступил с теорией, утверждавшей, что гомеровский эпос создан различными поэтами в разное время.

— «*Кот Мур*» Э.-Т.-А. Гофмана был издан в 1821—1822 гг. Рецензия Лютвица была напечатана в «Vossische Zeitung» 12 января 1822 г.

— *Мальтиц*, Фридрих-Аполлониус — незначительный немецкий поэт, который в 1821—1823 гг. был близок к фарнгагенскому кружку.

— *Гартман*. Под этим псевдонимом часто писал (также и в «Rheinisch-Westfälischer Anzeiger») друг Гейне Эрнст-Христиан-Август Келлер (1797—1879), правительственный референдарий в Берлине (см. письма к нему Гейне в XI т. собр. соч. наст. изд.).

209. *Гельвиц*, К.-Фр. (1773—1838) — композитор. Ученик Цельтера и Шнейдера. Опера Гельвица «Рудокопы» была сыграна в первый раз 15 января 1822 г.

— *Корефф*, Давид (1783—1851) — модный врач и либреттист. Был близок к кружку Фарнгагена.

— *Шнейдер*, Георг-Авраам — валторнист-виртуоз и композитор. Его опера «Окассен и Николетт» была поставлена 26 февраля 1822 г.

— *Клейн*, Бернгард (1793—1832) — немецкий композитор. Опера Клейна «Дидона» написана в 1821 г., поставлена 15 октября 1823 г.

— «*Фрейшюц*» — опера немецкого композитора Карла Вебера (1786—1826). Первое представление ее состоялось еще 18 июня 1821 г.

— *Бас Фишер*. Гейне, по всей вероятности, имеет в виду певца Иозефа Фишера, выступавшего в Королевской опере в 1814—1818 гг.

209. *Гювальд*, Эрнст-Кристоф (1778—1845) — плодовитый немецкий драматург.

— *Раух*, Христиан-Даниэль (1777—1857) — немецкий скульптор.

— *Блюхер*, Гебгард-Леберехт (1742—1819) — прусский фельд-маршал, прославившийся в эпоху наполеоновских войн. Подоспев к концу битвы при Ватерлоо, решил исход сражения.

— *Шарнгорст*, Бернгардт-Иоганн (1755—1813) — знаменитый прусский генерал, реорганизовавший прусскую армию.

— *Трагедия д-ра Куна «Жители Дамаска»* не была поставлена.

— *Вах*, Карл-Вильгельм (1787—1845) — немецкий живописец.

— *Каролина Фуке*. Роман в письмах Каролины Фуке «Прошлое и настоящее» вышел в 1822 г.

— *Брокгауз*, Фридрих-Арнольд (1772—1828) — лейпцигский издатель.

210. ...мистическая пропаганда в Нижней Померании. Гейне имеет в виду возникшее после «Освободительной войны» движение в Померании, связанное с именем барона фон-Котвица и братьев фон-Белов.

— «*Блоха*». Гейне имеет в виду сатирическую повесть Э.-Т.-А. Гофмана «Повелитель блох».

— *Губиц*, Фридрих-Вильгельм (1786—1870) — известный немецкий ксилограф. Писал и издавал книги «для народа».

— «*Скорбные песни греков*» — «Венок сонетов» К.-Л. Блюма, вышел в 1822 г.

— *Штаберле* — комическая фигура старинного венского фарса (родственна Касперле). Фарсы со Штаберле писали различные немецкие писатели (Людвиг Роберт, «Штаберле в вышних сферах»; Карл Голтей, «Штаберле Робинзон», и др.).

— *Фосс*, Юлиус — чрезвычайно плодовитый немецкий драматург и романист. Его комедия «Квинтин Мессис» впервые была сыграна 30 января 1822 г.

— *Грильпарцер*, Франц (1791—1872) — крупнейший немецкий драматург.

— «*Аргонавты*» — вторая часть трилогии Грильпарцера.

211. ...о большом северогерманском юристе. Гейне имеет в виду Савиньи (см. выше).

— ...я держусь здесь взгляда Буало. В своем «Рассуждении о сатире» и в сатире 9 Буало защищает право сатирика касаться имен и личностей.

— *Кревинкель* — условное название захолустья, немецкий город Глупов.

212. *Евгений ф.-Б.* — Евгений фон-Бреза, польский граф, друг молодости Гейне. Осенью 1822 г. оставил Берлинский университет. Ему посвящено стихотворение Гейне: «Мне снился сон, что я госпождь».

— *Шпре* — река в Берлине.

213. *Мендельсон-Бартольди*, Феликс-Яков-Людвиг (1809—1847) — немецкий композитор. В 1818 г., девяти лет, он впервые выступил в публичном концерте.

216. «*Танкред*» — опера Джакомо Россини (1792—1868), написана им в 1813 г.

217. *Антиспонтиниевская партия* — т. е. сторонники Вебера.

— *Глюк*, Кристоф-Виллибальд (1714—1787) — великий немецкий композитор.

— *Пуччини*, Николо (1728—1800) — итальянский оперный композитор, пользовавшийся в свое время большой популярностью.

— *Глюкисты и пуччинисты*. После представления опер Глюка «Орфей» и «Альцеста» в 1774 г. в Париже образовались две больших группы: сторонников итальянской музыки — пуччинистов (Мармонтель, Лагарп, Даламбер) и глюкистов (аббат Арно, Сжар и др.). Либретто для оперы «Роланд», переданное Глюку, в то же время без его ведома было предложено Пуччини. Узнав об этом, Глюк сжег набросок оперы.

220. ...*новой комической оперы* — т. е. «Эврианты» (поставлена в 1823 г. в Вене).

— *Рецензия Губица* была напечатана в «Gesellschafter» 1821 г. в №№ 105 и 106.

222. ...*превосходные речи о чистой ослиности в замкнутой овечности, об идее бараньей головы и о великолепии старокозлинского*. Намек на «замкнутое торговое государство» Фихте, философию Гегеля и филолога Бека (Böckh).

225. ...*о новом богослужении*. Гейне имеет в виду модернизацию еврейского культа по образцу лютеранства. Возникшие на основе этого движения общины имели свои храмы, где богослужение совершалось на немецком языке в сопровождении органа.

— *Новая литургия* введена в 1816 г.

— *Шлейермахер*, Фридрих-Эрнст-Даниэль (1768—1834) — немецкий богослов, философ и филолог. Принимал активное участие в литературном движении романтизма.

— *Де-Ветт*, Вильгельм-Мартин (1780—1849) — профессор теологии и философии в Гейдельберге и Берлине. В 1819 г. написал письмо, в котором утешал мать студента Карла Занда, убившего реакционного писателя и агента русского царизма Августа Коцебу. Это письмо привело Де-Ветта к конфликту с правительством. В 1820 г. Де-Ветт опубликовал сборник актов

о своей отставке для оправдания себя в общественном мнении, что вызвало большую полемику.

227. *Тиртей* — греческий поэт VII в. до н. э. По преданию, школьный учитель-калека. Афиняне послали его в насмешку спартамцам, просившим у них полководца. Тиртей своими песнями внушил спартамцам мужество, и они победили.

— *Цейне*, Иоганн-Август (1778—1853) — профессор географии в Берлине, языковед и переводчик.

— *Драма Клейста «Принц Гомбургский»* появилась в 1822 г. в Вене под названием «Сражение при Фербеллине».

— *Гез*, Эдуард-Генрих (1793—1850) — немецкий драматург и либреттист. Его трагедия «Анна Болейн» появилась на сцене в 1823 г. в Дрездене. В Берлине поставлена не была.

— *«Мастер Блоха и его подмастерья»*. Гейне имеет в виду повесть Гофмана «Повелитель блох» («Meister Floh»), путая заглавие с названием другой повести Гофмана «Мастер Мартин бочар и его подмастерья».

229. *Штенель*, Франц-Давид-Кристоф (1794—1834) — музыкальный писатель и педагог. В 1821 г. был послан прусским правительством в Лондон, чтобы собрать сведения о методе Ложье. В 1822 г. Штенель открыл школу в Берлине, где преподавал по этому методу.

— *Новая опера Мейербера «L'esule di Granta»* («Изгнанник из Гренады») шла в Милане в 1822 г. в театре Скала.

— *Шаден*, Август (1791—1840) — немецкий бульварный писатель. Наряду с его собственными работами под этим именем выходило много книг других авторов.

— *Тарнов*, Фанни (1779—1862) — немецкая писательница. Известна своими мемуарами.

— *«Берлинский ежесемесичник»* был основан в 1821 г. Фр. Ферстером.

— *Менцутули*, барон Мену (1772—1846) — немецкий генерал. В 1820—1821 гг. стоял во главе экспедиции в Египет, снаряженной прусским правительством. Его книга «Путешествие к храму Юпитера Аммона и в Верхний Египет» вышла в 1824 г.

230. *Большой труд о всеобщем языкознании*. Книга Боппа «Сравнительная грамматика санскритского, зендского, греческого, латинского, литовского, готского и немецкого языков» (первая часть вышла только в 1833 г.).

— *Шадов*, Иоганн-Готфрид (1764—1850) — немецкий скульптор.

— *Молодой Шадов* — старший сын Готфрида. Умер в Риме, где учился у Кановы и Торвальдсена.

— *Шадов*, Фридрих-Вильгельм (1789—1862) — немецкий живописец. С 1819 г. профессор Академии художеств.

230. *Гензель*, Вильгельм — немецкий живописец, поэт и драматург. В 1825 г. был отправлен на средства прусского короля в Италию.

— *Кольбе*, Карл-Вильгельм (1781—1853) — немецкий исторический живописец.

— *Шинкель*, Карл-Фридрих (1781—1841), немецкий архитектор-живописец. Писал также театральные декорации (к «Волшебной флейте» и др.). С 1820 г. профессор Берлинской академии художеств.

— *Тик*, Христиан-Фридрих (1776—1851) — немецкий скульптор.

— *Похищение принцессы в Бонне*. Герцогиня Ангальт-Бернбург, сестра курфюрста Вильгельма II Гессенского, была ночью тайно похищена из Бонна и доставлена в Ганау, где ее владения были отданы под управление назначенного Вильгельмом II куратора.

231. «*Нурмагал, или Праздник роз в Кашемире*». Праздничное представление; музыка Спонтини, в которой он использовал музыку из «Лалла Рук» и другие свои старые произведения.

— «*Лалла Рук*». Торжественное представление с пением и танцами. Исполнено в королевском замке в Берлине 27 января 1821 г. Издано в 1822 г. Карлом Брюлем и С. Шпикером. Это представление было дано в честь русского великого князя Николая Павловича. Музыка Спонтини.

242. «*Олимпия*». Первое представление этой оперы Спонтини состоялось в Берлине 19 мая 1821 г.

— *Стихи для музыки сочинены театральным поэтом* — т. е. Карлом-Александром Герклотом (1759—1830), который также перевел больше семидесяти либретто французских и итальянских опер.

244. *Гейм*, Эрнст-Людвиг (1747—1834) — немецкий врач, лечивший бесплатно тысячи бедных. Первый в Берлине стал приывать оспу.

— *Кернер*, Карл-Теодор (1791—1813) — немецкий патриотический поэт, песни которого пользовались особой популярностью во время «Освободительной войны» (1813—1815). О них говорит Гейне в стихотворении «Тамбур-мажор» и в «Германии».

245. «*Иоганна де-Монфоко*». Романтические картины времен XIV столетия, в пяти действиях, сочинение Августа Коцебу. Лейпциг. 1800.

247. *Клаузен*, Генрих (1771—1854) — плодовитый немецкий писатель, осмеянный Гауфом. Отношение Гейне к Клаузену впоследствии также резко изменилось.

250. *Спонтини покидает нас надолго*. 9 июня 1822 г. Спонтини отправился в путешествие: Дрезден — Вена — Италия — Париж.

— *Процесс Фонка* — процесс кельнского купца Фонка, обвинявшегося в убийстве, тянулся свыше пяти лет. В связи с этим процессом было написано и выпущено множество рассчитанных на сенсацию брошюр.

251. *Гренер* Юстус (1777—1820) — прусский политический деятель. С 1809 г. полицейспрезидент Берлина, непримиримый враг французов.

253. *Пусткухен*, Иоганн-Фридрих-Вильгельм (1793—1834) — немецкий пастор и писатель. Приобрел известность своими плоскими пародиями на «Вильгельма Мейстера» Гете (первые две книги вышли в 1821 г., третья в 1823 г.).

— «*Немецкий Жиль-Блаз*», с предисловием Гете, или «Жизнь, странствования и судьбы Иог.-Христ. Закса из Тюрингии. Составлено им самим». Штуттгарт и Тюбинген. 1822.

— *Али-Паша* Янинский (1741—1822) — албанский паша, распространивший свою власть на Фессалию, Эпир, южную Албанию и лишь номинально зависевший от Турции.

254. *Соути*, Роберт (1774—1843) — английский поэт. Поэт-лауреат (с 1813 г.).

— *Казанова*, Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист. Известен своими мемуарами, которые впервые появились (в обработке Шютца) на немецком языке в 1822—1828 гг. (Лейпциг, 12 томов) и по-французски в 1826—1828 гг. (там же, 12 томов).

— *Линь*, Шарль де (1735—1814) — австрийский генерал и политический деятель. Был известен своим остроумием. Состоял в переписке с Вольтером, Руссо, Фридрихом Великим.

— *Рехи*, Карл (1800—1880) — немецкий драматург и новеллист. Том стихов, о котором говорит Гейне, вышел только в 1832 г. (Брауншвейг и Лейпциг). Его книга «О немецком театре» вышла в 1821 г.

255. *Ихтриц*, Фридрих (1800—1875) — немецкий поэт. Был близок к Адаму Мюллеру и Людвигу Тиле. Позднее Гейне осмеял его в книге «Le Grand» и в «Германии».

258. *Шпис*, Христиан-Герман (1755—1799) — немецкий писатель и странствующий актер. Автор многочисленных рыцарских и разбойничьих романов. Многие из них были переведены на русский язык.

— *Крамер*, Карл-Готлиб (1758—1817) — плодовитый немецкий писатель в духе Шписа и Вульпиуса (см. ниже). На русский язык переведен его роман «Жизнь и странные приключения Эразма Шлейхера», М. 1802, и др.

258. *Вульпиус*, Христиан-Август (1762—1827)—немецкий писатель. Автор известных разбойничьих романов «Орландо Орландино», «Ринальдо Ринальдони» (русский перевод, М. 1802—1803).

— *Арним*, Людвиг-Иоахим (1781—1831) — немецкий писатель, возглавлявший (вместе с Брентано) гейдельбергский кружок романтиков.

О ПОЛЬШЕ

Впервые напечатано в «Gesellschafter» от 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 и 29 января 1823 г. Подпись — . . . е. Статья эта написана Гейне осенью 1822 г. во время поездки в Прусскую Польшу, которую он совершил вместе с Евгением фон-Брезе (см. «Письма из Берлина»). Несмотря на то, что редактор «Gesellschafter», профессор Губиц, а потом и цензор значительно изменили и смягчили текст этой статьи, она вызвала сильное волнение. «Она сделала меня смертельно ненавистным у баронов и графов», писал Гейне Зете (21 января 1823 г.).

262. *Костюшко*, Тадеуш (1746—1817)—польский политический деятель, вождь польского восстания 1794 г., национальный герой Польши.

263. «*Нюрнбергский женский альманах*» издавали в 1815 г. Фуке, Горн, Кинд, Уланд и др., а с 1816 по 1821 г. один Фуке.

— *Фридлендер*, Давид (1750—1834) — видный еврейский публицист и общественный деятель, последователь Моисея Мендельсона.

— «*Уэксфильдский полевой сторож*». Пьеса Роберта Грина, которая одно время приписывалась Шекспиру (в частности, Л. Тиком). Герой этой книги — чудаковатый сапожник из Бредфорда.

264. «*В-жский еженедельник*». По всей вероятности, Гейне имеет в виду «Берлинский еженедельник для образованного бюргера и мыслящего поселянина», издававшийся проф. Вадзеком.

265. *Казимир Великий* (1309—1370)—польский король с 1333 г.

271. *Камалата, педма, камала, тамала, сириша* — индусские названия растений и животных, употребляемые как поэтические символы.

272. *Гольбах*, Поль-Генрих-Дитрих (1723—1789)—автор «Системы природы», французский философ-материалист, один из виднейших просветителей.

275. *Во всем проявляются следы этого нового направления умов*. Незадолго до того (в 1822 г.) появились «Баллады и романсы» Мицкевича, положившего начало новому направлению польской литературы.

277. *Замойский*, Андрей (1800—1868)—польский граф. Один из вождей польской эмиграции.

— *Каульфус*. Гейне имеет в виду книгу: I. P. Kauffuss. «Über den Geist der polnischen Sprache und Literatur». Halle. 1804.

— *Карно*, Лазарь-Николай (1753—1823) — известный французский политический деятель. Якобинец, позднее примкнувший к Наполеону. После реставрации Бурбонов, с 1815 г., жил в изгнании (в Магдебурге), где посвятил себя математике и астрономии. Им издана также комическая поэма «Дон-Кихот» (Лейпциг. 1820), на что и намекает Гейне.

280. ...несносное обыкновение обновлять свои храмы. Собор в Гнезно, построенный в 905 г., восстановлен епископом Маттиасом Либинским.

281. «*Заботы без нужды и нужда без заботы*». Комедия в пяти действиях Августа Коцебу (Лейпциг. 1810 г.).

282. «*Объяснение в любви*». Комедия в двух действиях Ф.-А. Курлендера (1777—1836), немецкого драматурга.

— *Вольф*, Пий-Александр (1784—1828) — немецкий актер и драматург. Его пятиактная комедия «Чезарио» была впервые поставлена в Берлине 29 ноября 1810 г.

— «*Розамунда*». Трагедия в пяти действиях Теодора Кернера (1791—1813). Впервые поставлена в Берлине 20 апреля 1815 г.

— «*Приказ герцога*» — «Приказ короля», историческая комедия в четырех действиях Карла Тепфера (1792—1871), первоначально игралась на немецкой сцене под первым названием.

283. «*Альпийская розочка*». Пьеса в трех действиях Гольбейна по рассказу Клаурена (1822).

— «*Состязание стрелков*». Комедия в пяти действиях Клаурена (Дрезден. 1822).

— «*Штаберле*». См. примечание к «Письмам из Берлина».

— «*Поддельная Каталани*», также «Поддельная примадонна из Крвинкеля» (1820), фарс в двух действиях (с пением) Адольфа Бейерле (1786—1859).

— *Винклер*, Теодор (1775—1856) — журналист, театральный антрепренер, драматург и переводчик. Издатель «Вечерней газеты». «Бianка Толедская» впервые была поставлена в 1806 г.

284. «*Записная книжка*». Драма в трех действиях Августа Коцебу (1761—1819).

— *Роль принцессы Наваррской* — в опере «Жан парижский» (1812), музыка Боальдье (1775—1834). «*Калиф Багдадский*» (1800) и «*Алина, королева Голландии*» (1804) — также оперы Боальдье.

— *Лорецца* — дочь трактирщика (в опере «Жан парижский»). *Оливье* — паж дофина в той же опере.

285. *Шоттки*, Юлий-Максимилиан—с 1822 г. профессор немецкой литературы и языка в Познани, с 1831 г. — в Праге. Архивист и собиратель немецкого фольклора. «Австрийские народные песни» были изданы Шоттки и Циска в 1819 г. (первый том; второй не вышел).

287. Упомянутая Гейне книга *«Бог, Христос и Мария»* не была напечатана.

Журнал *«Минувшее и современность»* выходил в 1823 г. у Мунка в Познани. Вышло всего девять номеров.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИОАННА-БАПТИСТА РУССО

Рецензия Гейне впервые напечатана в «Gesellschafter» 14 июля 1823 г., № 11 (приложение).

289. *Руссо*, Иоганн-Баттист (1802—1867) — немецкий поэт и издатель. Был студентом Боннского университета. Одно время был другом Гейне.

292. *Крейцер*, Иоганн-Петер (1795—1870)—незначительный немецкий писатель и драматург. Был близок к группе рейнских поэтов.

— *Лебен*, Отто-Генрих (1786—1825) — немецкий лирический поэт, близкий к романтикам Арниму, Брентано и Эйхендорфу. Его стихотворения наряду со стихами Брентано оказали влияние на творчество молодого Гейне.

— *Ардт*, Э.-М. (см. выше). С 1821 г. Ардту было запрещено читать лекции, и против него было возбуждено дело по обвинению в демагогии.

— ...*деликатными комочками грязи*... — И.-Б. Руссо напечатал в своем журнале «Der Leuchtturm» (январь 1836 г.) резкую рецензию на книгу Гейне «Романтическая школа».

АЛЬБЕРТ МЕТФЕССЕЛЬ

Впервые напечатано в «Gesellschafter» 3 ноября 1823 г.

293. *Метфессель*, Альберт-Готлиб (1785—1869) — немецкий композитор. С 1822 капельмейстер в Гамбурге.

— *Швенк*, Христиан-Фридрих-Готлиб (1767—1822) — немецкий композитор и капельмейстер в Гамбурге, противник знаменитой итальянской певицы Каталани.

294. ...*слоновую музыку*. Намек на Спонтини (см. «Письма из Берлина»).

«СТРУЭНЗЕЕ» МИХАЭЛЯ БЕЕРА

Впервые напечатано в «Morgenblatt» 11, 12, 14, 18, 19, 21 и 22 апреля 1828 г., №№ 88—90, 94—97 (см. письмо Гейне к Фарнгагену от 1 апреля 1828 г.).

295. *Берер*, Михаэль (1800—1833)—немецкий драматург, брат композитора Мейербера.

— «*Клитемнестра*». Трагедия в четырех действиях. Впервые поставлена в Берлине в 1819 г.

— «*Невесты Арагонии*». Трагедия в пяти действиях (Лейпциг. 1823).

296. «*Пария*». Трагедия в одном действии. Первое представление состоялось в Берлине 22 декабря 1823 г.

297. *Николаиты*—последователи Фридриха Николаи (1733—1811), немецкого писателя и публициста, известного книгоиздателя, представителя группы берлинских просветителей.

— *Роберт*, Людвиг (1778—1832)—немецкий драматург. «Сила обстоятельств», трагедия в пяти действиях, написана им в 1814 г. Первое представление состоялось в Берлине 30 июля 1815 г.

— «*Урика*» (1823) и «*Эдуард*» (1825)—романы герцогини Дюффор-Дурас, появились в нескольких немецких изданиях.

— *Раупах*, Эрнст (1784—1852)—плодовитый немецкий драматург, написал 117 пьес, пользовавшихся большим успехом в мещанско-бюргерской среде. Начало его литературной славе положила драма «*Князь Хованские*» и другие пьесы из русской жизни, в которых он умеренно протестовал против русского крепостного права.

— «*Крепостные, или Исидор и Ольга*» (Лейпциг. 1826). Трагедия в пяти действиях Раупаха.

298. *Струэнзее*, Иоганн-Фридрих (1737—1772)—датский политический деятель, по происхождению немец. Лейб-медик молодого датского короля Христиана VII, фаворит его жены, королевы Матильды. Был возведен в графское достоинство и скоро достиг верховной власти в государстве, совершенно отстранив короля и получив полномочия издавать кабинетные указы без его подписи. Струэнзее энергично проводил широкие государственные реформы в духе просвещенного абсолютизма (смягчил крепостное право, упорядочил финансы и судопроизводство, отменил многие привилегии дворянства и пр.). После дворцового переворота был обвинен в преступлении «против величества» и казнен 28 апреля 1772 г.

307. *Эслер*, Фердинанд (1772—1840)—немецкий актер и режиссер.

308. *Гаген*, Шарлотта (1809—1891)—известная немецкая артистка. С 1826—1832 гг. — в мюнхенском придворном театре.

308. *Вольф* — жена драматурга Пия-Александра Вольфа (см. «О Польше»).

— *Шредер*, София (1781—1868) — немецкая трагическая актриса.

— *Пеке*, Тереза — немецкая актриса (см. письмо Гейне к Фарнгагену от 30 октября 1827 г. и к Меркелю от 14 апреля 1828 г.).

«НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ВОЛЬФГАНГА МЕНЦЕЛЯ

Впервые напечатано в 1828 г. в «*Politische Annalen*». 27. Band, Heft 3. S. 284—298. Гейне обещал Менцелю поместить рецензии на его книгу еще в «*Hamburger Korrespondent*», «*Gesellschafter*», а также дать отзыв о ней в третьей части «Путевых картин». Первая рецензия, в которой книга Менцеля сравнивалась с океаном («где отражены звезды литературы, где давно прошедшие времена покоятся в глубине и где нет ни капли воды»), была отклонена редактором «*Hamburger Korrespondent*», не разделявшим направленных против Гете положений Менцеля. Вторая статья совсем не была написана. В «Путевых картинах» Гейне ограничился лишь беглым замечанием (не вошедшим в окончательный текст книги).

311. *Менцель*, Вольфганг (1798 — 1873) — немецкий критик и публицист. В течение довольно долгого времени поддерживал дружественные отношения с Гейне и другими радикальными писателями (см. Письма Гейне). С 1835 г. Менцель стал редактором «Литературного листка», где опубликовал несколько статей-доносов на Гейне и «Молодую Германию». Донос Менцеля послужил одним из поводов для постановления Союзного сейма, запретившего все произведения авторов, причастных к «Молодой Германии». Гейне написал по поводу измены Менцеля статью (предисловие к третьей части «Салона» 1837 г.): «О донощике». См. также «Людвиг Берне», стихи «Завещание», «Аудиенция» и поэму «Германия» (гл. IV).

— *Лекции о литературе Фридриха Шлегеля* — «История древней и новой литературы». Лекции, читанные в Вене в 1812 г. (Вена. 1815, 2 тома).

312. *Виллибальд Алексис* — Вильгельм Геринг (1798—1871), немецкий писатель и журналист: Выступал под псевдонимом Виллибальд Алексис. Автор исторических романов. Вместе с Ферстером издавал «*Berliner Konversationsblatt für Poesie, Literatur und Kunst*».

315. *Панталоне* — постоянная комическая маска итальянской «*Commedia del arte*».

318. *Стефенс*, Генрих (1773—1845) — профессор философии в Галле и Берлине. Последователь Шеллинга.

319. *Янсенизм*—религиозно-философское движение во Франции XVII в., возникшее на основе учения голландского богослова Корнелия Янсения (1585—1638), который развил учение блаженного Августина о предопределении. Последователи янсенизма во многом сближались с кальвинистами и протестантами, однако не стремились к отпадению от католической церкви. Янсенисты известны своей борьбой с орденом иезуитов, особенно обострившейся после появления «Провинциальных писем» Б. Паскаля (1656), сильно подорвавших авторитет иезуитов во Франции.

— *Галлер*, Карл-Людвиг (1768—1854) — немецкий юрист и реакционный писатель, борющийся с революцией и либерализмом. В 1820 г. перешел в католичество.

— *Мюллер*, Адам-Генрих (1770—1829) — немецкий юрист, дипломат и реакционный писатель. В 1806 г. принял католичество. Автор ряда книг по эстетике, философии и праву, в которых он защищал консервативно-феодалное мировоззрение.

— *Суфизм* — пантеистический мистицизм мухаммедан. Гейне мог себе составить о нем представление, знакомясь с персидскими поэтами: Саади и отчасти Гафизом.

320. *Фосс*, Иоганн-Генрих (1751—1826)—немецкий поэт и филолог. Глава геттингенского союза поэтов. Друг Клопштока. Переводчик Гомера и латинских поэтов. Известен своей резкой полемикой с гейдельбергскими романтиками (Гёrrес, Брентано и др.), творчество которых он рассматривал как проявление католической и феодальной реакции. Еще решительнее он выступил против своего прежнего друга, графа Фридриха Штольберга (1750—1819), перешедшего в католичество.

ИОГАНН ВИТТ-ФОН-ДЕРРИНГ

Впервые напечатано по рукописи Гейне Штротдманом в «Deutsche Revue», сентябрь 1872 г. (2-й год издания, № 12).

325. *Витт*, Фердинанд-Иоганн, прозванный Дерринг (1800—1863) из Альтоны—политический авантюрист, встречавшийся с Гейне еще в Гамбурге и позднее в Мюнхене. Много раз подвергался арестам, однако слыл в либеральных кругах провокаторм. Был выслан из Мюнхена в марте 1828 г. Гейне говорил, что, если бы это было в его власти, он велел бы повесить Дерринга, однако поддерживал с ним связь, ценил его остроумие и ловкость и даже привлек его к сотрудничеству в «Politische Annalen».

326. *Мортимер* и *Лейстер* (Лейчестер)—герои драмы Фридриха Шиллера «Мария Стюарт».

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «КАЛЬДОРФ О ДВОРЯНСТВЕ»

Впервые напечатано в изданной Гейне брошюре: «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон-Мольтке». Издал Г. Гейне. Нюрнберг, у Гофмана и Кампе. 1831, стр. 1—30. Предисловие Гейне подписано и датировано 8 марта 1831.

327. *Галльский петух прокричал теперь во второй раз.* Гейне имеет в виду июльскую революцию во Франции.

330. *Лукиан* (род. 125 г. до н. э.) — греческий сатирик.

— *Неккер*, Жак (1732—1804) — крупный французский политический деятель, министр финансов при Людовике XVI.

— *Сийес*, Эманюэль-Жозеф (1748—1836) — французский политический деятель и публицист. Член Конвента и Совета пятисот. Принимал участие в перевороте 18 брюмера. Был вместе с Наполеоном одним из трех консулов. Позднее — сенатором. Изгнан при Бурбонах.

— *Мерсье*, Луи-Себастьян (1740—1814) — французский писатель. Член Конвента и Совета пятисот. Автор книги «Картины Парижа» (1781—1789, 12 книг), где всесторонне изображена предреволюционная Франция (русс. пер. в издании «Academia»).

331. *Полиньяк*, Жюль-Арман (1780—1847) — князь, французский политический деятель. Роялист. С 1829 г. министр иностранных дел при Карле X, а затем первый министр. В 1830 г. побудил короля издать ордонансы, распускавшие палату, изменявшие избирательный закон и ограничивавшие свободу печати, что послужило непосредственным поводом к июльской революции.

— *Ордонанс* — во Франции до Великой французской революции и после реставрации Бурбонов наименование королевских указов особой важности.

332. *Юные птенцы усопшего орла.* Ecole polytechnique, которая была реорганизована Наполеоном I.

— *Дегютт* и *Варикур* были убиты 6 октября 1789 г. во время осады Версаля.

333. *Ultima ratio regis* — «последний довод короля» — надпись на французских пушках (изречение, приписываемое Людовику XIV). *Ultimi ratio regis* — довод последнего короля.

— *Мольтке*, Магнус (1783—1865), граф, немецкий политический деятель. Автор упоминаемой Гейне брошюры «О дворянстве и его отношении к буржуазии», вызвавшей ответную брошюру Кальдорфа.

334. *...за то, что он дал себе великий труд родиться.* Ср. Бомарше, «Женитьба Фигаро», V действие, 3.

334. ...премилый графчик, мой лучший друг. Гейне, возможно, имеет в виду графа Евгения фон-Бреца (см. «Письма из Берлина»).

335. Берк, Эдмунд (1729—1797)—английский писатель и политический деятель, филолог, юрист, крупный оратор, противник Питта. Известен своим сочинением, направленным против французской революции: «Reflections on the Revolution in France. 1790» (немецкий перевод 1793). См. также «Английские фрагменты», где Гейне называет Берка «великим ренегатом свободы».

336. Человек не этого склада сказал однажды: «Дворяне не опора престола, а его кариатиды». То же выражение в рецензии Гейне на «Струэнзее» Михаэля Беера. Повидимому, Гейне имеет в виду самого себя. «Кариатиды»—мужские или женские фигуры, поставленные вместо столбов или колонн. Являясь только украшением, они создают видимость опоры.

337. Английское дворянство... сделалось знаменосцем европейской аристократии. Ср. суждение Гейне в VI и VII гл. «Английских фрагментов».

— Меттерних, Клеменс (1773—1859), князь—австрийский политический деятель и дипломат, с 1809 по 1848 г. руководивший внешней политикой Австрии. Один из инициаторов создания «Священного союза», вождь и вдохновитель европейской реакции.

— Лонгвуд — место погребения Наполеона (до 1840 г.) на остр. Святой Елены.

338. Штаберле — появляется на сцене с неизменным зонтиком (см. прим. к «Письмам из Берлина»).

— Гонфалоньер — франц. знаменосец.

340. Кровь Варшвы. Варшава пала 7 сентября 1831 г.

— Кернер. Фуке. См. примеч. к «Письмам из Берлина».

— «Рейнский Меркурий» выходил с января 1814 г. по январь 1816 г. (о Гёпперсе см. примечание к «Письмам из Берлина»).

— Дон-Мигель — португальский король, изгнанный в 1834 г. либералами (см. «Французские дела», отдел III).

341. Некий королевич—будущий Фридрих-Вильгельм IV.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абарбанель — 37
 Абелар — 93
 Акерман — 283
 Аккум — 226
 Александр I — 137, 210
 Алексис, Виллибальд — 312
 Аллегри, Грегорио — 46
 Альтинг — 229
 Амуэль — 227
 Аннибал — 78
 Ансильон — 226
 Антонен — 209
 Ариосто — 112, 180, 181
 Аристотель — 319
 Арминий — 196
 Арндт, Э.-М. — 194, 226, 292
 Арним — 258, 292

 Байо — 212
 Байрон — 223, 254
 Балланш — 148
 Бегасс — 199, 226
 Беер, Михаэль — 229, 295—
 298, 301—303, 307, 309, 310
 Бекендорф — 225, 226
 Беллини, Винченцо — 113—
 118
 Бенценберг — 226
 Беньо — 226
 Берингер — 249
 Берк, Эдмунд — 335
 Берлиоз — 149
 Бетман — 247
 Бетихер — 229
 Биготтини — 156
 фон-Биркен, Ганс — 326
 фон-Бломберг, В. — 194, 292
 Блонден — 228, 248

 Блюм, К.-Л. — 210
 Блюхер, Г.-Л. — 209, 248
 Боккаччо — 112
 Болейн, Анна — 141
 Бопп — 209, 229, 314
 Боргезе, Полина — 156
 Борер — 209
 Боско, Бартоломео — 228, 248
 Бранденбургский, маркграф —
 18
 Брауншвейгский, герцог — 18
 Брокгауз, Ф.-А. — 209, 226,
 254
 Брюль — 209, 229
 Буало — 211
 Бухгольц — 226
 Буше — 205, 209, 212, 214,
 231, 248
 Буэрен, Б.-Г. — 194
 Бюлов — 230, 248

 Вагнер — 120
 Вальтер — 210, 229, 245
 Вар — 196
 Варикур — 332
 Вах, К.-В. — 209
 Вебер, Карл-Мария — 213,
 217, 219, 220, 231
 Веллингтон — 136, 141, 152
 Вестрис, Август — 139
 Вильгельм Оранский — 70
 Вильманс — 210, 227
 Винклер, Теодор — 231, 283
 Винтерфельд, Г.-К. — 199
 Витгенштейн — 231
 Витт-фон-Дерринг, Иоганн —
 325, 326
 Влодко, г-жа — 284

Вольтер — 330
 Вольтман, г-жа — 209
 Вольф, г-жа — 308
 Вольф, А.-В. — 208
 Вольф, Пий-Александр — 282
 Вульпиус — 258

Гаген — 308
 Галлер — 319
 Гаррис, Георг — 121
 Гартман — 208
 Гебауэр — 194
 Гегель — 276, 314, 328
 Гейльман — 194
 Гейм, Э.-Л. — 244
 Гельвиц, К.-Ф. — 209
 Гензель — 230
 Генрих VII — 325
 Генрих VIII — 325
 Георге, София — 195
 Гердер — 270
 Геррес — 209, 318, 319, 340
 Гете — 116, 169, 174, 182, 183,
 223, 224, 253, 296, 297, 312,
 321—324
 Гез, Э.-Г. — 227
 Глюк — 217, 218
 фон-Гогенгаузен, Элиза — 195
 223
 Гольбах — 272
 Гольдсмит — 258
 Гомер — 208, 246
 Горн — 258
 Гоувальд, Э.-Н. — 209
 Гофман, Э.-Т.-А. — 193, 208,
 210, 227, 228, 255—258
 Грассини — 156
 Гренер, Юстус — 251
 Грильпарцер — 210, 295
 Гро, Жан-Антуан — 156
 Губиц, Ф.-В. — 210, 220, 247
 Гумблот — 223
 Гумбольт — 314
 Гундесгаген — 292

Да-Винчи, Леонардо — 117
 Данте — 112
 Де-Ветт — 225

Девриен — 231
 де-Дегютт — 332
 Делавинь — 297
 фон-Дерринг *см.* Витт, Ио-
 ганн
 Дмушевский, Л.-А. — 284
 Дон Мигель — 340
 Друэ — 213
 Дункер — 223
 фон-Дурас *см.* Дюффор-Дурас
 Дюффор-Дурас — 297

Елизавета — 325

Жан-Поль — 193, 227, 257,
 265, 321
 Жорж, г-жа — 309

Завадская — 284
 Завадский — 284
 Замоиские — 267, 277
 Зейдлер — 213, 217
 Зейдлиц, Ф.-В. — 199

Идлер — 229
 Иммерман — 292, 312
 фон-Иордан — 231
 фон-Ихтриц — 255

Казанова — 254
 Казимир Великий — 265
 Кальдерон — 271
 Кальдорф — 327
 Кампц — 225
 Кант — 311, 328
 Карл Брауншвейгский — 137
 Карл I — 322, 325
 Карлсен — 282
 Карлсен, г-жа — 282
 Картуш, Луи-Доминик — 46
 Каульфус — 277
 Кейт, Якоб — 199
 Келер — 283
 Кернер, Теодор — 244, 245
 Кехи, Карл — 254
 Клаурен, Генрих, — 193, 247
 Клейн, Бернгард — 209, 220,
 221

Клейн, Иосиф — 249
 фон-Клейст, Генрих — 196,
 210, 227
 Клиндворт — 226
 Клопшток — 67
 Коблер — 252
 Кольбе — 230
 Корефф, Давид — 209,
 221, 229
 Корреджо — 273
 Космели — 208, 229
 Костюшко — 262, 269, 270
 Коцебу — 284
 Книгге — 255
 Крамер, К.-Г. — 258
 Крейзер — 250, 292
 Кун — 209
 фон-Куровский-Эйхен — 195

Лангганс — 206
 Лафайет — 49, 330, 332
 Лафонтен — 145
 Лебен — 292
 Лебрен — 245
 Лейбниц — 311
 фон-дер-Лейен — 250
 Лейтгольд — 248
 Лейтнер, г-жа — 283
 Лессинг — 183, 203, 270, 281
 Ливий — 77
 Лизер, Иоганн-Петер — 119
 де-Линь — 254
 Лист, Франц — 148, 149
 Лобрау — 230
 Ложье — 229
 Лоу, Гудсон — 337
 Лоц — 223
 Льюис — 256
 Людовик Баварский — 137
 Людовик XI — 322
 Людовик XVI — 136
 Лютвиц — 208
 Лютер — 50, 199, 271

Максимилиан I — 286
 Мальтиц — 208
 Мансо — 174, 175, 179
 Марий — 78

Мария — 325
 Мария-Антуанетта — 145
 Марк-Антоний — 93
 Марр, Н.-В. — 51
 Мейербер — 113, 229
 Мейерс — 194
 Меланхтон — 199
 Мендельсон, Иосиф — 249
 Мендельсон, Моисей — 249
 Мендельсон-Бартольди — 213,
 249
 Менутули — 229
 Менцель, Вольфганг — 311,
 322
 Мерсье — 330
 Меттерних — 337
 Метфессель — 293, 294
 Миддельгауптман — 217
 Микель-Анджело Буонаротти
 105, 218
 Миллер, Адам — 209
 Мильдер — 202
 Мирабо — 330
 Мольтке — 327, 333, 335
 фон-Монтанглан — 223
 Монтескье — 329
 Мори — 156
 Моцарт — 113, 249, 271
 Мунш — 282
 Муратори — 174
 Мюллер — 308
 Мюллер, А.-Г. — 319
 Мюхлер, Карл — 234

Неандер — 205
 Нейман — 210, 245, 246
 Неккер — 330
 Николай I — 339

Огинский, Михаил-Клеофас —
 52
 Ольденбург — 282
 Оскар, принц шведский — 231
 Оссиан — 156
 фон-Оттерштедт — 231

Паганини — 118—128
 Пайен, г-жа — 281, 282
 Парр, Томас — 325

- Перье, Казимир — 151
 Петрарка — 112
 Пехе, Тереза — 308
 Пий VII — 137
 Пинетти — 228
 Питт — 331
 Платон — 319
 Плутарх — 45, 77
 Полиньяк — 331, 332
 Понятовские — 267
 Поточкие — 268
 фон-Прадт, Доминик — 207
 Пусткухен — 253
 Пуччини — 217
- Радзивилл, Элиза — 231
 Радзивиллы — 267
 Рандюэль, Эжен — 139
 Рассман, Фридрих — 192—194
 Раупах, Эрнст — 297
 Раух — 209, 230, 248
 Рафаэль — 83, 271
 Реймер — 227
 Рельштаб — 227
 Рецш, Мориц — 120
 Ричард III — 325
 Роберт, Людвиг — 297
 Ровиго *см.* Савари, А.-Ж.-М.-Р.
 Ромберг, Бернгард — 231
 Россини — 74, 113, 294
 Румановский — 284
 Руссо, Жан-Жак — 253, 329, 330
 Руссо, Иоганн-Баптист — 194, 289, 292
 Руст — 209
 Рюкерт — 292
- Савари, А.-Ж.-М.-Р. — 156
 фон-Савиньи — 197, 228
 Сапеги — 267
 Серасси — 174, 175
 Сийес — 330
 Скибинская — 284
 Скотт, Вальтер — 222, 223
 Сметс, Вильгельм — 170, 194, 292
 Смоллет — 258
- Соломон — 68
 Соути — 254
 Спонтини — 197, 206, 209, 217—220, 229—231, 241, 242, 250
 Сталь — 207
 Стефенс — 318
 Стин, Ян — 83—85
 Струэнзее — 295, 298, 299, 303, 306, 307
- Тальма, Франсуа-Жозеф — 156
 Тарнов, Фанни — 229
 Тассо — 170, 174—181, 183—186, 188, 189
 Теобальд *см.* Сметс, Вильгельм
 Теремин — 199
 Тик — 193, 229, 230, 252
 Тициан — 273
- Фабек — 227
 Фабрициус — 282
 Фабрициус, г-жа — 282
 Фальк — 229
 Фарнгаген-фон-Энзе — 253, 312
 Фауст, Иоганн — 50
 Ферстер — 219
 Фильдинг — 258
 Фихте, И.-Г. — 311, 318, 328
 Фишер — 209
 фон-Флемминг — 230
 Фонк — 250, 251
 Фосс, И.-Г. — 320, 321
 фон-Фосс, Юлиус — 193, 210
 Фохт, Эрнст — 283
 Франц — 282
 Фридлендер, Давид — 263
 Фриз — 251
 Фрис, г-жа — 309
 Фритше — 229
 Фуке — 233, 254, 258
 Фуке, Каролина — 193, 209
- Христиани — 210
- Цебровский — 284
 Пейне — 227
 Цельтер — 204

- Ценен — 251
Церф — 247
Циммерман — 312
Цитен, Г.-И. — 199
Цицерон — 93
- Ч**
Чарторийские — 267
фон-Чези, Гельмина — 231
- фон-Ш**
фон-Шаден — 229
Шадов — 230
Шадов, И.-Г. — 230
Шадов, Ф.-В. — 230
Шарнгорст — 209, 230, 248
Швенк — 293
Шверин — 199
Шекспир — 113, 181, 183, 190,
252, 263
Шеллинг — 318, 328
Шеридан — 335
Шиллер — 223, 270, 318, 321
Шиллинг — 208
Шимкайло — 284
Шимкайло, г-жа — 284
Шинкель — 230
фон-Шлегель, А.-В. — 167,
169, 193, 292, 312, 314
Шлегель, Фридрих — 311, 313,
319
- Ш**
Шлезингер — 223
Шлейермахер — 226, 314
Шнейдер — 209, 221
Шоттки — 285—287
Шпикер — 223, 231
Шпис — 258
Шредер, София — 308
Шрек — 281
Штепель — 229
Штилер — 308
Штих — 205, 209, 210, 281,
308
Штольтерфот, Адельгейда —
195
Штраус — 292
Шульц — 217
Шуман — 228
Шуман, братья — 223
Шюппель — 229
Шютц — 253
- Э**
Эвнике, Иоганна — 202
Эдуард IV — 325
Эдуард V — 325
Эдуард VI — 325
Эленшлегер — 183
Эслер, Фердинанд — 307, 308
- Я**
Яков I — 325

П Е Р Е Ч Е Н Ь И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Г. Гейне. С портрета Людвига Гассена 1828 г.	VI—VII
Г. Гейне. Бюст работы Эрнста Гертера	20—21
Погром «Иудейской улицы» во Франкфурте на Майне в 1614 г. С гравюры Мериана, из «Хроники» Готфрида	32—33
Винченцо Беллини. С литографии по рис. Феози	112—113
Паганини. С литографии Лизера 1836 г.	128—129
Т. Тассо. С гравюры Каню (Госуд. музей изобразительных искусств)	176—177
Улица «Под Липами» в Берлине в 1820-х гг. С гравюры неизвестного художника (Гос. музей изобразительных искусств)	208—209
Жан-Батист Руссо. С гравюры Г.-Ф. Шмидта	290—291

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Н о в е л л ы

Бахерахский раввин (фрагмент). <i>Пер. А. Морозова</i>	1
Из мемуаров господина фон-Шнабелевонского. <i>Пер.</i> <i>Е. Лундберга</i>	44
Флорентийские ночи. <i>Пер. Е. Рудневой</i>	100

С т а т ь и

Романтика. <i>Пер. А. Морозова</i>	167
Смерть Тассо. <i>Пер. А. Морозова</i>	170
Рейнско-Вестфальский альманах муз на 1827 год. <i>Пер.</i> <i>А. Морозова</i>	192
Письма из Берлина. <i>Пер. А. Горнфельда</i>	196
О Польше. <i>Пер. А. Горнфельда</i>	259
Стихотворения Иоганна-Баптиста Руссо. <i>Пер. А. Морозова.</i>	289
Альберт Метфессель. <i>Пер. А. Морозова</i>	293
«Струэнзее» Михаэля Беера. <i>Пер. А. Морозова.</i>	295
Немецкая литература Вольфганга Менцеля. <i>Пер. А. Мо-</i> <i>розова</i>	311
Иоганн Витт фон-Дерринг. <i>Пер. А. Морозова</i>	325
«Кальдорф о дворянстве» <i>Пер. А. Горнфельда</i>	327
В а р и а н т ы и д о п о л н е н и я	343
К о м м е н т а р и и . <i>А. Морозова</i>	349
Указатель имен	377
Перечень иллюстраций	383

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует</i>
133	10 сн.	Baily	Bailey
171	2 »	Некоторые спо- собности	Некоторых способ- ностей
297	6 »	в «Исидоре» и «Ольге»	в «Исидоре и Ольге»
317	1 »	* светло-темный	* светотень
353	6 св.	(1454 — 1569)	(1459 — 1519)
355	16 сн.	52	51
366	14 св.	подмастерья	подмастерья
385	10 »	1827	1821

*Редактор Е. В. Якобсон.
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Лит.-технич. наблюдение
В. В. Чешихина.
Технический редактор
А. А. Чалова
Наблюд. на производстве
Г. А. Батков*

★

*Сдана в набор 25.VI-1936.
Подп. к печ. 2.II-1937.
Тираж 15500. Уполномоч.
Главлита № Б-9059. Инд.
А-1. Изд. № 255. У.-а. л. 18.4.
Формат бумаги 82×110¹/₃₂.
Бум. л. 6,19. Заказ № 758.*

★

*Отпечатано во 2-й тип.
ОГИЗ'а РСФСР треста «По-
лиграфкина» «Печатный
Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.*

*Цена Р. 8. —
Переплет Р. 2. —*

Г Е Й Н Е

Г Е Й Н Е

5

ACADEMIA

